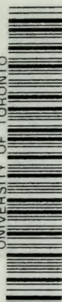
UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00641962 6

УСТАВ БИБЛИОТЕКИ РУССКОГО ДРАМАТИЧЕС[illegible]
КЛУБА ГОРОДА БОСТОНА.

---

[illegible]ри Р[illegible]

# ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

## СБОРНИК СТАТЕЙ

СОСТАВИЛ
С. СЕМКОВСКИЙ

**ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ**

Всеукраинское Государственное Издательство
Екатеринослав—Харьков
1922.

2-я тип. ЕГСНХ. Зак. № 415—15000.

*Посвящается*

*Н. Ш.*

**Составитель.**

# Предисловие составителя к 1-му изданию.

Статьи, составившие содержание „Сборника“, печатались в разное время на страницах западно-европейских социалистических органов,—главным образом, редактируемого Каутским научного органа германской социал-демократии „Die Neue Zeit“. Трудность доставать в России соответствующие материалы не могла до известной степени не отразиться на подборе статей (как и на полноте составленного нами указателя литературы об историческом материализме).

На первое место мы поставили дискуссию об историческом материализме, которую *Каутский* вел в 1896 г. с английским социалистом *Бельфорт-Баксом* и которая, на наш взгляд, имеет кардинальное значение для выяснения основных вопросов материалистического понимания истории. Несмотря на то, что дискуссия эта во многих местах переходит в полемику по частным вопросам, вытекающим из основной темы, мы привели ее почти полностью, опустив лишь полемику по совершенно случайным поводам *).

Вторая дискуссия, помещенная в „Сборнике“,—известный публичный диспут об идеалистическом и материалистическом понимании истории между *Лафаргом* и *Жоресом*.

Как частная иллюстрация к обеим дискуссиям, следуют две статьи—*Штиллиха*: „Греческая философия с точки зрения матер. понимания истории“,—представляющая реферат книги Eleutheropulos'a—и *Лафарга* „Экономика, естествознание и математика“.

Статья *Энгельса* была им написана как предисловие к английскому изданию „Развитие научного социализма“. Первые четыре страницы нами опущены, как не представляющие интереса для русского читателя.

---

*) Как, напр., по поводу того, что Бакс поместил свою первую статью в буржуазно-демократическом журнале „Die Zeit“. Пользуемся примечанием, чтобы отметить взгляд Каутского по дебатировавшемуся недавно и у нас вопросу об участии социал-демократов в буржуазной печати. Полемизируя с Баксом, Каутский говорит: Участие социалистов в буржуазных органах иногда даже полезно; но даже самый приличный буржуазный орган не представляет достойного места для разрешения социалистами спорных вопросов, затрагивающих их партию. Таким, именно, партийным, а не только научным вопросом является и материалистическое понимание истории. Правда, не всякий социалист—сторонник материалистического понимания истории, но зато, наоборот, всякий противник социализма—противник матер. понимания истории. Когда социалист нападает на исторический материализм в буржуазной прессе, это так же бестактно, как если бы Вирхов выступил против Геккеля в ультрамонтанской газете.

Ст. *Каутскою* „Бернштейн и материалист. понимание истории“ взята из серии его статей о Бернштейне, печатавшихся в „Neue Zeit“; по содержанию своему она значительно отличается от соответствующей главы в его переведенной уже на русский язык книге „Анти-Бернштейн“.

Из остальных статей „Размышления о матер. понимании истории“ *Сореля* и статья *Крауза* о марксизме и контизме были напечатаны в органе немецких ревизионистов „Socialistische Monatshefte“, остальные—в „Neue Zeit“.

Собственно-философским проблемам, связанным с историческим материализмом, посвящены три статьи: *Штерна*, который в схематической форме проводит параллель между материализмом натур-философским, историческим и спинозизмом; *Цеттербаума*, который занимается методологическим обоснованием исторического материализма, и *Адлера*, устанавливающего тождество принципов діалектического материализма Маркса и Энгельса, с одной стороны, и учения Маха и Авенариуса—с другой.

Последней в „Сборник“ вошла статья *Каутскою* „Три кризиса марксизма“, написанная им к 20-ой годовщине смерти Маркса; хотя она не имеет прямого отношения к проблемам исторического материализма, мы выбрали ее заключительной статьей для „Сборника“, так как она ставит в одну историческую перспективу все так называемые кризисы марксизма.

**С. Семковский.**

Берлин.
1 мая 1908 г.

## Предисловие составителя к 3-ьему изданию.

Первое издание сборника „Исторический материализм“ вышло в 1908 г. в Петербурге (изд. т-ва „Общественная польза“). Оно было тотчас же конфисковано; в обращение попало лишь самое незначительное количество экземпляров, которые, таким образом, в настоящее время представляют библиографическую редкость.

Второе издание было выпущено в 1919 г. в Москве (отделом печати Московского Совета Р. и К. Д.). В него не вошли, по сравнению с первым изданием, статьи Штиллиха, Сореля, Ф. Адлера и первая статья Келлес-Крауза. Издание это уже вскоре после выхода разошлось, и в настоящее время в продаже, по крайней мере на Украине, не имеется.

Между тем, в особенности со стороны студенчества, поступают требования на сборник, который занял определенное место в ряду пособий по изучению исторического материализма. Это и побуждает нас выпустить сейчас третье издание.

Из опущенных во втором издании статей включена лишь статья Келлес-Крауза: „Что такое экономический материализм“. Несмотря на некоторые отступления от выдержанной линии исторического материализма Маркса, она представляет значительный интерес, и восстановление ее тем более необходимо, что следующая за нею статья Цедербаума дает как-раз критический разбор соответствующих положений Келлес-Крауза.

Мы сначала предполагали снабдить новое издание общим теоретическим введением и пояснительными примечаниями к основным вопросам, трактуемым в статьях, вошедших в сборник. Но от этого можно было тем легче отказаться, что одновременно нами подготовляется к печати специальный курс лекций по историческому материализму, читанный в Харьковских Институтах Народного Хозяйства и Народного Образования.

С удовлетворением можно констатировать у нас за последнее время пробуждение широкого, и притом углубленного, интереса к теоретическим основам марксизма. Об этом свидетельствуют переполненные, жадно слушающие аудитории в наших университетах и институтах, оживленные, самодеятельные семинары по марксизму, в

которых как бы вновь оживает дух марксистских „кружков“ конца девяностых и начала девятисотых годов. И это, несмотря на по-истине гнетущие условия нищенской экономики.

Выпуская в свет 3-ье издание сборника „Исторический материализм“, мы считаем, что он идет навстречу той широко назревшей струе углубленного интереса к марксистской теории, правильность которой более, чем когда-либо, подтверждена историческим опытом нами переживаемой эпохи.

**С. Семковский.**

Харьков.
16 февраля 1922 г.

# КАРЛ КАУТСКИЙ И Э. БЕЛЬФОРТ-БАКС.

(ДИСКУССИЯ)

## ЭРНЕСТ БЕЛЬФОРТ-БАКС.

### Материалистическое понимание истории.

Материалистическая теория исторического развития исходит из того положения, что общественная жизнь человечества представляет собою во всех отношениях—следовательно, также в отношении морального, интеллектуального и эстетического развития—либо непосредственный результат экономических условий, т.-е. условий производства и обмена продуктов, либо их идеологическое отражение.

В своей наиболее резкой форме эта теория, следовательно, утверждает, что нравственность, религия и искусство не только находятся в зависимости от экономических условий, но всецело возникают из отражения этих условий в социальном сознании. Одним словом, по этой теории, основу всех явлений образуют материальные блага, их производство и обмен, а религия, мораль, искусство—суть только случайные формы проявления, которые прямо или косвенно можно свести к экономическим причинам *).

Без сомнения, эта теория бесконечно ближе подходит к истине, чем господствовавшее прежде учение, согласно которому решающее влияние на историю человечества оказывает философское познание, накладывающее свою печать на каждый данный период. Но это обстоятельство отнюдь еще не дает нам права считать экономические условия *единственным* фактором, определяющим прогресс, как это утверждают известные последователи материалистического понимания истории. Разве могут сторонники этой теории отрицать, что человеческая природа заключает в себе синтез и, постольку, предполагает более, чем *один* элемент? Или они действительно думают, что стоит свести психологическое или общественное явление к самой ранней его форме—хотя бы даже к первично-животной форме или к форме простой органической ткани,—чтобы открыть „истинную сущность“ данного явления? Только путем ложного умозаключения можно придти

---

*) Для знатоков учения *Карла Маркса* я считаю излишним подчеркивать, что сам Маркс в своей формулировке материалистического понимания истории был весьма далек от этой крайней точки зрения. «Moi même je ne suis pas marxiste» (я сам не марксист), писал он однажды, и эти слова, без сомнения, повторил бы, если бы дожил до новейших произведений «марксистов» Плеханова, Меринга и Каутского.

к выводу, будто простое сведение вещи к ее начальным формам во времени, необходимым образом, вскрывает ее существенное или конечное значение.

Прекрасной иллюстрацией к этому могут служить дебаты, которые вели по этому вопросу в Париже Жорес и Лафарг [1]). Жорес утверждал,—для той цели, которую мы сейчас себе ставим, безразлично, был ли он прав или нет,—что идею справедливости и равенства можно отыскать на самых ранних ступенях духовного развития человечества, и что в прогрессе этих идей и состоит все историческое развитие, которое, конечно, претерпевает те или иные видоизменения также под влиянием экономических условий. Лафарг на это возразил, что его противник должен доказать нечто большее, а именно—существование этих идей также у обезьяны и даже у устрицы. Мне кажется, ответить на это Лафаргу было бы не трудно. Ибо Жорес говорил не об устрице, да и не об обезьяне, а о человеческом обществе. Он утверждал лишь, что известные этические воззрения и тенденции, как таковые, проявляются ясно и определенно уже на первых ступенях развития человека, как социального существа, что часто они, правда, тускнеют, но никогда не исчезают совершенно, и, наконец, что полной своей реализации они достигнут в социализме.

И далее,—так как положение: „natura non facit saltum“ [2]) имеет силу и для социологии,—если утверждение Жореса правильно, то никто не станет отрицать, что и у обезьян можно найти нечто, соответствующее идеалам справедливости и равенства и аналогичное развитым у человека тенденциям. Ничто не мешает применить это рассуждение и к устрице или даже к неорганической материи. В раздражимости, в реагировании тела моллюсков на внешнее раздражение и в связанной с этим, как мы думаем, чувствительности мы имеем, без сомнения, непосредственного предтечу тех же условий, что и у человека для допущения моральных, интеллектуальных и эстетических импульсов. Простой рефлекс является в *этой* стадии развития представителем боее глубокого сознания человека: он содержит в себе все эти тенденции implicite, так сказать, в потенции. Но сам по себе тот факт, что в ходе времени одна вещь предшествует другой, не говорит нам еще ничего о природе более высокого сознания и сознательных актов воли, или даже о бессознательном ощущении и рефлексе а еще менее—о конечных формах человеческого сознания, которые таятся в будущем.

Стремление свести всю челоеческую жизнь к *одному* элементу, об‘яснить всю историю на основе экономики, не считается, как я уже заметил, с тем фактом, что всякая конкретная реальность необходимым образом имеет две стороны—материальную и формальную—и,

[1]) См. в настоящем сборнике ст. «Идеалистическое понимание истории». *Прим. пер.*

[2]) „Природа не далает скачков“.

следовательно, по меньшей мере, два основных элемента. Ибо, в противоположность абстракции, реальная действительность заключается в синтезе. Попытка развить многообразие человеческой жизни из одного элемента напоминает стремление до-сократовской греческой философии свести всю природу на один основной элемент: воду, огонь, воздух. Со времени Платона и Аристотеля греки отказались от этих попыток даже по отношению к внешней природе. И вот в наше время крайние партизаны материалистического понимания истории хотят представить экономическую основу в духе древне-греческих гилозоистов, как „источник и начало" всех вещей. Когда я однажды заметил одному выдающемуся представителю этого крайнего течения, что „есть еще много вещей на небе и на земле, о которых его мировая мудрость ничего не знает", что существуют моральные, интеллектуальные и эстетические факты жизни, которых нельзя, как бы ни углубляться в прошлое, свести к чисто экономическим причинам,—он дал мне такой замечательный ответ: „Откуда же взялись эти факты? Не с неба же упали!" Моему другу и в голову не пришло, что, кроме психологического отражения и „падения с неба", может существовать еще третье решение проблемы. Разве такая точка зрения не в высшей степени наивна?

По моему мнению, разбираемая теория нуждается в такого рода исправлении: спекулятивные, этические и эстетические способности человека, как таковые, существуют в человеческом обществе с самого начала—правда, в неразвитом состоянии,—а не являются простым продуктом материальных факторов человеческого существования, хотя их проявления в каждом из прошлых периодов подвергались все более ослабевающему, но часто все еще весьма значительному влиянию этих факторов. Все развитие общества в целом в гораздо большей степени зависело от его материальной основы, чем от какой-либо спекулятивной, этической или эстетической причины. Но это не значит, что каждая такая „идеологическая" причина может быть сведена к чисто материальному условию. До сих пор не привели еще доказательства возможности об'яснить хотя бы *одно* составившее эпоху моральное, спекулятивное или эстетическое воззрение, как продукт чисто экономических условий. Последние могут влиять на реализацию данного воззрения, но, ведь, это только отчасти определяет его. То же самое относится к каждому историческому событию, к каждому историческому периоду и тут еще ни разу не удалось исчерпывающим образом представить данное событие или данный период как продукт существующих или существовавших материальных условий, хотя я и допускаю, что в известных случаях и для практических целей это могло в достаточной мере удаться. Общество имеет определенное экономическое развитие, но оно обладает также определенным духовным развитием, и лишь взаимодействие обоих дает в результате социальную эволюцию в ее конкретных формах.

Защитники разбираемой теории обыкновенно не считаются с важным различием между отрицательным условием и положительной причиной. Новые материальные условия, которые устранили прежде существовавшие для развития данной идеи препятствия, не могут считаться причинами этой идеи. Устранение этих препятствий может быть безусловно необходимым для реализации данной идеи или данного идеала, но оно также мало является причиной последних, как устранение механического препятствия, мешающего дереву расти прямо, является причиной его нормального развития. История дает нам достаточно примеров подобного рода. Я вполне допускаю, что своеобразная форма данного интеллектуального, этического или эстетического движения определяется материальными условиями жизни того общества, в котором это движение совершается, но она определяется также основными психологическими тенденциями, создавшими это движение. Например, мыслительную способность, способность к обобщениям и причинному об‘яснению явлений, нельзя, без сомнения, свести на „психологическое отражение экономических условий“,—и это даже в том случае, если бы было доказано, что она приходит в действие под влиянием этих именно условий, видоизменяющих также ее результаты. Сила суждения обобщает известные внешние впечатления, подводит их под общеобязательное правило,—одним словом, *об‘ясняет* их. Вначале она занимается явлениями природы в их непосредственно данном виде. Ее гипотезы еще грубы, но в основе их лежит скорее наивное наблюдение внешней природы, чем отражение экономических условий. И, таким образом, философия вначале является результатом наблюдения явлений внешней природы, а впоследствии — результатом анализа элементов сознания, в которых и посредством которых дана природа.

Растение нуждается в определенных условиях: в почве, климате, влажности, чтобы семя могло пустить росток и развиться. Но не почва и климат образуют растение, его образует самое семя,—и это несмотря на то обстоятельство, что почва, климат и другие внешние условия играют большую или меньшую роль в развитии растения и затем в развитии произведенного им семени и т. д. до бесконечности. Вы можете тут углубляться, сколько вам угодно, вы можете проследить все видоизменения до бесконечности,—вы все же никогда не дойдете до того пункта, где почва и растения составили бы нечто одно: двойственность семени, и почва все время остается. И точно так же обстоит дело с человеческим развитием. Как бы далеко вы ни углублялись, вам никогда не удастся устранить оба конечных элемента. Мы неизменно приходим ко взаимной обусловленности внешнего, материального и внутреннего, „идеологического“, факторов. В каждом конкректном человеческом обществе, даже в самом раннем и простейшем, мы находим неразрывное взаимодействие обоих этих элементов. Выделение одного из них приводит к абстракции.

Мы переходим теперь к важному вопросу: в каком отношении стоят друг к другу оба эти элемента в разные периоды? Что один из них может значительно преобладать и что таким преобладающим элементом на всем протяжении человеческой истории был материальный элемент,—это в настоящее время совершенно неоспоримо. Но даже в те эпохи, относительно которых сохранилось историческое предание, мы наблюдаем—и это столь же неоспоримо—определенные периоды с преобладанием „идеологического" элемента. Это—те периоды, когда какая-нибудь спекулятивная вера признается ее последователями до того истинной, что она совершенно отодвигает на задний план материальные интересы жизни. Как пример, можно привести первый период христианства. Разумеется, материальный (и, в особенности, экономический) фактор имеет тенденцию, коль-скоро речь идет о больших массах, получать преобладающее значение—что и случилось после первого века существования христианства. То же произошло и с религиозными движениями Реформации. Но в развитии христианства на протяжении первых двух поколений материальные условия играли весьма подчиненную, почти даже только отрицательную роль. Точно также в первых еретических движениях средних веков решительный перевес был на стороне спекулятивного элемента. Но если даже оставить в стороне специальные случаи непоколебимой спекулятивной веры, можно установить в различные периоды значительное колебание в относительном влиянии „идеологического" и материального факторов. Тут возникает вопрос: возможно ли формулировать для этих колебаний какой-либо закон? Возможно ли познать тот принцип, от которого они зависят? Я думаю, что его следует искать в относительной обеспеченности жизненных потребностей народных масс. Как телесному существу, человеку необходимы пища, одежда, жилища, утварь и т. д. Поэтому основа социального развития по необходимости материальна. Обеспечение этих потребностей составляет высшую задачу всякого общества, составляет его sine qua non. Таким образом, там, где средства существования недостаточны, или где им угрожает опасность, там добывание их играет в человеческом сознании первенствующую роль и занимает в нем главное место. Высшие человеческие способности предполагают удовлетворение низших. До тех пор, пока животные потребности остаются неудовлетворенными, они необходимым образом всецело занимают горизонт сознания и беспредельно владеют всеми мыслями. Это имеет такую же силу по отношению к аскету, как и по отношению к обыкновенному человеку, только в обратной форме. Стараясь умертвить свою животную природу, аскет занимается ею в той же мере, что и обыкновенный человек, который стремится ее удовлетворить. Невозможно освободиться от естественной основы всех вещей.

Итак, если ощущается недостаток в необходимых материальных средствах к жизни, если добывание их дается с трудом, и нет уверенности

в их сохранении, то преобладание экономического фактора является необходимостью. А так как на всем протяжении истории для многочисленных классов общества, и чаще всего для большинства его, существовало одно или несколько из названных условий, то на всем протяжении истории „идеологические“ продукты получали свою окраску и даже свою форму от материальных условий. Я хотел бы здесь повторить сказанное мною уже в другом месте *), а именно, что необходима наличность трех условий для того, чтобы экономика была первичной движущей силой прогресса: необходим класс, который не может удовлетворять своих жизненных потребностей в такой мере, как это делает другой класс; необходимо, далее, чтобы класс этот сознавал свое более низкое и необеспеченное положение; и, наконец, необходима уверенность, что совместным классовым выступлением возможно добиться недостающих благ и обеспеченной жизни. Таковы те условия, при которых экономическое движение приобретает в истории силу, при которых оно необходимо должно приобрести силу, если только речь идет о классе, составляющем большинство или хотя бы только значительную часть народа. Это может совершиться в сознательной и бессознательной форме. В последнем случае люди могут думать, что ими руководят политические или религиозные мотивы, тогда как на самом деле они действуют под влиянием соображений о материальном благополучии, как своем собственном, так и того класса, к которому они принадлежат. В прошлом это довольно часто делалось открыто, но в настоящее время, напротив, в таких случаях обыкновенно пользуются, сознательно или бессознательно, мантией религии.

Подведу теперь итог тем взглядам, которые я развил здесь в противоположность крайнему направлению материалистического понимания истории. Для представителей этого направления человеческая деятельность определяется всецело и исключительно внешними, физическими причинами, совершенно так же, как с точки зрения противоположного направления она определяется всецело и исключительно внутренними, психологическими или идеальными причинами. Оба воззрения я считаю односторонними и потому ошибочными, хотя первое из них гораздо ближе подходит к истине, ибо на всем протяжении исторического развития вплоть до наших дней влияние физических, экономических условий было, без сомнения, преобладающим, а в настоящее время оно до того могущественно, что даже близорукий наблюдатель вынужден признать его. Это именно обстоятельство и способствовало распространению крайних материалистических воззрений. Разумеется, нам, живущим в такое время, когда экономические условия оттеснили на задний план все остальное, нам трудно представить себе то время, когда этого не было. Современному человеку кажется непонятным, как могли когда-то люди принимать теологию с такой

*) „Outlooks from the ne Standpoint“, стр. 127—128.

непоколебимой верой, что она оказывала влияние на их деятельность; как могли рыцарские доблести, верность сеньеру, привязанность к своему племени обладать такой силой, чтобы оттеснить на задний план все остальные проявления жизни. На это мне, конечно, возразят, что все эти чувства возникли тоже как результат экономических условий. Точь-в-точь, как по пословице, Тентерденская башня явилась причиной обмеления близлежащего берега, так как на памяти людей она всегда находилась возле него.

Конечно, для того, чтобы приносить плоды, идеологическое воззрение должно быть посажено в соответствующую экономическую почву, но эта экономическая почва, как таковая, составляет лишь отрицательное условие. Активным, творческим элементом является семя, т.-е. „идеологическое“ воззрение. И поскольку социализм есть сознательное движение, это относится также к нему. Оставаясь при нашем сравнении, можно сказать, что экономической почвы самой по себе недостаточно, чтобы произвести плоды. Это наглядно доказывается тем фактом, что самая могущественная социалистическая партия возникла на немецкой почве, а не в Англии или Соединенных Штатах, где крупная промышленность развилась, ведь, раньше и распустилась гораздо более пышным цветом. В Германии психологический, идеологический фактор—влияние социалистического учения на образованное население—застал сравнительно неблагоприятные, по крайней мере вначале, экономические условия, и все же успех получился крупный. В Англии, напротив, недоставало психологического фактора или он был лишь слабо развит, и хотя экономические условия были в десять раз благоприятнее, результат получился нулевой или крайне слабый. Это вдвойне замечательно по отношению к такому веку и такому движению, в которых экономические условия играют и необходимо должны играть важнейшую роль. Перед нами учение, построенное на экономии и провозглашающее, что развитие крупной промышленности с естественной необходимостью приводит к социализму,—и однако, как-раз в странах с наиболее развитыми экономическими условиями, каковы Англия и Соединенные Штаты, это учение пользуется меньшим признанием, чем на европейском континенте, где крупная промышленность сравнительно недавно возникла. В больших городах Англии и Америки пролетариат многочисленнее, нищета там, вероятно, более ужасающая,—и тем не менее социализму в Англии и Америке приходится бороться с апатией трудящихся классов. Экономические условия, как бы сильно ни ощущалось их давление, нуждаются в оплодотворяющем влиянии идеала и энтузиазма, чтобы вызвать к жизни великое движение, не говоря уже о создании нового общества.

Я уже указал на то, как меняется в различные периоды относительная роль обоих элементов; я попытался также установить закон, управляющий этим изменением. Я допустил, что в настоящее время

экономические условия до того оттесняют в человеческом уме все остальные соображения, что поверхностному наблюдателю они могут показаться единственным фактором прогресса. Но, несмотря на преобладающее в настоящий момент господство этого фактора, мы видели, что „идеологическая“ способность человека—я назвал бы ее первичным психологическим фактором—должна сначала преобразовать результаты внешнего экономического давления и привести их в форму идеала, чтобы прогресс действительно мог совершиться. А если этого нет, тогда экономический, а с ним вместе и социальный прогресс лишь медленно пробивает себе путь. Из того, что до сих пор в большинстве исторических периодов экономический фактор прогресса играл руководящую роль, отнюдь еще не следует, что это всегда так и будет. Напротив, ибо, если правилен установленный мною закон об отношении обоих элементов социальной эволюции друг к другу, то несомненно также, что уничтожение классового общества, т.-е. монопольного обладания небольшой части народа важнейшими благами в ущерб народным массам, означает уничтожение той силы, которая до сих пор определяла направление человеческой деятельности. В эпоху классового господства внешняя сила (экономические условия) господствует над внутренней (над идеологическим элементом), материальные отношения определяют психологические побуждения. Это бывает неизбежно всякий раз, когда нарушено экономическое равновесие. Когда класс имущих противостоит классу обездоленных, тогда сознанием этого последнего овладевает потребность в материальных благах и стремление к их достижению. Всякий идеал, возникающий у такого класса, необходимо должен носить на себе печать этого факта. И, в свою очередь, сознание класса имущих проникнуто экономической необходимостью защищать свое положение.

Но, как только исчезнет разделение общества на классы, и все общество образует один единый класс,—исчезнет также экономическое давление, и психологическое движение сделается совершенно свободным. Пусть правы те, которые говорят, что никогда не удастся вполне элиминировать экономический элемент, так как этому мешает сама природа. Но, если в прежние эпохи человек имел власть над природой только в узких пределах, если социальные союзы были невелики и более или менее изолированы, так что плохой урожай, градобитие или разбойничье нападение соседнего племени могли произвести полную перемену во всех общественных условиях,—то современная техника, благодаря своим изобретениям, уменьшает эту зависимость от внешних факторов. Но, с другой стороны, если даже удастся, благодаря большему господству над природой, низвести до минимума непосредственно-внешние влияния, то все же они едва ли совершенно исчезнут; еще меньше удастся нам сразу устранить последствия тех нарушений, которые неизбежно будут вызваны столь

радикальной переменой в общественном развитии. Все же экономический фактор прогресса будет тогда окончательно развенчан и навсегда утратит господство над развитием политической, социальной и духовной жизни. Общественное развитие, которое раньше бессознательно определялось материальными условиями, будет теперь направляться сознательной волей людей.

Во взаимном действии и противодействии обоих элементов социальной динамики и состоит вся человеческая история. Но внутри этого великого синтеза общественной жизни развивается бесконечное множество новых синтезов, приобретающих относительно независимое существование. Фридрих Энгельс блестяще показал*), как экономические формы дают все новые ростки, в свою очередь начинающие вести самостоятельную жизнь. Это mutatis mutandis относится ко всем областям человеческой деятельности. Религиозные, политические, научные, философские и эстетические проявления жизни имеют тенденцию развивать побочные формы, которые начинают вести свою собственную, относительно самостоятельную и независимую, хотя и подчиненную жизнь. Все они одинаково, но в различной степени, являются результатом влияния экономического развития на психику, с одной стороны, и обратного воздействия последней на экономическое развитие—с другой. Но каждое звено этих действий и обратных воздействий отличается большею сложностью, чем предыдущее. Ни одно экономическое явление не может считаться исключительным продуктом внешних сил, ни одно интеллектуальное, моральное или эстетическое явление—исключительным продуктом психических процессов. Общий результат тех и других составляет человеческое развитие: в отдельности они не существуют, и лишь во взаимодействии дана их реальность.

Наши надежды на великую будущность человечества при господстве социализма основываются на том факте, что тогда духовная инициатива человека впервые освободится от мучительного гнета экономических условий и материального положения и получит власть над человеческой жизнью. Кто понял прошлое историческое развитие, тот поймет также то бесконечно великое значение, какое будет иметь эта революция.

---

*) В приложении к „Leipziger Volkszeitung“ от 26 октября 1895 г.

# КАРЛ КАУТСКИЙ.

## Материалистическое понимание истории и психологический фактор.

Последователям научного социализма, основанного Марксом и Энгельсом, решительно не везет. Они подвергаются нападкам не только со стороны противников Маркса и Энгельса, что вполне понятно, но и со стороны таких людей, которые нередко даже чрезмерно высоко ставят Маркса и Энгельса, но почему-то считают несовместимым с достоинством свободного мыслителя последовательно проводить их учение. Шутку Маркса, что он сам не марксист, эти господа принимают в серьез и стараются всех уверить, будто Маркс считал сторонников своего учения идиотами, страдающими полным отсутствием способности к самостоятельному мышлению. По их словам выходит, что марксисты, все без исключения, не в силах понять Маркса, и поэтому они, не-марксисты, призваны защитить марксово учение от догматического фанатизма марксистов.

Обыкновенно эти господа довольствуются парой фраз известного сорта, обеспечивающих успех на собраниях „свободомыслящих“, если их произнести в соответствующем тоне морального негодования. Несколько более серьезную попытку в этом направлении делает английский социалист Бельфорт-Бакс.

В своей статье „Материалистическое понимание истории“ он после небольшого вступления говорит:

„В своей наиболее резкой форме эта (материалистическая) теория (исторического развития), следовательно, утверждает, что нравственность, религия и искусство не только находятся в зависимости от экономических условий, но и *всецело возникают из отражения этих условий в социальном сознании*. Одним словом, по этой теории, основу *всех явлений* образуют материальные блага, их производство и обмен, а религия, мораль, искусство—суть только *случайные формы проявления*, которые прямо или косвенно можно свести к экономическим причинам“.

А в примечании к этому месту Бакс говорит: „Для знатоков учения Карла Маркса я считаю излишним подчеркивать, что сам Маркс в своей формулировке материалистического понимания истории был весьма далек от этой крайней точки зрения. „Moi même je ne suis pas

marxiste“ (я сам не марксист), писал он однажды, и эти слова он, без сомнения, повторил бы, если бы дожил до новейших произведений „марксистов“ Плеханова, Меринга и Каутского“.

Это примечание во всяком случае оригинально. Новейшие произведения марксистов вызвали у Бакса чувство досады. Но опасаясь, что простое выражение его личного неудовольствия мало подействует, он вызывает тень Карла Маркса и заставляет ее торжественно от нас отречься.

Когда Маркс через медиума Бакса отвергает наши новейшие произведения, это для нас, без сомнения, тяжкий удар. Но зачем было Баксу в такой мере напрягать свои теософическ ие способности? Ведь материалистическое понимание истории создано не только Марксом, но и Энгельсом, который, ведь, дожил до „новейших произведений марксистов“,—почему же Бакс умалчивает об Энгельсе?

Но не одно это замечательно в приведенном примечании. Единственной его целью, очевидно, является—обрушиться на трех названных марксистов. Сути дела оно нисколько не выясняет. Напротив. В тексте всегда говорится о материалистическом понимании истории как об одной определенной теории. В примечании же нам вдруг заявляют, что изложенная в тексте теория не есть теория Маркса. При этом, однако, Бакс остерегается указать, кому же, собственно, принадлежит эта теория. Не хочет ли он сказать, что творцами изложенной им исторической теории являются Плеханов, Меринг, Каутский? Тогда я должен самым решительным образом против этого протестовать не только от своего собственного имени, но и от имени всех марксистов вообще. Ни одному серьезному марксисту никогда не приходило в голову говорить об „отражении в социальном сознании“—что бы Бакс под этим ни разумел. Мы никогда не искали „основу *всех явлений*“ в „материальных благах“; даже „основу“ всей *человеческой деятельности* мы ищем далеко не исключительно в „материальных благах“. И не нужно вовсе быть „*знатоком*“ литературы исторического материализма, чтобы знать, что ни один марксист не смотрит на религию, мораль, искусство как на *случайные* формы проявления“.

Но и кроме названных марксистов, мне неизвестен также ни один исторический материалист, который написал бы подобный вздор. Таким образом, та материалистическая концепция истории, с которой воюет Бакс, не принадлежит ни Марксу, ни марксистам, будто бы отклонившимся от Маркса, и мы охотно предоставляем Баксу разрушить ее до основания.

Бакс, однако, не только разрушает, но и строит, как подобает философскому критику. Он *исправляет* материалистическое понимание истории.

Последнее кажется ему односторонним. „Стремление,—говорит он—свести *всю человеческую жизнь* к *одному* элементу, об'яснить всю историю на основе экономики не считается с тем фактом, что всякая конкретная реальность необходимым образом имеет две стороны:

материальную и формальную, и, следовательно, по меньшей мере, два основных элемента... По моему мнению, разбираемая теория нуждается в такого рода исправлении: спекулятивные, этические и эстетические *способности* человека, как таковые, существуют в человеческом обществе с самого начала, правда, в неразвитом состоянии, а не являются простым продуктом материальных факторов человеческого существования, хотя их проявления в каждом из прошлых периодов подвергались все более ослабевающему, но часто все еще весьма значительному влиянию этих факторов. Все развитие общества в целом в гораздо большей степени зависело от его материальной основы, чем от какой-либо спекулятивной, этической или эстетической причины. Но это не значит, что каждая такая „идеологическая" причина может быть сведена к чисто материальному условию... Я вполне допускаю, что своеобразная форма данного интеллектуального, этического и эстетического движения определяется материальными условиями жизни того общества, в котором это движение совершается, но она определяется также основными психологическими тенденциями, создавшими это движение. Напр., *мыслительную способность*, способность к обобщениям и причинному об'яснению явлений нельзя, без сомнения, свести на психологическое отражение экономических условий"... Подведу теперь итог тем взглядам, которые я развил здесь в противоположность крайнему направлению материалистического понимания истории. Для представителей этого направления *человеческая деятельность* определяется всецело и исключительно *внешними*, физическими причинами, совершенно так же, как с точки зрения противоположного направления она определяется всецело и исключительно внутренними, психологическими или идеальными причинами. Оба воззрения я считаю односторонними".

Действительный смысл всего этого философского глубокомыслия сводится к тому, что, по мнению Бакса, нравственность, религия, искусство, наука создаются не исключительно экономическими условиями,—необходимо еще, чтобы эти условия воздействовали на людей, одаренных известными этическими, эстетическими, спекулятивными способностями. Только из взаимодействия обоих факторов возникает общественное, эстетическое и т. п. движение.

Кто станет оспаривать, что Бакс совершенно прав и что материалистическое понимание истории окончательно посрамлено? Но не то материалистическое понимание истории, которого придерживался Маркс и придерживаются марксисты, а только то, которое изобрел сам же Бакс и которое гласит, что „нравственность, религия и искусство" являются „отражением экономических условий" в „социальном сознании", что материальные блага образуют основу всех явлений, и что „мыслительную способность" можно „свести на психологическое отражение экономических условий".

Марксово материалистическое понимание истории, к сожалению, слишком ограничено и односторонне, чтобы претендовать на об'яснение *мыслительной способности*—пожалуй, еще и улиток!—или *всех явлений*. Оно не стремится быть чем-либо иным, как только *исторической* теорией, как только методом исследования основных причин *общественного развития*.

Было бы, конечно, абсурдом утверждать, что данное художественное произведение или данная философская система, рассматриваемые сами по себе, являются просто продуктом, в конечном счете, экономических отношений. Но ни одна историческая теория не ставит своей задачей об'яснить художественное или философское творчество; она занимается лишь об'яснением тех *изменений*, которые это творчество испытывает в различные периоды. Разумеется, без мыслительной способности нет и идей. Но разве может эта глубокая истина подвинуть нас хотя бы на один шаг при исследовании вопроса, почему идеи XIX века отличаются от идей XIII в., которые в свою очередь отличаются от идей античного мира?

Нужно отличаться полным отсутствием ума, чтобы допустить, что воля и мышление людей „определяются всецело и исключительно внешними, физическими причинами", как это, по мнению Бакса, утверждает „крайнее направление материалистического понимания истории". Само собой понятно, что в процессе выработки идей играет роль не только внешний мир, но и человеческий организм. Но разве человеческий организм, его способность к мышлению, к художественному творчеству и т. д. сколько-нибудь заметно изменились на протяжении истории? Конечно, нет. Мыслительная способность какого-нибудь Аристотеля вряд ли превзойдена, также художественные способности древних греков. С другой стороны, что изменилось во внешнем мире? Природа? Тоже нет: над Грецией сияет то же самое голубое небо, что и в эпоху Перикла. Изменилось только *общество*, т.-е. в конечном счете—*экономические отношения;* и поскольку в природе и людях происходили изменения, они совершались под влиянием изменений в экономических отношениях.

Таким образом, экономические отношения не являются единственным фактором, определяющим „всю человеческую деятельность", „всю человеческую жизнь в целом", но среди факторов, влияющих на человеческую жизнь, они составляют единственный *переменный* элемент. Все остальные факторы постоянны и вовсе не меняются, а если и меняются, то только под влиянием этого переменного элемента; они, следовательно, не являются движущими силами *исторического развития*, хотя и составляют необходимые элементы *человеческой жизни*.

Исторический материалист отнюдь не проходит мимо „психологического" фактора, отнюдь не дает слишком низкую оценку его роли в истории. Но, далекий от того, чтобы быть главной пружиной

исторического развития, этот фактор, напротив, оказывается, по существу, *консервативным* элементом. Каждый историк знает, какую великую силу представляет в истории *традиция*.

В то время, как экономическое развитие не знает покоя, человеческое сознание стремится остаться в раз добытых формах мышления; оно не следует непосредственно за экономическим развитием, окаменевает и остается при старых формах еще долгое время после того, как создавшие их экономические и общественные отношения исчезли. Так, по слову поэта, разум становится бессмыслицей, благодеяние—бедствием. И это происходит не только там, где с сохранением старых форм мышления связан какой-нибудь материальный интерес. Приведу для примера тот факт, что название степеней родства гораздо консервативнее, чем формы семьи *) или, что наши праздники пережили все революции, хотя отношения, из которых они возникли, давным-давно исчезли. Поэтому-то формы мышления позднейшей эпохи дают нам важные указания для изучения общественных отношений более ранней эпохи.

Экономическое развитие должно уже значительно уйти вперед, его потребности и выросшие из них общественные отношения должны уже находиться в сильном противоречии с традиционными формами права, морали, мышления, чувств и со всей организацией общества, чтобы даже только избранные мыслители, отличающиеся особенной глубиной и смелостью мысли, увидели себя вынужденными развивать и защищать, при помощи имеющихся в их распоряжении художественных и научных средств, новые воззрения, новые идеалы, которые обязаны своей притягательной силой новым общественным потребностям и отношениям и историческое значение которых—их влияние на преобразование человеческого сознания и на реорганизацию общества—зависит от степени их приближения к требованиям экономического развития.

Но человеческое мышление до того консервативно, что даже революционные умы в начале революции неизбежно вливают новое вино в старые меха и сами смотрят на свои идеи не как на переворот в традиционных формах мышления, а как на их завершение. Христос, как известно, пришел не для того, чтобы разрушить закон, а чтобы исполнить его; реформаторы стремились не к созданию нового христианства, соответствовавшего потребностям XV и XVI вв., а к восстановлению евангелического христианства; точно также и первые

*) „Семья,—говорит Морган,—является активным элементом; она никогда не остается на одном месте, а неизменно переходит от низших форм к высшим по мере того, как общество постепенно развивается. Напротив, системы родства пассивны; только через громадные промежутки времени они отмечают те этапы развития, которые проделала семья, и лишь в том случае подвергаются радикальной перемене, когда радикальным образом изменилась семья“. „И,—добавляет Маркс,—так же точно обстоит дело с политическими, юридическими, религиозными и философскими системами вообще“. (Энгельс. „Происхождение семьи, собственности и государства“).

демократические социалисты нашего времени думали, что им предстоит лишь завершить то дело, которое начала, но не окончила французская революция. Социал-демократия была в их глазах только последовательной демократией.

Борьба новых элементов со старыми должна уже значительно подвинуться вперед, чтобы творцы новых идей сознали их непримиримое противоречие со старыми. Еще позже, разумеется, это начинает сознавать масса рядовых членов общества даже внутри тех классов, которые заинтересованы в новом порядке вещей. Классовые противоречия должны резко обостриться, классовая борьба должна глубоко всколыхнуть массы, чтобы они заинтересовались новым учением и поняли его.

Благодаря такой косности человеческого сознания, прогресс общества при поверхностном наблюдении кажется продуктом идей, „падающих с неба" в головы отдельных вдохновенных мыслителей, которые затем и привлекают на их сторону массы. Дело представляется в таком виде, будто идеи порождают общественное движение. Нет ничего наивнее, чем когда представители идеализма упрекают материалистов в том, что они „проходят мимо" роли идей в истории. Как будто это возможно, как будто только-что описанный процесс не бросается сам собой в глаза каждому, кто еще только начинает изучать историю! Нет, материалисты не *проходят мимо* этого процесса, но они не *довольствуются* тем, чтобы, по примеру традиционных историков, оставаться при одном этом процессе, т.-е. на поверхности явлений. Они ведут исследование глубже и приходят к выводу, что смена идеи носит не случайный произвольный, а вполне закономерный характер, что каждой данной экономической эпохе соответствуют определенные формы религии, нравственности, права, одинаковые во всех климатах и у всех рас, и что повсюду, где только можно проследить соответствующие изменения, изменение экономических отношений предшествует изменению человеческих воззрений, и, следовательно, последнее должно быть об'ясняемо первым, а не наоборот.

Таково материалистическое понимание истории—не то, которое развил Бакс, а то, которого придерживались Маркс и Энгельс (ср., между прочим, предисловие к „Критике политической экономии" первого и „Фейербаха"—последнего), и которого придерживаются также их ученики. Что критика Бакса и предлагаемое им „исправление" не задевают *этой* теории, совершенно ясно.

Вся критика, которой Бакс подвергает материалистическое понимание истории, основана на смешении понятий исторического развития и „всей человеческой жизни в целом". Он полагает, что теория, об'ясняющая историческое развитие, должна непременно давать также полное об'яснение всей человеческой жизни.

Но Бакс не ограничивается одним только этим смешением понятий.

Придя к глубокомысленному выводу, что человеческая деятельность определяется внешними и внутренними причинами, он тотчас-же развивает дальше это свое развитие и замечает, что в ходе исторического развития большую роль играет то один фактор—„основные психологические тенденции“, то другой—„экономические условия“.

„Мы переходим,—говорит он,—теперь к важному вопросу: в каком отношении стоят друг к другу оба элемента в разные периоды? Что один из них может значительно преобладать и что таким преобладающим элементом на всем протяжении человеческой истории был материальный элемент,—это в настоящее время совершенно неоспоримо. Но даже в те эпохи, относительно которых сохранилось историческое предание, мы наблюдаем—и это столь же неоспоримо—определенные периоды с преобладанием „идеологического“ элемента. Это—те периоды, когда какая-нибудь спекулятивная вера признается ее последователями до того истинной, что она совершенно отодвигает на задний план *материальные интересы* жизни. Как пример, можно привести первый период христианства... В развитии христианства на протяжении первых двух поколений *материальные условия* играли весьма подчиненную, почти даже только отрицательную роль. Точно также в первых еретических движениях средних веков решительный перевес был на стороне спекулятивного элемента... Разумеется, нам, живущим в такое время, когда экономические условия оттеснили на задний план все остальное, нам трудно представить себе то время, когда этого не было. Современному человеку кажется непонятным, как могли когда-то люди принимать теологию с такой непоколебимой верой, что она оказывала влияние на их деятельность; как могли рыцарские доблести, верность сеньеру, привязанность к своему племени обладать такой силой, чтобы оттеснить на задний план все остальные проявления жизни“.

Какие, однако, мы, материалисты, пошлые люди! Все более тонкие движения человеческой души, не укладывающиеся в рамки стремления к наживе, нам недоступны. Добродетели рыцарства, верности, самоотверженности ни в каком случае не могут быть поняты материалистами, а только избранными идеалистами, к которым Бакс, очевидно, причисляет самого себя.

И какие мы, материалисты, невежи! Всякий школьник знает, какая непоколебимая вера воодушевляла первых последователей христианства и средневековой реформации,—лишь мы, материалисты, не знаем этого. Однако, в таком невежестве Бакс мог бы уличить не только „крайних марксистов“: в том же повинен сам Маркс. Как известно, он развил теорию исторического материализма в предисловии к своему сочинению „Критика политической экономии“, изданному в 1859 г. Тотчас же один американский критик сделал то же самое открытие,

какое сейчас делает наш английский критик. В указанном предисловии Маркс говорит, что „способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процесс жизни вообще“; и вот критик возразил, что „хотя все это и верно для современного мира, в котором господствуют материальные интересы, но это неприменимо ни к средним векам, в которые господствовал католицизм, ни к Афинам и Риму, где господствовала политика“. В одной выноске в „Капитале“ Маркс замечает по этому поводу: „Прежде всего странно самое предположение, будто эти *избитые фразы* о средних веках и античном мире остались для кого-либо неизвестными. Но ведь ясно, что средние века не могли жить католицизмом, а античный мир не мог жить политикой. Тот способ, каким люди добывали себе средства к жизни, и об‘ясняет нам, почему в одном случае главную роль играла политика, в другом—католицизм“.

Это место показывает нам Маркса во всей его материалистической закоренелости: новейшее открытие Бакса он уже целое поколение тому назад назвал „избитыми фразами“. Но, повидимому, эти фразы бессмертны,—и мы все же еще раз рассмотрим их несколько ближе.

По мнению Бакса, в истории преобладают то материальные условия, то „психический, идеологический фактор“,—и в доказательство ссылается на первый период христианства: первые христиане руководились-де непоколебимой верой, а материальные интересы играли у них весьма подчиненную роль.

Мне и в голову не приходит отрицать это, но я позволю себе спросить: где исторические материалисты утверждали, что люди руководятся в своей деятельности всецело и исключительно материальными интересами, т.-е. своекорыстием? Бакс совершает здесь прямо-таки чудовищное смещение материальных интересов, образующих сознательные мотивы деятельности отдельных личностей, с материальными условиями, лежащими в основе данного общества и, тем самым, в основе мышления и чувств членов этого общества!

Рука об руку с этим смешением понятий он совершает еще и другое. Приравнивая материальный интерес отдельных личностей к материальной основе общества, он превращает первый, т.-е. своекорыстие, в фактор, действующий на человека извне и противостоящий внутреннему, психологическому фактору! Но ведь ясно, что своекорыстие совершенно так же следует причислить к внутренним, психологическим факторам, как рыцарские доблести, самоотверженность, религиозность и т. д. Поэтому, если Бакс делает открытие, что в одном случае люди руководятся своекорыстием, а в другом—иными мотивами, то этим он доказывает не то, что ему хотелось доказать, т.-е. что общество находится во власти то материальных, то идеологических условий, а лишь то, что психологический фактор при различных формах общества бывает различным. Тот факт, который кажется Баксу,

вследствие целого ряда qui pro quo, решением загадки, как-раз и составляет проблему, подлежащую разрешению. Почему люди в эпоху Римской империи были охвачены стремлением уйти из мира сего, стремлением к небесному блаженству, чувством интернациональности и равенства и всеми другими характерными чертами христианства? Исторический материализм исследует те изменения, которым тогда подверглась экономическая структура общества и вместе с нею его политические и юридические отношения, и находит, что эти изменения служат достаточным об'яснением перемен, совершившихся в „психологическом факторе". Я позволю себе указать здесь на то, что уже в 1885 г. я сделал попытку об'яснить с материалистической точки зрения первый период христианства („Возникновение христианства"—„Neue Zeit" 1885 г.). Исследование это далось мне не так легко, как Баксу: он попросту об'являет изменения, совершившиеся тогда в „психологическом факторе", следствием... психологического фактора, который, таким образом, по примеру Мюнхгаузена, вытаскивает себя за собственные волосы из болота.

Тем не менее, в историческом законе, который выдвинул Бакс, заключается глубокий смысл. Если он, по моему мнению, мало пригоден для исследования общественных отношений, то он все же дает нам ключ к историческим работам Бакса.

Как „знаток" сочинений Маркса и марксистов, Бакс воспользовался многими об'яснениями, найденными им не только у первого, но и у последних, о которых он так пренебрежительно отзывается. Это составляет материалистический, внешний фактор в его исторических работах, Но этим он не довольствуется: его „мыслительная способность", его „психологический фактор" стремится проявить себя и создает внутренний, идеальный элемент. Высший синтез обоих элементов и составляет сущность исторических исследований Бакса. Достаточно привести небольшой пример.

В своем сочинении „Socialism, its growth and outcome" *) Бакс вполне по-марксистски об'ясняет расцвет пуританства в Англии экономическим развитием в сторону капитализма. Описав ход пролетаризации сельского населения Англии, он продолжает: „Так Англия заплатила дань торговле потерей той здоровой веселости, той силы и чувства собственного достоинства, которыми она некогда возбуждала удивление у всех иностранцев, страдавших гораздо больше, чем англичане, от феодальной системы и ее злоупотреблений".

Но на следующей же странице Бакс пишет уже совсем иное: „Протестантское пуританство... представляет совершенно особенный, изолированный факт,—вероятно, результат некоторых своеобразных

*) „Социализм, его развитие и результаты". Написано Баксом совместно с Вильямом Моррисом в 1893 г.

*Примеч. перев.*

черт населения и особых условий... Нельзя не признать, что возникновение этого (пуританского) духа носит столь же темный, сколь и роковой характер“.

Таким образом, материалистические симпатии, заставившие Бакса искать основу пуританского духа в своеобразном капиталистическом развитии Англии, не оказались у нашего историка достаточно глубокими. То он об‘ясняет пуританский дух вполне, как материалист, то он совершенно забывает свое собственное об‘яснение, и, „психологический фактор“ вступает в свои права; едва осветив самым ярким образом жизнерадостность „Merry old England“ (веселой старой Англии), Бакс, несколько страниц спустя, открывает основу пуританского духа в каком-то таинственном предрасположении английского народа к меланхолии.

Как видно, упрека в односторонности этот метод исторических исследований не заслуживает. Ие только потому, что он об‘ясняет одни исторические явления материалистически, другие—идеалистически: даже одному и тому же явлению он делает один раз материалистическое, другой раз идеалистическое об‘яснение—смотря по тому, под влиянием какого „психологического фактора“ находится в данный момент мыслительная способность историка.

До такого „синтеза“ мы, односторонние, крайние марксисты, конечно, не можем подняться.

---

# Э. БЕЛЬФОРТ-БАКС.

## Синтетическое или нео-марксистское понимание истории?

„Уничтожающая критика“ со стороны главного представителя марксистского понимания истории, или, вернее, того понимания истории, которое в настоящее время считается марксистским, вызывает меня, конечно, на ответ. Считая эту теорию *одной* из важнейших исторических истин, я все же не могу признать ее, по крайней мере, в ее настоящей форме, *последним словом* истины. Но я решительно протестую против того, чтобы меня называли „противником основанной Марксом исторической теории“ за то только, что я считаю эту теорию в ее настоящем виде недостаточной для об‘яснения всего исторического процесса.

Мне очень жаль, что я прибавил к своей статье то небольшое примечание, которое, повидимому, задело Каутского; тем более жаль, что подобного рода личные вопросы проливают мало света на содержание спора. Я высказал мнение, что Маркс и, судя по некоторым его заявлениям, также и Энгельс, признали бы чем-то слишком шаблонным Каутский-Меринг-Плехановское изложение материалистического понимания истории. Однако, я готов уступить Каутскому весь этот личный вопрос. По мне, пусть Маркс и Энгельс были марксистами в духе Каутского,—главный вопрос для меня заключается в том, пригоден ли этот метод для полного об‘яснения истории во всей ее конкретности или он нуждается в некотором исправлении в указанном мною смысле.

Каутский утверждает, что экономические условия жизни общества составляют в истории единственный переменный элемент, тогда как все остальные элементы сами по себе постоянны и испытывают изменения лишь под влиянием развития экономических условий. В этом утверждении Каутского мы во всяком случае имеем ясный и удобный для дискуссии тезис. И против него-то я и выступаю самым решительным образом.

Все элементы имеют свою постоянную и свою непременную сторону. Как я не раз уже подчеркивал, руководство человеческой судьбой на всем протяжении истории принадлежало по преимуществу экономическому элементу, хотя и не во все периоды в одинаковой степени.

Но и в истории мы встречаем некоторые, как сказал бы Каутский. „идеологические“ образования, которых вовсе нельзя вывести из экономических условий. Так, напр., историю философии в ее трех главных отделах: древнего времени (от Фалеса до нео-платоников), средних веков (схоластика) и нового времени (от Декарта до Гегеля)—никоим образом нельзя свести в ее основных чертах к экономическим причинам. Хотя практическое применение философских систем и идей и может быть отчасти об‘яснено этими причинами, все же по существу мы имеем здесь дело с эволюцией идей, как таковых, которую и нетрудно проследить. Если же Каутский на это возразит, что философия могла возникнуть лишь после того, как цивилизация, а, следовательно, экономическое развитие достигло достаточно высокого уровня, чтобы дать возможность хотя бы некоторому числу людей обратиться к умозрительным занятиям, то это—довольно таки невинное возражение: указанное обстоятельство, само собой разумеется, составляет лишь общее отрицательное условие появления философии, но оно не дает нам положительной причины возникновения философии, как таковой, не говоря уже о ее содержании в различные периоды. Если Каутский, дальше, спросит, как же возникли первые зачатки философских идей, то я отвечу: путем наблюдения явлений внешней природы и человеческого духа и путем анализа условий познания и сознания вообще. Мне очень хотелось бы найти у кого-либо из нео-марксистов об‘яснение хотя бы одного из главных отделов истории философии—ну, скажем, философии Платона и Аристотеля, или периода от Канта до Гегеля.

Каутский, в сущности, спрашивает, почему современные греки не выдвинули своего Аристотеля или Перикла и т. п., другими словами—почему современная Греция так резко отличается от античной; и он полагает, что существенное изменение испытали лишь экономические условия; при этом он оставляет без внимания все то, что не укладывается в рамки его теории, как, напр., то, что и народ, подобно отдельной личности, может состариться, что в Греции фактически произошло смешение народов, что кроме чисто экономической эволюции протек целый период исторического развития человечества. Все эти факторы вместе влияли на Грецию, как и на другие страны. Греческий дух совершенно исчерпал себя в литературной, философской и художественной областях еще задолго до того, как произошло существенное изменение в способе производства и обмена. Если это истощение духа приходится поставить в связь с каким-нибудь общественным фактором, то скорее с политическим или религиозным, чем с экономическим. Потеря политической независимости, влияние восточных идей, а впоследствии христианства, без сомнения, значительно ускорили падение Греции. Далее, через Грецию прошло столько различных народов: готы, славяне, норманны, каталонцы, венецианцы и

турки; все они оставили более или менее глубокий след, а некоторые, как, напр., славяне, и вовсе остались в Греции, смешавшись с прежним ее населением. Современный грек в этическом отношении совершенно другое существо, чем античный грек. Наконец, как я уже сказал, Каутский в своем усердии игнорирует все конкретное развитие—духовное, политическое, моральное, равно как и экономическое,—протекшее между древними веками и новым временем.

Крайних марксистов также трудно поймать, как угрей: то они выступают как защитники какого-нибудь невинного общего места, то снова как представители спекулятивной теории, до того рискованной в своей односторонности, что положительно с трудом верится, что они принимают ее в серьез. Значения экономической основы для исторического развития—я еще раз должен подчеркнуть это—не отрицает, в настоящее время ни один человек и, разумеется, уж ни один социалист, сколько-нибудь знакомый с историей; но утверждение, что эта основа служит всецело и исключительно, так сказать, самодвижущей пружиной истории,—это утверждение противоречит всему ходу исторических событий. И стоит только ради краткости передать их теорию несколько другими словами, как наши друзья из крайнего лагеря заявляют, что мы неправильно толкуем их взгляды.

Каутский подымает крик по поводу моего выражения: „отражение в сознании“, а между тем Энгельс сам употребил однажды выражение: „психологическое отражение экономических процессов“, которое кажется мне весьма удачным, несмотря на все возражения Каутского. Я могу лишь сказать, что если материалистическое понимание истории не означает отражения экономических условий в социальном сознании, то оно вообще ничего не может означать, кроме той плоской истины, что для человеческого существования и деятельности необходима материальная основа. Если применить это положение к отдельной личности, то получится, приблизительно, следующее: когда поэту нечего есть, он перестает также сочинять стихи. Но это богатое содержанием положение очень мало поможет нам при об‘яснении поэтических особенностей таланта Шекспира или Гёте. Такую нелепость я не могу приписать товарищам Каутскому, Мерингу и Плеханову и потому остаюсь при своем кратком определении, которое кажется мне соответствующим идеям Каутского, насколько я их знаю.

А теперь мы разберем конкретный случай применения Каутским марксова метода. В своей „Истории социализма“ Каутский утверждает, что весь спор о причастии в гусситских войнах был только покровом, под которым велась классовая борьба того времени. Допустим теперь (безразлично, соответствует ли это в данном отдельном случае историческому факту или нет), что участвовавшие в этой борьбе действительно твердо верили в христианскую догму. Я спрашиваю: что должно в данном случае означать слово „покров“? Что классовая борьба

оказывала влияние на всю картину той эпохи, это само собой понятно; но если фраза о „покрове“ имеет какой-либо смысл, то единственно тот, что вопрос о чаше, или теологическая вера того времени не представляла самостоятельной силы, способной определить поведение ее последователей; короче говоря, если выражение Каутского вообще имеет какой-либо смысл, то только такой: либо вера была серьезным и искренним чувством, либо она была сознательным и бессознательным ханженством, как большею частью в настоящее время; лишь в последнем случае можно с полным правом говорить о „покрове“. Мне вообще кажется, что „экономические условия какого-нибудь периода играют в нео-марксистской школе—да будет мне позволено так называть ее—роль кантовской *вещи в себя.* В тех редких случаях, когда экономические условия играли фактически подчиненную роль, и к об‘яснению данного процесса все же, как deus ex machina, пристегивается экономическое развитие в качестве единственной причины всего процесса. Существует схоластическое правило: „Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“*), которое вполне подходит к данному случаю, только в несколько измененном виде: „Causae (причины) non sunt multiplicandae praeter necessitatem“, ибо даже там, где вполне достаточно психологического об‘яснения известного историческ. процесса, нео-марксисты все же хотят принять скрытое влияние экономических фактов.

Каутский обвиняет меня в смешении понятий исторического развития и „всей человеческой жизни в целом“. Разумеется, я самым решительным образом утверждаю, что от законченной теории исторического развития мы вправе требовать, чтобы она давала надлежащее об‘яснение всей человеческой жизни или, по крайней мере, руководящую нить к такому об‘яснению, ибо человеческая жизнь в целом развивается в истории.

Далее, Каутский обвиняет меня в „чудовищном“ смешении „материальных интересов“ с „материальными условиями“, но ведь во всех изложениях материалистического понимания истории эти понятия почти совпадают. Что, вообще, представляет собою классовая борьба, вполне справедливо играющая такую важную роль в материалистическом об‘яснении истории, как не борьбу различных классов за свои противоположные „материальные интересы“? Кроме того, ведь и сам Каутский в своей „Истории социализма“ об‘ясняет быстрое распространение христианства в низших слоях тогдашнего общества тем, что более зажиточные члены христианской общины раздавали милостыню бедным (что ошибочно было названо христианским коммунизмом). Материальные условия, определявшие историю, можно бесспорно в большинстве случаев свести к материальным интересам отдельных классов и народов; поэтому я считаю возмущение Каутского по поводу моей „чудовищности“ черезчур сильным.

*) „Число основных сущностей не следует увеличивать без необходимости“.

Каутский обвиняет меня, далее, в том, будто я отказываю материалистам во „всех более тонких движениях души“; где он вычитал это в моей статье, я не знаю, и я не могу считать особенно корректным со стороны Каутского, что он приписывает мне такую нелепость, о которой я нигде не писал и даже самым отдаленным образом не думал. Такие выпады, на мой взгляд, не соответствуют достоинству научной критики. Я просто выразил сомнение, может ли разбираемый метод в достаточной мере об'яснить приводимые Каутским явления.

По отношению к этим важным, еще не разрешенным проблемам не следует отделываться такими словечками, как „избитые фразы“. Если г. г. нео-марксисты не могут в этом разобраться, то я все же имею право упрекнуть их в недостаточном внимании к этим „избитым“ *фактам* (а не *фразам*). Что средние века не могли жить католицизмом, а античный мир—политикой, это так же верно, как то, что поэт не может жить одной поэзией и нуждается еще для своего пропитания в признательности со стороны публики; но это, думается мне, не об'ясняет в достатотной мере его собственного поэтического дарования, хотя я охотно допускаю, что путем точного исследования можно, пожалуй, открыть влияние картофеля и т. п. на духовное творчество. Утверждение же, что тот способ, каким люди добывали себе средства к жизни, об'ясняет нам, почему в одном случае главную роль играла политика, а в другом—католицизм, представляет простое petitio principii: ведь, спор в том и заключается, достаточно ли одноро этого момента для об'яснения той роли, какую играли политика и католицизм в соответствующие эпохи.

Односторонней, на мой взгляд, теории крайних марксистов я противопоставляю свою „исправленную“ теорию, которая заключается в следующем: Каутский утверждает, что „экономические условия“ составляют единственный переменный элемент в человеческой эволюции, а все остальные элементы постоянны и меняются лишь вследствие изменения этих условий. Я же, напротив, утверждаю, что в совокупности человеческого развития (а человеческая жизнь всегда находится в процессе развития) проявляются два главных фактора: во-первых, психологический фактор, который определяется своим первоначальным направлением и всякого рода влияниями извне—между прочим, внутренней рефлексией, внешними наблюдениями и впечатлениями от внешнего мира; однако, хотя сам по себе этот фактор развивается самостоятельно, но собственное его развитие парализуется главным образом внешними влияниями, и от этого гнета внешних условий он оправляется лишь постепенно даже в том случае, когда на него действуют и противоположные влияния. Во-вторых, как важнейшее из этих внешних влияний на всем протяжении истории—образ жизни, или экономический фактор; в этом отношении решающую роль играли

материальные интересы классов, а иногда и целых народов, но далеко не всегда в одинаковой степени. Взаимодействие обоих этих факторов и образует историческое развитие; и хотя с известной точки зрения эти факторы можно рассматривать отдельно один от другого, так как каждый из них имеет до известной степени самостоятельное развитие, но в общей картине истории они находятся во взаимодействии и друг друга дополняют. И самостоятельность, и взаимодействие этих факторов занимают свое место в общей картине истории. Каутский ставит мне в упрек, что изменения „психологического фактора" в первый период христианства я рассматриваю как следствие того же „психологического фактора", „который, таким образом, подобно Мюнхгаузену, вытаскивает себя за собственнные волосы из болота". Это выходит, конечно, весьма комично, но тем не менее я утверждаю, что психологический элемент в такой же мере обладает, до известной степени, самостоятельным развитием, как и экономические условия. Оба эти элемента образуют, как я сказал, *до известной степени* свои собственные ряды причин и следствий, но в каждом конкретном историческом случае они находятся также во взаимодействии. Впрочем, первоначальное христианство не было, как утверждает Каутский, новым течением: его следы мы находим на самых ранних ступенях развития иудейского и греческого духа.

Венцом критики Каутского служат его заключительные замечания по поводу двух цитат из моего сочинения: „Socialism its growth and outcome". Каутский думает, что он сделал тут уничтожающее для меня открытие; я могу лишь сказать, что я в состоянии обосновать оба цитируемых им положения. В общем, я охотно соглашаюсь с Каутским и его товарищами, что перемена в общественном настроении Англии в конце XVI и в начале XVII вв. об'ясняется совершившейся тогда экономической революцией. Но протестантское движение в Англии обладает известными особенностями, которые нигде на континенте не обнаружились в такой степени, хотя и там ведь совершился, — правда, несколько позже, — подобный же переворот в экономических условиях. Где, например, можно найти на континенте английское празднование воскресенья, догму греховности танцев, театра или даже чтения романов? Все эти своеобразные черты нельзя об'яснить одним общим шаблоном; поэтому я высказал скромное предположение, что пуританство, выработавшее такие черты, об'ясняется своеобразным смешением племен, образовавших британский народ.

Каутский полагает, что он открыл у меня еще одно смешение понятий. Он говорит: „Приравнивая материальный интерес отдельных личностей матеріальной основе общества, он (Бакс) превращает первый, т.-е. своекорыстие, в фактор, действующий на человека извне и противостоящий внутреннему, психологическому фактору". На это я

должен возразить, что я отнюдь не говорил о материальных интересах отдельной личности, а лишь о материальных интересах классов. Непосредственное влияние экономических условий на человека я называю *внешним фактором*, а *внутренним фактором* я называю влияние идеи, непосредственно возникающей из психологической рефлексии; эта внутренняя рефлексия не нуждается вовсе в толчке со стороны экономических условий,—напротив, соответствующая идея может возникнуть путем анализа общих условий сознания или путем наблюдения явлений природы. Если Каутский ставит мне в упрек, что употребление выражений „внешний" и „внутренний" носит у меня совершенно произвольный характер, то я могу лишь сослаться на то, что очень многим выражениям, употребляемым в научных исследованиях, присуща некоторая произвольность. И я все же твердо стою на том, что употребленные мною выражения достаточно ясны, если не заниматься буквоедством.

В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что я высоко ценю материалистическое понимание истории, как метод, дающий импульс к исследованию, и что в сочинениях самого Каутского я нашел много ценного для себя. И если я подвергаю эту теорию критике, то это отнюдь еще не значит, что я „пренебрежительно" отношусь к самой теории или к ее представителям. Если же мои возражения вызвали такое представление, то, конечно, это не входило в мои намерения.

P. S. Каутский, между прочим, делает ссылку на свою статью „Возникновение христианства", написанную в 1885 г. Бесспорно, эта статья оригинальна, интересна и, в пределах поставленной задачи, стоит на совершенно правильной точке зрения. Но развитые в ней положения нисколько не говорят против меня. Там указываются некоторые общие экономические и политические условия той эпохи, создавшие благоприятную почву для распространения идей, которые возникли гораздо раньше на востоке и в греко-римском мире, развившись из других, еще ранее существовавших, идей. В том-то и дело, что, с одной стороны, невозможно мировые идеи вывести, как следствие, из экономических фактов, а с другой—невозможно свести экономические и политические образования к чисто идеологическим причинам. В первом отношении грешат, на мой взгляд, господа неомарксисты, во втором—старые идеологические историки. Что касается последних, то марксистам не стоит труда расправиться с их „избитыми фразами". Но при этом они не замечают, что и сами пользуются, подобно своим противникам, тою же категорией „причины и следствия", которая в конечном счете совершенно непригодна. Истинной категорией исторического исследования является „взаимодействие". Политические и экономические образования сами по себе не составляют самостоятельного целого, которое могло бы выступить в качестве

причины, а являются лишь несамостоятельными частями единого целого. Сами по себе они не существуют. Экономические образования творят историю лишь в союзе с человеческим умом и волей, а это значит, что нео-марксистское понимание истории, поскольку оно стремится свести всю человеческую историю на экономические факты, как на единственную причину всех исторических изменений, стоит на ложном пути.

---

# КАРЛ КАУТСКИЙ.

## Что хочет и может дать материалистическое понимание истории.

### 1) Критика теории.

Чтобы продолжение моей дискуссии с Баксом не оказалось бесплодным, необходимо более подробно остановиться на некоторых существенных вопросах. Тем короче хочу я ответить на второстепенные пункты.

Бакс заявляет, что я приписал ему то, чего он не говорил. Он, вообще, обвиняет меня в „выпадах, не соответствующих достоинству научной критики". Заняться здесь опровержением этих обвинений было бы длинно и скучно. Против них говорит уже тот факт, что я цитировал *подробно* и *дословно* все места, в искажении которых меня обвиняет Бакс, так что мои читатели были в состоянии сами контролировать мою критику.

Если кто не в праве жаловаться на неправильную передачу своих слов, так это, именно, Бакс, который в изложении, как своих собственных, так и чужих воззрений, обнаруживает поразительную нелюбовь к точности. И это тем более неприятно, что он не имеет обыкновения дословно цитировать критикуемые им положения, предпочитая, как он сам выражается, передавать их „несколько другими словами", „ради краткости". Потребность в краткости, конечно, весьма похвальна, но, я думаю, потребность в точности должна в дискуссии брать перевес.

Достаточно одного примера. Бакс в своем возражении пишет:

„Теперь мы разберем конкретный случай применения Каутским марксова метода. В своей „Истории социализма" Каутский утверждает, что весь спор о причастии в гусситских войнах был только *покровом*, под которым велась классовая борьба того времени... Я спрашиваю, что должно в таком случае означать *слово „покров?"*... Если *фраза о „покрове"* имеет какой-либо смысл, то единственно тот, что вопрос о чаше, или теологическая вера того времени не представляла самостоятельной силы, способной определить поведение ее последователей; короче говоря, *если выражение Каутского, вообще, имеет какой-либо смысл*, то только такой: либо вера была серьезным и искренним чувством, либо она была сознательным или бессознательным ханжеством, как большею частью в настоящее время; лишь в последнем случае *можно говорить о „покрове"*.

Бакс, таким образом, ломает себе голову над вопросом, что я, собственно, разумел под словом „покров“. Выражение это не дает ему покоя. Но вот что я в действительности писал в „Истории социализма“:

„В католической церкви вошло в обыкновение давать мирянам для причастия не хлеб и вино, а только хлеб. Пользование *чашей* было предоставлено только духовным. И вот учение, которое стремилось к уничтожению привилегий духовенства, естественно, высказалось также и против внешнего знака его привилегированного положения. *Чаша*, чаша для мирян, сделалась символом гусситов. Популярные историки старого направления представляют дело в таком виде, будто вся гигантская борьба в эпоху гусситских войн вращалась в сущности вокруг вопроса, можно ли причащаться под обоими видами или нет, и „просвещенные головы“ всякий раз с чувством удовлетворения указывают на то, как ограничены были люди в то время и как здраво смотрят на вещи вольнодумцы нашего времени.

„Но это изображение гусситских движений столь же умно и обоснованно, как если бы, например, историк одного из грядущих веков, изображая революционную борьбу нашего времени, сказал: люди в XIX веке были еще до того невежественны, что они придавали известным цветам суеверное значение, так что самая кровопролитная борьба велась из-за того, должен ли быть цвет Франции белым, красно-бело-голубым или красным, должен ли быть цвет Венгрии—черно-желтым или красно-бело-зеленым, а в Германии, например, долгое время присуждали к тюремному заключению всякого, кто украшал себя черно-красно-золотым бантиком и т. д.

„Чаша была для гусситов тем же, чем в наше время являются различные флаги для различных народов и партий: их *знаменем*, вокруг которого они собирались и которое они защищали до последних сил, но отнюдь не *целью их борьбы*“.

Не трудно убедиться, что я *вовсе не употребил* слова „покров“, и что, кроме того, я выразил свою мысль достаточно отчетливо и ясно, чтобы не возбуждать никаких сомнений относительно того, как я понимаю вопрос о чаше. И решительно все, что Бакс возражает мне по этому поводу, основано на галлюцинации. Я констатирую равнодушное отношение Бакса к точности изложения лишь потому, что оно проявляется не только во второстепенных пунктах, но и в главном вопросе—о самом предмете нашей дискуссии.

Это равнодушное отношение, как я уже раньше заметил, иногда принимает „прямо-таки чудовищный“ характер.

В своем возражении на первую статью Бакса я указал на то, что он совершает прямо-таки чудовищное смешение *материальных интересов* с *материальными условиями*. Что же отвечает на это Бакс? „Во всех изложениях материалистического понимания истории эти понятия почти (!) совпадают... Материальные условия, определявшие историю,

можно бесспорно в большинстве случаев *свести* к материальным интересам отдельных классов и народов; поэтому я считаю возмущение Каутского по поводу моей „чудовищности“ „черезчур сильным“.

Недостаточно того, что Бакс смешивает материальные интересы с материальными условиями,—он еще твердо стоит на своем, когда ему указывают на нелепость такого смешения!

Или Бакс действительно не знает, что следует понимать под материальными условиями данного общества? Материальные условия, это—условия производства, понимая это слово в самом широком смысле. Как же можно утверждать, что с точки зрения материалистического понимания истории это почти то же самое, что материальные интересы отдельных классов и народов? Различие между обоими понятиями можно видеть из следующего примера: по-моему мнению, возможно из материальных *условий* эпохи римских императоров об'яснить христианское отречение от земной жизни и стремление к смерти. Но было бы прямо нелепо искать за этим стремлением к смерти какой-либо материальный *интерес*. Бакс находит, что материальные условия „в большинстве случаев“ можно свести к материальным интересам отдельных классов. Он хочет, следовательно, об'яснить способ производства классовыми интересами, а не наоборот! По Баксу выходит, что не путем изучения капиталистического способа производства можно понять классовые интересы капиталистов и пролетариев, а как раз наоборот. Во всяком случае, это составляет ценное приобретение для метода политической экономии.

Такое отсутствие строгого определения понятий дает себя в настоящей дискуссии тем сильнее чувствовать, что Бакс упорно оставляет нас в неизвестности относительно того, против чего собственно направлена его критика.

Как в своей первой статье, так и в своем возражении Бакс утверждает, что существует различие между исторической теорией Маркса и Энгельса, с одно стороны, и теорией их учеников—с другой. Во второй раз он, правда, выражается менее решительно, чем в своей первой статье, где он заявлял в примечании: „Для знатоков учения К. Маркса я считаю излишним подчеркивать, что сам Маркс в своей формулировке материалистического понимания истории был *весьма далек* от этой крайней точки зрения. „Я сам не марксист“, писал он однажды, и эти слова он, *без сомнения*, повторил бы, если бы дожил до новейших произведений „марксистов“ Плеханова, Меринга или Каутского“.

Теперь же Бакс говорит только: „Я высказал мнение, что Маркс и, судя по некоторым его заявлениям, также и Энгельс признали бы чем-то слишком шаблонным Каутский-Меринг-Плехановское изложение материалистического понимания истории. *Однако, я готов уступить Каутскому весь этот личный вопрос*“. Это конечно, очень благородно со стороны Бакса, но он уступает мне тут нечто такое, что принадлежит

уже не ему, а публике. В основе всей его первой статьи лежит признание противоположности между Марксом и его учениками. В ответ на мое возражение он снова повторяет это утверждение, которое содержится уже в самом заглавии второй его статьи и до самого конца ее проходит красной нитью; но когда дело доходит до доказательств, он великодушно дарит *мне вопрос*, а *себе—ответ*. Перед этим, однако, он делает еще одно неясное указание на то, что Энгельс-де, „судя по некоторым его заявлениям", „признал бы чем-то слишком шаблонным Каутский-Меринг-Плехановское изложение материалистического понимания истории". К сожалению, Бакс решительно ничего не сообщает нам о том, были ли эти заявления сделаны устно или печатно, публично или частным образом, к чему, именно, они относились, а главное—что они гласили, и до тех пор, пока он об этом умалчивает, он должен позволить мне держаться того мнения, что эти „некоторые заявления" имеют также много общего с осуждением моего исторического метода, как „покров" со „знаменем", или „интерес"—с „условием", тем более, что я имею полную возможность привести весьма определенные заявления Энгельса, которые говорят прямо противоположное тому, что утверждает Бакс.

Само собой разумеется, я этим не хочу сказать, что Энгельс подписался бы под каждым словом, высказанным мною или каким-либо марксистом. Каждый из нас обладает своей собственной индивидуальностью и самостоятельно, на свой собственный манер, исследует и излагает, и ни один из нас не—Маркс и не—Энгельс.

Но всех нас об'единяет *общая точка зрения*, на которой стояли также Маркс и Энгельс.

Если Бакс хотел доказать, что наше *применение* Маркс-Энгельсовских принципов неправильно, то он должен был рассматривать каждого из нас как особую индивидуальность и по отношению к каждому в отдельности привести соответствующие доказательства из его собственных сочинений.

Но если он хотел, как это и было в действительности, подвергнуть критике нашу общую точку зрения, тогда совершенно произвольно было с его стороны устанавливать между нами и нашими учителями такую разницу, которой мы сами не признаем.

Но к чему ломать себе над этим голову,—думает Бакс,—ведь это совершенно неважный личный вопрос: „по мне, пусть Маркс и Энгельс были марксистами в смысле Каутского".

В данной связи этот вопрос не кажется мне таким уже чисто личным. Прежде, чем спорить о какой-либо теории, необходимо точно определить и отграничить предмет спора. Но и тут Бакс обнаруживает свойственный ему недостаток точности. То он борется против „нео-марксистского", „крайнего" течения, то против материалистического понимания истории вообще, все время избегая, однако, точнее

обозначить критикуемые им воззрения. Маркс, Энгельс, каждый из „нео-марксистов“ много раз высказывались о материалистическом понимании истории, но Бакс вовсе не цитирует их и не берет ни одного из выставленных ими положений за исходный пункт своей критики.

Этот недостаток точности как в определении предмета спора, так и в разграничении понятий и в способе их выражения, без сомнения, служит серьезным препятствием для всякой дискуссии; но он вдвойне дает себя чувствовать в дискуссии о марксизме.

Одним из существенных преимуществ, позволивших Марксу и Энгельсу сделать их великие научные открытия, была их замечательная способность строго разграничить понятия. Кто хочет быть „марксистом“, т.-е. работать в духе обоих названных учителей, тот прежде всего должен стремиться к их точности и ясности.

Но в действительном мире вещи не разграничены так резко, как в абстракции; тут одна вещь переходит в другую,—и кто при объяснении мира явлений остается на поверхности, тому марксовы воззрения легко могут показаться односторонними или даже произвольными, не соответствующими действительности.

Почти все критики марксизма начинают с того, что сваливают в одну кучу те понятия, которые он разграничил; они, следовательно, делают в научном отношении шаг назад. Одни сваливают в одну кучу потребительную и меновую стоимость, ценность и цену, прибавочную стоимость и прибыль, и т. д.; они находят, что Родбертус сказал „несколькими другими словами“ „почти“ то же самое, что Маркс; они говорят о Маркс-Родбертусовской стоимости и опровергают или „исправляют“ ее. Другие сваливают в одну кучу животный и общественный организм, законы общественного развития и законы развития индивидуума и вида; они не проводят точного разграничения между бытием людей и их сознанием, между содержанием истории и ее поверхностными формами, между материальными интересами и материальными условиями—и, таким образом, легко приходят к „преодолению“ марксовых односторонних теорий и начинают с состраданием, сверху вниз, смотреть на марксистов, которые замкнулись в свой „узкий шаблон“.

И так как почти вся критика марксизма основана на подобном смешении понятий, то дискуссия по затронутым ею вопросам в большинстве случаев оказывается бесплодной, а порою даже неприятной. Ибо для защиты марксовых теорий нам, марксистам, в большинстве случаев приходится только устанавливать, что сказали в действительности Маркс или кто-нибудь из марксистов, чтобы тем самым показать, что это—далеко не то, что в их уста вкладывает критик, и что, следовательно, критика его вовсе не затрагивает марксизма. Далеко невеселое и не привлекательное занятие, которое, однако, к сожалению, всякий раз снова навязывается нам критиками марксизма.

Таким образом, наша дискуссия приводит к тому, из чего в сущности следовало исходить,—к выяснению вопроса, что собственно представляет собою так много дискуссировавшийся и осмеянный, и так мало понятый исторический материализм. Тема эта не новая. Но она имеет не только академическое, а, как я дальше покажу, также и практическое значение,—и так как замечания Бакса заставляют меня осветить вопрос с новых сторон, то я надеюсь, что мои возражения не будут лишены общего интереса.

## 2) Историческая теория,

Бакс говорит: „Каутский обвиняет меня в смешении понятий исторического развития и „всей человеческой жизни в целом“. Разумеется, я *самым решительным образом* утверждаю, что от законченной теории исторического развития мы вправе требовать, чтобы она давала надлежащее об‘яснение всей человеческой жизни или, по крайней мере, руководящую нить к такому об‘яснению, ибо человеческая жизнь в целом развивается в истории“.

Как ни решительно звучат эти слова Бакса, я все же позволю себе несколько усумниться в правильности того положения, что человеческая жизнь в целом развивается в истории. Функции человеческого организма—пищеварение, оплодотворение, деторождение—ведь тоже некоторым образом относятся к „человеческой жизни в целом“; но никто, конечно, не станет утверждать, что оне „развивались в истории“. Но, даже оставляя это в стороне, я не думаю, чтобы от какой-либо теории можно было требовать больше того, что она сама хочет об‘яснить. Если дарвиновская теория дает об‘яснение развития растительных и животных видов, то ее нельзя признать неудовлетворительной на том только основании, что она не об‘ясняет также происхождение органической жизни вообще.

Человеческое общество тоже можно назвать организмом, но, конечно, не растительным или животным. Оно образует своеобразный организм, имеющий свои собственные законы, свою собственную жизнь. Человеческая жизнь, поскольку она является животной жизнью, жизнью индивидуального организма, подчиняется не тем законам, каким она подчиняется в качестве жизни общественной. И только законы этой последней составляют предмет исторической науки.

Об‘ектом материалистического об‘яснения истории является не обще-человеческое, не то общее, что присуще людям во все времена, а то исторически отличительное, что разделяет людей различных эпох. Но, с другой стороны, ее об‘ектом являются лишь те черты, которые об‘единяют людей данной эпохи, данной нации, данного класса, а не те, которые выделяют отдельную личность из всей совокупности других личностей, среди которых она живет и действует.

Этого нисколько не опровергает тот факт, что до сих пор историки предпочитали чрезвычайное и индивидуальное—обычному и общественному: материалистическое понимание истории не заимствует своего предмета у историков прошлого.

Материалистическое понимание истории вовсе и не претендует на то, чтобы об'яснить и без остатка свести к экономическим условиям напр., тот факт, что Цезарь не имел детей и усыновил Октавиана, но Антоний влюбился в Клеопатру, а Лепид был импотентом. Но оно в состоянии об'яснить падение Римской республики и расцвет цезаризма.

Отсюда уже ясно, что Бакс имеет совершенно ошибочное представление о материалистическом понимании истории, когда он полагает, будто оно хочет „об'яснить поэтические особенности таланта Шекспира или Гёте". Этого наша теория не хочет и не может. Быть может это—недостаток; но может ли Бакс указать какую-либо другую историческую теорию, которая в состоянии была бы это сделать? Я же полагаю, что если материалистическое понимание истории может об'яснить нам хотя-бы только идейное содержание, общее у Шекспира или Гёте с их современниками, то и этим далеко не следует пренебрегать.

Из появившейся до сих пор марксистской литературы Бакс мог бы уже убедиться, что исторический материализм вовсе не держится того взгляда, будто гения можно без остатка разложить на экономические факты. Позволю себе в доказательство сослаться на свои собственные сочинения.

В своей работе о Томасе Море я различаю три фактора, влиявшие на его деятельность. Первый и самый важный фактор—это общие условия общественной жизни его времени и его страны; их можно свести к экономическим условиям. Вторым фактором является та особая общественная среда, в которой развился Мор; сюда относятся не только особые экономические условия, в которых он жил, но и люди, с которыми он сталкивался (их особые идеи опять-таки можно свести к разнообразным факторам), традиции, которые он застал, литература, которая была ему доступна, и т. д. Но и всех этих элементов еще недостаточно для полного уразумения творчества Мора, напр., его „Утопии": необходимо, кроме того, обратить еще внимание на его личные особенности.

Из этого примера нетрудно видеть, что исторические исследования марксистов не отличаются той грубой шаблонностью, которую им приписывают некоторые „критики".

В качестве другого примера я могу привести свои работы о „Капитале" и „Нищете философии" Маркса, а также о Фридрихе Энгельсе. Для изучения творчества Маркса и Энгельса я, наряду с общими общественными, в конечном счете—экономическими условиями

их времени, рассматриваю еще и ту своеобразную среду, в которой они жили. Если Мор занимал исключительное место среди англичан, соединяя в своем лице гуманизм с практической деятельностью юриста, благодаря чему он мог понять промышленную жизнь лондонской буржуазии, то Маркс и Энгельс тоже занимали исключительное место, соединяя в своем лице революционные элементы тогдашней Германии с революционными элементами Франции и Англии. Но и этого мало: чтобы вполне понять их историческую деятельность, необходимо еще принять во внимание их личные дарования.

Однако, когда мы рассматриваем социализм как общественное явление, мы с тем большим правом можем игнорировать при его об'яснении индивидуальные влияния, чем в большей степени мы рассматриваем его как массовое явление. Для понимания общего содержания всех социалистических движений нашего века вполне достаточно знать общественные отношения капиталистического способа производства.

Но и для правильного понимания отдельной личности в истории нельзя обойтись без материалистического метода. Индивидуальные особенности данной личности мы можем понять лишь после того, как мы узнали, что она имела общего с своей эпохой, и каковы были движущие силы этой эпохи. Только узнав, что личность получила от своей эпохи, мы можем определить, что она ей дала.

Но разве с материалистической точки зрения личность может что-нибудь дать обществу? Разве она не играет по отношению к обществу лишь пассивно-воспринимающую роль? Разве материалистическое понимание истории не исключает всякое взаимодействие между личностью и обществом?

Здесь мы подошли к вопросу о том, какую роль играет в истории отдельный человек, или, если угодно—человеческий дух, „психологический фактор", идея. Если для философа-идеалиста идея обладает самостоятельным существованием, то для нас, материалистов, она только функция человеческого мозга,—и вопрос, может ли—и как именно—идея влиять на общество, совпадает для нас с вопросом, возможно ли это—и как именно—для отдельной личности.

Тут Бакс будет поражен, прочитав, что я вполне согласен с тем положением, которое он против меня выставляет: „Экономические образования творят историю лишь в союзе с человеческим умом и волей", но никоим образом не могу согласиться с выводимым им отсюда заключением: „а это значит, что нео-марксистское понимание истории... стоит на ложном пути". Здесь Бакс ищет, *нео*-ли марксистское понимание истории, или *старо*-марксистское, на том пути, на которое оно даже и не думало вступать.

Напротив, я нахожу, что Бакс изменяет своему собственному принципу, когда он в другом месте утверждает, что человеческий ум и воля или, как он выражается, „психологический фактор" „в такой

же мере обладает, до известной степени, самостоятельным развитием, как и экономические условия. Оба эти элемента образуют, как я сказал, *до известной степени* свои собственные ряды причин и следствий, но в каждом конкретном историческом случае они находятся также во взаимодействии". Не так уже, следовательно, комично звучит мой упрек Баксу по поводу того, что изменения психологического фактора в первый период христианства он рассматривает как следствие того же психологического фактора, который, таким образом, подобно Мюнхгаузену, вытаскивает себя за собственные волосы из болота.

Как бы то ни было, факт остается фактом, что в действительности никто не в состоянии вытащить себя из болота за собственные волосы, и что, следовательно, психологический фактор, приводящий сам себя в движение, хотя бы только „до известной степени", является бессмыслицей. Я охотно соглашаюсь с Баксом, что это в такой же мере относится и к экономическим условиям, и что если бы неомарксисты утверждали, что экономические условия развиваются „до известной степени самостоятельно, без вмешательства человеческого ума и воли, то это было-бы такой же нелепостью, как соответствующее утверждение относительно психологического фактора. И в том, и в другом случае *все* развитие, а не одна только часть его, основывается на взаимодействии, выражаясь по Баксу, внешних и внутренних факторов. Нужно иметь прямо-таки мистическое представление об экономическом развитии, чтобы допустить, что оно может подвинуться вперед хотя на один шаг без деятельности человеческого духа. Но нельзя смешивать экономические условия с экономическим развитием; это— совершенно различные вещи.

Экономическое развитие в конечном счете есть ничто иное, как *развитие техники*, т.-е. последовательный ряд *открытий и изобретений*. Но что представляют собою эти последние, как не „взаимодействие" между человеческим духом и экономическими условиями?

Исторический материализм, далекий от того, чтобы отрицать активную роль человеческого духа в обществе, дает только отличное от прежних теорий об'яснение деятельности этой силы *).

Человеческий дух приводит в движение общество, но не как *господин* экономических условий, а как *слуга*. Они ставят перед ним те задачи, над разрешением которых он работает; они же дают ему и средства для их разрешения. И поэтому они также определяют резуль-

*) Маркс указывает на то, что до сих пор еще нет критической истории технологии, и затем говорит: „Дарвин пробудил интерес к истории естественной технологии, т.-е. к истории развития органов растений и животных, играющих роль орудий производства для поддержания их существования. Неужели же история развития производительных органов общественного человека, этих материальных базисов каждой данной общественной организации, не заслуживает такого же внимания? Притом же написать такую историю было бы легче, так как, по выражению Вико, история человека отличается от естественной истории тем, что она творится нами, между тем как другая создана не нами. Технология разоблачает активное отношение человека к природе, тот непосредственный

таты, которых он может и должен достигнуть при данных исторических условиях. Ближайший результат, достигаемый человеческим духом путем разрешения одной из стоящих перед ним задач, может оказаться как-раз таким, какой он предвидел и хотел. Но разрешение каждой задачи неминуемо порождает следствия, которых он не предвидел и которые нередко прямо противоречат его намерениям. Экономическое развитие является продуктом взаимодействия между экономическими условиями и человеческим духом, но отнюдь не продуктом свободной и планомерной деятельности человека, распоряжающегося по своему произволу экономическими условиями.

Разрешение одной какой-либо технической задачи ставит перед нами новые задачи. Преодолев одно природное препятствие, мы оказываемся перед новыми препятствиями, которые нам также необходимо преодолеть удовлетворение одной потребности порождает новую потребность. Но каждый технический прогресс доставляет также новые средства для разрешения новых задач.

Дело, однако, не только в этом. Ни одно техническое изменение, ни одно изменение в способе производства или в образе жизни не может остаться без влияния на отношения людей между собою. Известная сумма технических усовершенствований всегда требует новых условий работы и жизни, которые непримиримы с господствующей организацией общества, с господствующими принципами права, морали, религии и т. д.

Технический прогресс создает новые задачи не только для изобретателей, но и для организаторов и руководителей общества. Разрешение этих задач постоянно тормозится силой традиции, часто также недостатком знаний и понимания, а в обществах, основанных на классовых противоречиях,—еще интересами тех классов, которые извлекают пользу из существующего порядка вещей; но в подобных случаях всегда, в конце-концов, берут верх классы, заинтересованные в новом порядке вещей и опирающиеся на экономическую необходимость.

Общества, не обладающие достаточной силой и достаточными знаниями для проведения в жизнь ставшего необходимым приспособления общественной организации к требованиям новых экономических условий,—погибают.

На заре человеческой истории, во всяком случае, господствовало дарвиновское бессознательное развитие, выражавшееся в переживании лучше приспособленных и в гибели неподдающихся приспособлению

процесс производства, которым он поддерживает свое существование, а с тем вместе также и способ формирования его общественных отношений и вытекающих из них умственных представлений. Даже всякая история религий, не обращающая достаточно внимания на этот материальный базис, лишена критического отношения. Конечно, гораздо легче отыскать земное начало посредством анализа религиозных туманных представлений, чем следовать обратному пути, т.-е. из действительных жизненных отношений, существующих в том или другом случае, развить соответствующие им небесные формы. *Последний метод есть единственный материалистический, а потому—единственный научный метод*". Маркс, «Капитал», т. I, стр. 323, примеч. 94 (Русск. изд. 1898 г.)

организаций. Но чем большую власть с дальнейшим ходом истории люди получают над природой, тем более сознательно реагируют они на экономическое развитие; чем быстрее и нагляднее совершается это развитие, чем легче люди сознают задачи, которые оно перед ними ставит, и чем усовершенствованнее методы и средства сознательного разрешения новых задач,—тем в большей мере социальное преобразование перестает являться простым продуктом инстинктов, тем в большей мере связано оно с идеями, с целями, которые люди ставят себе, и, наконец, с систематическим исследованием.

Соотношение между экономическими условиями, которые ставят перед человечеством определенные задачи и дают средства для их разрешения, и созданной, таким образом, духовной деятельностью людей, становится все более сложным по мере расширения и усложнения обеих областей, в которых проявляется эта духовная деятельность—природы, завоеванной человеком, и общества,—по мере роста числа промежуточных членов между причиной и следствием в пределах самой этой деятельности. Из первоначально чисто-эмпирических попыток воспользоваться примитивным способом той или иной силы природы, в конце-концов развивается естествознание; начинается разделение труда между теоретиками и практиками, между исследователями и теми, которые применяют их идеи к практике,—и это разделение на различные группы и категории идет все дальше и глубже.

То же самое происходит и в общественной сфере. От политика отделяется социальный философ, а политика и социальная философия, в свою очередь распадаются каждая на целый ряд подгрупп. Наряду с законодателем-практиком выступает юрист-теоретик, наряду с полицией нравов и проповедниками морали—философы-этики и т. д.

Каждая из этих форм деятельности отделяется от остальных, начинает думать, что обладает собственной внутренней жизнью и забывает, что ее задачи, средства для их разрешения и самое это разрешение предписываются ей в конечном счете экономическими условиями.

Бакс держится другого взгляда:

„Историю философии,—говорит он,—никоим образом нельзя свести в ее основных чертах к экономическим причинам. Хотя практическое применение философских систем и идей и может быть отчасти об'яснено этими причинами, все же по существу мы имеем здесь дело с эволюцией идей, как таковых, которую и нетрудно проследить. Если же Каутский на это возразит, что философия могла возникнуть лишь после того, как цивилизация, а, следовательно, экономическое развитие достигло достаточно высокого уровня, чтобы дать возможность хотя бы некоторому числу людей обратиться к умозрительным занятиям, то это—довольно-таки невинное возражение: указанное обстоятельство, само собой разумеется, составляет лишь общее отрицательное условие появления философии, но не дает нам положительной причины возник-

новения философии, как таковой, не говоря уже о ее содержании в различные периоды. Если Каутский дальше спросит: как же возникли первые зачатки философских идей, то я отвечу: путем наблюдения явлений внешней природы и человеческого духа и путем анализа условий познания и сознания вообще".

Мое возражение далеко не так „невинно", как это представляет себе Бакс. Я, ведь, отнюдь не утверждаю, что отношение философии к экономическим условиям данной эпохи сводится просто к тому досугу, который эти условия дают философам для наблюдения природы и духа и для содействия „эволюции идей". Нет, философ получает от общества нечто гораздо большее.

Прежде всего странно, что в качестве об'ектов философии Бакс называет только внешнюю природу и человеческий дух, совершенно забывая об обществе. Я думаю, что философия до сих пор занималась отчасти исследованием природы, к которой я причисляю и человеческий дух, а отчасти—исследованием общества. Что философ может получить свои идеи об обществе только от самого общества и что данное строение всякого общества об'ясняется его экономическими условиями,—это, мне кажется, не нуждается в дальнейших доказательствах; но уже отсюда следует, что весьма существенную часть философии заранее можно свести к экономическим причинам, не прибегая для об'яснения ее к простой „эволюции" идей, к их формально-логическому развитию.

Но как обстоит дело с естествознанием? Бакс сводит его к простому „наблюдению явлений внешней природы". Но таким путем далеко не уйдешь. Наблюдать может и дикарь, и, вообще говоря, по отношению к явлениям внешней природы у него гораздо более острая наблюдательность, чем у нас. Но это еще не значит, что он—философ. Лишь поскольку *наблюдение природы* становится *завоеванием природы*, оно поднимается до *исследования природы*. Отличие философа от дикаря заключается не в самом факте *наблюдения* природы, а в том, что для первого природа *понятна*, тогда как для второго она—*загадка*. Простое наблюдение показывает нам только, *как* совершаются явления в природе; философское же исследование природы начинается лишь с вопроса: *почему*? Человек должен был сначала некоторым образом порвать пуповину, связывавшую его с природой, должен был до известной степени овладеть природой подняться над нею, прежде чем он мог подумать о том, чтобы философски исследовать ее. И лишь по мере того, как растет власть человека над природой, лишь по мере технического прогресса расширяется также область научного исследования природы. Господа философы недалеко ушли бы в естествезнании со своей „эволюцией идей" без помощи телескопа и микроскопа, без инструментов для взвешивания и измерения, без лабораторий и обсерваторий, и т. д.; все эти технические приборы не только доставляют средства для разрешения проблем естествознания, но и открывают

самые проблемы. А, ведь, все эти орудия являются результатом экономического развития,—результатом, который при посредстве людей становится исходным пунктом нового прогресса. Развитие естественных наук идет рука об руку с развитием техники, понимая это слово в самом широком смысле. Под техническими условиями какой-либо эпохи следует понимать не только ее орудия и машины. Современные методы химического исследования и современная математика также входят составной частью в существующую систему техники. Попробуйте построить корабль или железнодорожный мост без математики! Без современной математики капиталистическое общество было бы невозможно. И данное состояние математики так же входит в состав экономических условий существующего общества, как и данное состояние машинной техники или мировой торговли: все эти моменты теснейшим образом связаны между собой.

Таким образом, развитие философии, как в качестве науки о природе, так и в качестве науки об обществе, находится во внутренней связи с экономическим развитием. Экономические условия его эпохи дают философу не только необходимый досуг для наблюдений, но и нечто большее: задачи, выдвинутые данной эпохой и ожидающие мыслителя, который их разрешит, а также и средства для их разрешения.

Направление, в котором следует искать этого разрешения в каждом отдельном случае, заранее дано вместе с элементами самого решения задачи. Это, однако, не значит, что каждый так сразу и познает его. Проблемы, касающиеся общества,—а мы сейчас только их и разбираем, хотя наши выводы mutatis mutandis относятся и к прогрессу естествознания,—имеют дело с чрезвычайно сложными явлениями. Правда, вместе с экономическим развитием совершенствуются и вспомогательные средства, и методы исследования, но в той же мере усложняются, ведь, и об‘екты исследования. У средневекового государствоведа и философа не было в распоряжении средств и методов современной статистики; но зато ему приходилось иметь дело лишь с небольшими крестьянскими и городскими общинами, каждая из которых жила своей замкнутой жизнью, будучи связана с остальным миром лишь крайне незначительной торговлей. В настоящее же время перед государствоведами и экономами стоят великие народы с мировой торговлей, охватывающей важнейшие элементы производства и потребления культурных наций.

Явления, подлежащие об‘яснению, задачи, подлежащие разрешению, до того сложны, что отдельному человеку, обыкновенно, невозможно бывает познать все их стороны и, таким образом, найти правильное во всех пунктах об‘яснение и решение. Только *одно* решение проблемы может быть правильным, но *мыслимо бесчисленное множество* решений, из которых каждое освещает тот или другой элемент проблемы, не обнимая, однако, всех ее элементов.

Отсюда—разнообразие мнений об одном и том же предмете даже среди таких людей, которые одинаково одарены и обладают одинаковыми знаниями. Один не может понять другого не потому, что он глупее его, а лишь потому, что каждый видит в одной и той же вещи нечто совершенно иное.

Разумеется, и различие в духовных способностях порождает различие мнений, но в массе людей различие в способностях весьма незначительно. Сильно же различаются люди по своей *точке зрения*, т.-е., другими словами, по *общественному положению*, по той позиции, с которой они подходят к вопросам своей эпохи. И это различие возрастает с ходом экономического развития.

Различие в положении отдельных людей в обществе обусловливает не только разницу в развитии их способностей и знаний, но и разницу в их традициях, предрассудках и, наконец, в их *интересах*—личных и классовых.

Однако, несмотря на все индивидуальные различия, та точка зрения, с которой масса членов определенного класса подходит к определенному вопросу, может считаться в своих существенных чертах заранее данной, и, таким образом, для членов данного класса дано и то направление, в котором они ищут решения этого вопроса. Но точку зрения данного класса можно всегда свести к экономическим условиям, которые, таким образом, дают не только проблему и то единственное направление, в котором она может быть разрешена, но и те различные направления, в которых различные классы и слои общества ищут ее разрешения.

На всем протяжении того периода, который до сих пор стал достоянием научно-исторического исследования, еще ни разу не удавалось ни одному классу, а тем более ни одному индивидууму, найти полное разрешение одного из великих общественных вопросов. Решение, которое, в конце концов, получалось, как единственно правильное, из борьбы интересов и мнений, всегда отличалось от каждого из тех решений, которые предлагали отдельные классы, партии, мыслители. Но вместе с тем известные классы, интересы которых совпадали с интересами необходимого развития, всегда оказывались более доступны голосу истины, чем другие классы, интересы которых стояли в противоречии с этим развитием. И в то время, как идеи и воззрения первых все ближе подходили к действительному разрешению проблемы, идеи и воззрения последних часто обнаруживали тенденцию все больше от него удаляться.

Здесь мы подошли к тому пункту, с которого не трудно увидеть, какое влияние может личность оказывать на развитие общества. Она не в состоянии изобрести для него новые проблемы, хотя она и может иногда открыть проблему там, где другие до сих пор не видели ничего загадочного. Точно также и в разрешении этих проблем личность

связана теми средствами, какие в ее распоряжение дает данная эпоха. Напротив, выбор того круга проблем, которому личность себя посвящает, выбор точки зрения, с которой она подходит к их разрешению, направление, в котором она его ищет, и, наконец, сила, с которой она защищает свою точку зрения,—не могут быть без остатка сведены к одним только экономическим условиям: на ряду с последними здесь выступают и индивидуальные особенности, развившиеся благодаря своеобразию природных способностей и той среды, в которой находилась данная личность.

Все только-что перечисленные обстоятельства оказывают влияние если не на самое направление развития, то все же на его ход и на то, путь, каким, в конце концов, достигается неизбежный результат. *И* т *этом отношении отдельные личности могут очень много дать своей эпохе*в

Одни—в качестве *мыслителей*, которые достигли более глубокого. понимания, чем их окружающие, в большей мере, чем они, освободились от унаследованных традиций и предрассудков и преодолели классовую ограниченность.

Последнее выражение может показаться странным в устах марксиста. Но в действительности социализм тоже, ведь, основывается на преодолении классовой ограниченности. Для ограниченного буржуа социальный вопрос заключается в проблеме, как сохранить рабочих спокойными и непритязательными; для ограниченного наемного рабочего он является только вопросом желудка, вопросом высокой платы короткого рабочего дня и обеспеченного труда. Необходимо преодолеть ограниченность того и другого, чтобы понять, что разрешение социальных проблем нашего времени должно быть более широким, таким, которое возможно только при новой форме общества.

Этим, разумеется, я не хочу сказать, что это более высокое знание социалистов является уже полным знанием, и что новое общество не может развить совершенно иные формы, чем какие мы ожидаем.

Мыслитель, который, преодолев традиции и классовую ограниченность, становится на более высокую точку зрения и таким путем открывает новые истины, т.-е. подходит ближе, чем средний человек, к действительному разрешению проблемы,—не может, однако, рассчитывать на одобрение со стороны всех классов. Его признают лишь те классы, интересы которых лежат в одном направлении с интересами необходимого развития, да и то не всегда,—если мыслитель слишком высоко поднялся над окружающей его средой. Конечно, заинтересованность чудодейственным образом способствует пониманию.

Но не один только мыслитель может сократить путь развития, может уменьшить его жертвы. *Художник*, который берет открытую мыслителем истину и придает ей более наглядную и привлекательную форму, способную встряхнуть и воодушевить; *организатор* и *тактик*, который собирает рассеянные силы и целесообразно комбинирует их,—

все они могут, если только представляют собою нечто, действительно выдающееся, ускорить ход развития.

Я назвал тактиков и организаторов. Сюда относятся не только политики, но и полководцы. Со времени просветительной философии в демократических кругах стало модой смотреть на полководцев и, вообще, на войну сверху вниз, как на нечто, не имеющее значения для развития человечества. Это—реакция против придворного об'яснения истории XVII и XVIII в.в., которое и доныне встречается еще в исторических сочинениях „основательных“ авторов, наивно думающих, что весь прогресс исходит от монархов, а войны являются важнейшим и плодотворнейшим результатом их царствования.

Это, конечно, явная бессмыслица. Но факт остается фактом, что до сих пор война была одним из могущественнейших орудий революции, т.-е. насильственно ускоренного общественного развития, и что полководцы, доставившие победу делу революции, должны быть названы в числе первых, способствовавших развитию человечества.

Конечно, несравненно больше число тех полководцев, которые противились этому развитию и задерживали его своими победами.

Но ведь в реакционном лагере, стремящемся задержать развитие, можно найти не только полководцев, но и политиков, и законодателей; немало также философов и художников можем мы там встретить. Ни реакционность большинства офицерства нашего времени, ни наше принципиальное отрицательное отношение к современному милитаризму не должны, однако, побудить нас к недооценке влияния военных гениев на ход всего предыдущего исторического развития.

Здесь необходимо обратить внимание еще на один демократический предрассудок, который стараются оправдать материалистическим пониманием истории: на страх пред особым почитанием отдельных личностей, перед так называемым „культом личностей“, „авторитаризмом“ и т. п. Эти словечки мы переняли от мелкобуржуазной демократии, и, благодаря своей звучности, они все еще пользуются успехом в наших рядах, хотя единственное, для чего они могут служить, это—давать в руках анархистов некоторые аргументы против нас.

Без сомнения, каждая личность есть продукт условий; особенностями своего развития она обязана среде, в которую попала. Гений, следовательно, ничего не может требовать за то, что он гений. Но это еще не служит достаточным основанием для того, чтобы первый попавшийся пивной филистер имел в моих глазах такое же значение и возбуждал к себе такой же интерес, как мыслитель, овладевший знанием своего века и бесконечно расширивший мой кругозор, или, чтобы я придавал суждению первого встречного новичка в политике такой же вес, как суждению опытного политика, который бесчисленными политическими победами на протяжении всей своей жизни доказал свои выдающиеся способности.

Мы не должны поэтому искать оправданий своему „культу личностей“, когда мы, напр., чтим память Лассаля или Маркса, или когда мы охотнее слушаем с ораторской трибуны Либкнехта и Бебеля, чем Гинце или Кунце; мы не должны также с возмущением протестовать против „упрека“, что у нас есть вожди. Да, у нас есть вожди, и в значительной мере от качеств наших вождей зависит, будет ли наш путь к победе длинным или коротким, будет ли он покрыт шипами или удобен.

Но не только почитание отдельных личностей, также и борьба с отдельными личностями вполне согласуется с нашей материалистической точкой зрения. Часто говорят: мы ведем борьбу не с лицами, а только с системой. Но, ведь, система существует лишь при посредстве лиц, и я не могу нападать на нее, нападая на отдельных лиц.

Нельзя уничтожить систему монархии, не свергнув монарха. Нельзя положить конец капиталистическому способу производства, не экспроприировав капиталистов. И если среди наших противников некоторые лица особенно выдаются по своим способностям, силе или враждебности, если они особенно вредят нам, то мы должны также особенно сильно бороться с этими, именно, лицами. И это отнюдь не противоречит нашему материалистическому пониманию истории. В настоящее время мы не только историки, но прежде всего—борцы. Наш материализм приводит нас к тому, что мы *понимаем* наших противников, а не к тому, что мы перестаем с ними *бороться*. *Материалистическая* теория не *фаталистична*. Только в *борьбе*—в борьбе с враждебной природой, с враждебным народом, с враждебным классом, с враждебным мнением, с враждебной личностью—осуществляется развитие, которое лишь потому неудержимо идет вперед, что борьба неизбежна.

Но не только борец в настоящем, также и историк, описывающий прошлое, никогда не сможет совершенно пройти мимо отдельных личностей, если он хочет изобразить особые формы, в которых совершалось историческое развитие при данных особых условиях,—*и поскольку*, разумеется, он не сможет обойтись *одним только* материалистическим методом.

Но лишь в пределах приложимости материалистического метода исследование и развитие исторического развития является *наукой*. За этими пределами оно превращается в *искусство*, которое, однако, тоже нуждается для своего твердого обоснования в материалистическом методе.

Теперь мы ясно видим, что может и хочет дать этот метод. Он исходит из того положения, что развитие общества и господствующих в нем воззрений отличается характером закономерности и что основную пружину и последнее основание этого развития мы должны искать в развитии экономических условий. Каждой ступени развития экономических условий соответствуют определенные формы и идеи. Важнейшей, основной задачей исторического исследования является изучение

этих законов и зависимостей. Если это достигнуто, тогда уже сравнительно легко понять особые формы развития в данном отдельном случае.

Так смотрю я на исторический материализм, и если только я несовершенно и неправильно понял Маркса и Энгельса, то и они так же смотрели на него.

Впрочем, кому это доставляет удовольствие, тот может называть мои взгляды нео-марксистскими. Все дело, разумеется, в вопросе, правильна ли эта теория? Ответ на это может дать только *практика*, только *применение метода*.

В дальнейшем я представляю некоторые иллюстрации такого применения, причем попрежнему буду исходить из критики Бакса.

### 3) Историческая практика.

Всякая теория должна строиться на фактах. Но, с другой стороны, методическое исследование фактов невозможно без твердо установленной теоретической точки зрения. Явления мира действительности до того многообразны и сложны, что чистый эмпирик безнадежно теряется в них. Лишь тот может проложить себе здесь путь, кто заранее обладает более широкими перспективами, кто умеет отделять существенное от несущественного, типичное от случайного, общее от частного, причину от повода.

Методическое исследование фактов является, следовательно, результатом, а не предпосылкой теории.

Новая теория может возникнуть лишь в том случае, если стали известны некоторые новые факты, или если уже известные факты освещены с новой стороны, и притом факты, до того замечательные и характерные, что на данной высоте научного мышления они толкают, по крайней мере, гения к новому пониманию вещей. Путем обобщения добытых таким образом законов мы приходим к новой теории.

Благодаря этому, всякая теория вначале полна пробелов; ни одна теория не возникает и не может возникнуть из систематического исследования всех фактов, которые она хочет об'яснить. Как-раз само это исследование и служит для нее пробным камнем.

Поэтому нельзя считать убедительным возражением против новой теории указание на тот факт, что она не об'яснила еще всех явлений, к которым она относится. Количество явлений, которых она еще не об'яснила и которые ей еще остается об'яснить, указывает только на ее возраст, на число и работоспособность ее последователей и на свойства доступного им материала, но отнюдь не может служить аргументом против ее правильности.

Тут существует только *один* пробный камень: критика метода в тех случаях, где он уже был применен. По его *плодам* надо судить о нем,—по тому, что он дал, а не по тому, что он еще должен дать.

Если, напр., марксисты или нео-марксисты до сих пор еще не написали материалистической истории философии, то это никоим образом не опровергает зависимости философии от материального базиса общества.

Несмотря на юность материалистического метода и несмотря на то, что как основатели его, так и почти все без исключения их ученики до сих пор были не привилегированными профессорами, имеющими возможность посвятить себя всецело теоретическим занятиям, а политическими борцами за интересы пролетариата,—этот метод нашел себе уже применение в самых различных областях истории. Поэтому, есть полная возможность приложить к нему единственный решающий масштаб и посмотреть, сумел ли этот метод лучше, чем всякая другая из выставленных до сих пор исторических теорий, об'яснить те факты истории, об'яснение которых он пытался дать. Вот о чем должна итти речь, а не о том, можно-ли эту теорию „признать последним словом истины".

Но хотя материалистическое понимание истории нашло себе очень много противников, до сих пор не сделано еще ни одной серьезной попытки приложить этот масштаб к историческим работам хотя бы одного из учеников, не говоря уже об учителях. Мне, по крайней мере, приходилось встречать обстоятельную критику, критику по существу, только философских и экономических работ марксистов, но не их историчестих работ.

Но можно также перевернуть копье и приложить указанный масштаб к трудам наших противников. Это я и попытаюсь сделать в дальнейшем. Мы возьмем, в качестве ближайшего примера, два места из возражения нашего друга Бакса и посмотрим, действительно ли его метод плодотворнее нео-марксистского.

„Каутский в сущности спрашивает,—замечает Бакс в своем возражении,—почему современные греки не выдвинули своего Аристотеля или Перикла и т. п., другими словами,—почему современная Греция так резко отличается от античной; и он полагает, что существенные изменения испытали лишь экономические условия; при этом он оставляет без внимания все то, что не укладывается в рамки его теории, как, напр., то, что и народ, подобно отдельной личности, может состариться, что в Греции фактически произошло смешение народов, что кроме чисто экономической эволюции протек целый период исторического развития человечества. Все эти факторы вместе влияли на Грецию, как и на другие страны. Греческий дух совершенно исчерпал себя в литературной, философской и художественной областях еще задолго до того, как произошло существенное изменение в способе производства и обмена. Если это истощение духа приходится поставить в связь с каким-нибудь общественным фактором, то скорее с политическим или религиозным, чем с экономическим. Потеря политической

независимости, влияние восточных идей, а впоследствии христианства, без сомнения, значительно ускорили падение Греции. Далее, через Грецию прошло столько различных народов: готы, славяне, норманны, каталонцы, венецианцы, турки; все они оставили более или менее глубокий след, а некоторые, как, напр., славяне, и вовсе остались в Греции, смешавшись с прежним ее населением. Современный грек в этническом отношении совершенно другое существо, чем античный грек. Наконец, как я уже сказал, Каутский в своем усердии игнорирует все конкретное развитие,—духовное, политическое, моральное, равно как и экономическое,—протекшее между древними веками и новым временем“.

Прежде всего я должен отметить, что я поставил совсем другой вопрос, чем тот, какой вкладывает мне в уста Бакс. В своем первом возражении против Бакса я поставил вопрос: какой из трех элементов, определяющих человеческую деятельность, изменился с античной эпохи: человеческий организм, природа или экономические условия? Первый, указал я, не изменился, его мыслительная способность осталась та же, что и в древней Греции: „мыслительная способность какого-нибудь *Аристотеля* вряд ли превзойдена, как не превзойдены также художественные способности древних греков“. Точно также не изменилась и природа: „над Грецией сияет то же самое голубое небо, что и в эпоху *Перикла*“. Но изменилось общество, т.-е. в конечном счете—экономические условия, которые таким образом и составляют переменный фактор в развитии человечества.

Ясно, что это нечто совсем иное, чем приписываемый мне Баксом вопрос. Еще один пример замечательной точности Бакса! Едва я выговариваю имена Аристотеля и Перикла Баксу, тотчас же кажется, что я спрашиваю, почему современная Греция не имеет своего Аристотеля и Перикла. Более того, ему уже слышится мой ответ, что с античной эпохи „существенные изменения испытали лишь экономические условия“, а не все общество вместе с ними!

Впрочем, в данном случае эта манера критики имеет и свою хорошую сторону. Она заставляет Бакса изложить те основания, которые, по его мнению, об‘ясняют, почему Греция перестала производить таких людей, как Аристотель и Перикл; она заставляет его показать, каковы действительные причины упадка греческой философии и греческого искусства.

В своем об‘яснении Бакс приводит целый ряд оснований, которые должны совершенно устранить экономические причины. Прежде всего и главным образом он ссылается на смешение народов, которое произошло в Греции. Конечно, я далек от мысли оспаривать, что рассовые особенности оказывают известное влияние на ход исторического развития. Однако, не следует переоценивать этого влияния, как это любят делать новейшие последователи теории наследственности. Человеческий

организм обладает наивысшей способностью к приспособлению, и, без сомнения, человеческий мозг принадлежит к наиболее легко изменяемым и приспособляемым человеческим органам. Пожалуй, если бы еще эллины смешались с ботокудами или жителями Огненной Земли, то это задержало бы, по крайней мере, на некоторое время, развитие их художественных и философских способностей. Но перечисляемые Баксом народы—германцы, славяне, испанцы, итальянцы—не принадлежат к разряду совершенно неодаренных в философском и художественном отношениях. Это еще, пожалуй, можно утверждать о турках, но они, ведь, пришли в Грецию только в пятнадцатом веке и оказали мало влияния на этнический характер греков. Но и остальные перечисленные народы явились в Грецию слишком поздно, чтобы ими можно было об'яснить художественный и философский упадок, который начался в четвертом веке *до* Р. Х., тогда как первое вторжение готов в Грецию произошло в третьем веке *по* Р. Х., когда Греция уже совершенно пала.

Таким образом, этническое смешение ничего тут не об'ясняет. Если бы я, действительно, занялся тем вопросом, который на самом деле впервые поставил сам Бакс, то я имел бы все основания игнорировать „факт смешения народов".

Но Бакс указывает еще на один момент, который я будто бы „оставил без внимания" (в никогда не написанном мною разборе никогда не поставленного вопроса),—естественно, потому, что он „не укладывается в рамки моей теории", а именно—на тот факт, „что и народ, подобно отдельной личности, может состариться... Греческий дух совершенно исчерпал себя... еще задолго до того, как произошло существенное изменение в способе производства и обмена".

Нет сомнения, что „греческий дух" „исчерпал" себя, коль-скоро начался упадок греческой философии и искусства: это „истощение духа" и есть ничто иное, как поэтическое описание факта упадка, а с равным правом можно сказать: „греческий дух находился совершенно в упадке, когда начался упадок греческой философии и искусства". Надеюсь, мне простят, что такое „исчерпывающее об'яснение" „не укладывается в рамки моей теории".

Не менее прав Бакс, когда он замечает, что и тот факт, что народ может состариться, подобно отдельной личности, „не укладывается в рамки моей теории". Не хочет ли Бакс этим сказать, что общественный организм представляет собою совершенно такой же организм, как и животный, так что законы одного можно прямо переносить на другой? Тогда я обратил бы его внимание на одну особенность, присущую народам в противоположность отдельным личностям—на *способность молодеть*. Французская нация сильно состарилась в царствование Людовика XV. Закалка великой революции снова сделала ее молодой и дала ей гигантские силы. На наших глазах японская нация, тоже проявлявшая уже много старческих черт, обновилась, благодаря

подобной же, хотя и более слабой, закалке, и вступила в ряды развивающихся, многообещающих народов.

Что народ может состариться—это тоже не более, как поэтическое и потому не совсем точное описание факта его упадка. Такие фразы не подвинут нас вперед ни на одну ноту.

Наконец, в об'яснении упадка духовной жизни Греции я „в своем усердии" „игнорировал" третий момент—„все конкретное развитие, протекшее между древними веками и новым временем".

Что обо всем этом я ничего не сказал в своей статье—это я должен признать, но я прошу Бакса приписать это не моему „усердию", а тому обстоятельству, что ответить на разбираемый вопрос я взялся не в действительности, а лишь в его фантазии.

В действительности же я держусь того мнения, что весь вопрос здесь идет именно о „конкретном развитии". Но тут, к сожалению, в самом важном пункте Бакс покидает нас, ограничившись туманным указанием на потерю политической независимости и на деградирующее влияние христианства, причем сам же приписывает этим факторам лишь *ускорение* процесса упадка, но не считает их *причинами* его.

Какие же причины упадка устанавливает „исправленный" Баксов метод исторического исследования? Никаких, решительно никаких!

Попытаемся же сами, если не подробно развить, то по крайней мере наметить раскритикованный уже Баксом, хотя и не написанный еще мною, анализ причин упадка духовной жизни Греции, и посмотрим, не будем ли мы иметь больший успех, оперируя теми факторами, которые Бакс оставил без внимания.

Прежде всего необходимо установить точные границы проблемы. Духовный упадок Греции начинается в четвертом веке до Р. Х. Поэтому, если я хочу открыть его корни, я должен искать их не в явлениях, наступивших позже, а лишь в таких явлениях, которые уже проявляли свое действие в четвертом веке. Но чтобы понять, почему Греция, не выдвинула в позднейшие века Аристотелей и Периклов, мне необходимо раньше знать, в силу каких обстоятельств Греция в свое время выдвинула Аристотеля и Перикла. Необходимо, следовательно, рассмотреть и предшествовавший упадку период расцвета. Последний обнимает всего несколько поколений—одно столетие.

Пятый век был для Греции веком ее величайших философов—от *Гераклита Темного* (около 500 г. до Р. Х.) до *Платона* (род. в 429 г.) и *Аристотеля* (род. в 385 г.), ее величайших историков—*Геродота* и *Өукидида*, ее величайших драматургов—*Эсхила, Софокла, Эврипида* и *Аристофана*, ее величайших художников—*Фидия* и *Полигнота*. В четвертом веке мы, правда, встречаем еще в этих областях несколько великих произведений, как результат движения пятого века, но упадок уже начался и идет быстро и неудержимо вперед.

Точно определив, таким образом, подлежащее об'яснению явление, мы, далее, исследуем экономическое движение, совпадающее с этим явлением в пространстве и во времени. Мы найдем, что период расцвета начинается с *Персидских войн* (492—479 гг.) и заканчивается *Пелопонесской войной* (431—404 гг.).

Каждая из этих войн возвещала экономическую революцию. До персидских войн экономический и вместе с тем духовный центр эллинского мира лежал в Малой Азии. Замечательно, что Альберт Ланге, великий противник материализма, дает вполне материалистическое об'яснение философии мало-азиатстих греков (равно как и философии Великой Греции). Без сомнения, не из материалистического усердия, а лишь потому, что факты вынудили его к этому. Он говорит:

„Если мы теперь бросим взгляд на берега Малой Азии в те столетия, которые предшествуют блистательному периоду эллинской духовной жизни, то мы найдем там колонию ионян, с многочисленными и значительными городами, отличающуюся богатством и материальным процветанием, любовью к искусству и утонченностью жизни. Торговые и политические связи и все увеличивающееся стремление к знанию повели жителей Милета и Ефеса к дальним путешествиям, приводили их в разнородное соприкосновение с чужими нравами и мыслями и способствовали тому, что свободно мыслящая аристократия возвышалась над точкой зрения более ограниченных масс. Таким же ранним процветанием отличались и дорические колонии в Сицилии и южной Италии. Можно неоспоримо предположить, что, задолго до появления философов, при этих обстоятельствах распространилось более свободное, просвещенное міросозерцание между высшими слоями общества.

„В этих кружках богатых, уважаемых, много видевших и много путешествовавших людей и возникла философия“*).

Победа греков над персами перенесла экономический центр с восточного берега Эгейского моря на западный берег. Она не только доставила несметную добычу греческим крестьянам и морякам, жившим до тех пор в крайне примитивных условиях, но и повела к тому, что победители, отбив нападение, перешли в наступление. Но это было уже дело не привязанных к земле крестьян, а подвижных моряков. Торговый город Афины завоевал гегемонию в этой борьбе и, заняв господствующее положение, стал эксплоатировать все Эгейское, Ионийское и даже Черное моря. Эксплоатация была частью прямой, в форме податей, налагаемых на покоренные острова и прибрежья, частью же—косвенной, выражавшейся в монополизации в руках Афин всей греческой торговли, ставшей к тому времени мировой торговлей, посредницей между Западом и Востоком. Несметные богатства потекли в Афины, и в результате явился неслыханный экономический под'ем,

*) «История материализма», русский перев. Страхова, изд. 1899 г. стр. 4 и 5-я.

сопровождавшийся расцветом искусств и наук. Афины стали центром, в котором собирались самые блестящие умы Греции. Нигде в другом месте художники и мыслители не находили таких благоприятных условий для своего развития и деятельности, нигде они не находили таких богатых побуждений к творчеству.

Не одним только богатством были созданы эти условия; богатство встречалось ведь и в других местах. Но никогда и нигде в древности только-что описанная мною экономическая революция не совершилась так быстро и непосредственно, как в Афинах в пятом веке, и нигде поэтому она не дала такого мощного толчка мысли и фантазии, философии и искусству; нигде не удалось достигнуть столь поразительных результатов, нигде люди не прониклись такой смелостью и уверенностью; эти качества сообщились также художникам и мыслителям, побудив их взяться за самые трудные проблемы.

Кроме того, богатства, стекавшиеся в Афины, не остались, как в других местах, достоянием небольшого круга господствующей аристократии. Афины представляли демократическое общество, все граждане участвовали в экономическом и вызванном им духовном расцвете. Нигде мыслители и художники не находили такой публики, как в Афинах. Но если мыслитель и художник создает публику, то, ведь, и наоборот—и в гораздо большей степени—публика создает его.

Ко всему этому прибавилось еще то обстоятельство, что к началу Персидских войн Афины стояли уже на высоте тогдашней культуры, чего, например, нельзя сказать о Риме, развитие которого шло тем же путем, хотя и было менее интенсивно, чем в Афинах. Римляне прибыли на восточное прибрежье Средиземного моря, как варвары, как „проходимцы", которые в лучшем случае могли подняться до той культуры, которую они здесь застали, но не были в состоянии тотчас развить ее дальше и превзойти ее. В Риме богатство, явившееся в результате завоевательной и эксплоататорской политики, сумело на первых порах вызвать появление любителей искусства, коллекционеров, любителей красоты, компиляторов, но не таких пионеров философии и искусства, как в Афинах.

А к тому времени, когда Рим ассимилировал культуру Востока, его экономическое развитие достигло уже периода упадка, и мировая Римская империя могла создать в духовной области только христианство.

Таким образом, Рим никогда не мог в области духовного развития создать то, что создали Афины, но и для Афин экономическое развитие шло в том же направлении, что и для Рима.

Богатства, стекавшиеся в Грецию со времени персидских войн, ускорили развитие денежного хозяйства и подкопали основы прежнего крестьянского натурального хозяйства. Крестьянин впал в долги и разорился, а место крестьянских хозяйств заняли латифундии, обрабатываемые рабами. Деревни опустели. Масса народа устремилась к

торговые города. Наряду с все богатеющими купцами, спекулянтами, ростовщиками, владельцами латифундий, счастливыми полководцами, вернувшимися домой с богатой добычей, образовалась все возрастающая масса люмпен-пролетариев. Прежние добродетели исчезли, стали сказываться особенности новых социальных слоев. Чувство солидарности уступило место продажности и корыстолюбию, мужество—трусости и изнеженности. Солдат-гражданин, сражавшийся за свой собственный очаг, все больше вытеснялся наемником, который служил тому, кто лучше платил.

Все это вместе взятое привело в Греции, как и в Риме, к всеобщему общественному упадку. Но в Греции этот процесс упадка совершился не постепенно, на протяжении многих столетий, как в Риме, а разразился в виде военной катастрофы с такой же поразительной быстротой, как в свое время период расцвета.

Разлагающие влияния новых экономических условий сказались прежде всего и самым резким образом в Афинах,—в этом центре экономического расцвета Греции. Афины были также самым ненавистным государством для всей Греции. Чем больше развивалось денежное хозяйство, чем больше возрастал люмпен-пролетариат, который приходилось прокармливать афинскому государству, тем все сильнее становился экономический гнет, испытываемый афинскими подданными, и в то же время все сильнее становилось жадное стремление крестьянских кантонов Греции к сокровищам мирового города. Соседи и подданные вступили в союз и в отчаянной борьбе положили навсегда конец мировому господству Афин.

Эта тридцатилетняя война опустошила и истощила Грецию, которая, в силу понижающих тенденций своего экономического развития, никогда уже не могла вполне оправиться. Скоро она стала добычей чужих народов, в конец разоривших ее; мировая торговля, сношения между Востоком и Западом пошли по другому пути, минуя Грецию, которая, таким образом, потеряла свое экономическое значение.

Вот важнейшие факты, на которые я указал бы, если бы я, действительно, взялся осветить с материалистической точки зрения упадок духовной жизни Греции. Язык этих фактов, думается мне, достаточно красноречив. Как в под'еме, так и в упадке руководящую роль играло экономическое развитие, а духовное развитие послушно следовало за ним. Но зависимость между обоими элементами такая тесная, что post hoc не может не означать здесь также propter hoc; это становится еще яснее, если обратиться к более детальному исследованию, чем это возможно в настоящей статье. Кроме того, подобный же параллелизм можно наблюдать и в других случаях,—следовательно, он не является случайным.

Я предоставляю теперь читателям решить, есть ли необходимость для того, кто при помощи материалистического метода пришел к

сознанию этого параллелизма, хвататься за „этническое смешение“ с славянами и турками, или за „истощение греческого духа“ и тому подобные отчаянные средства, чтобы сделать понятным духовный упадок Греции.

На втором историческом примере, который послужит нам для сравнения Баксова метода с материалистическим, мы можем остановиться менее подробно.

В своем возражении я упрекнул Бакса в непоследовательности, так как в своем „Socialism istgrowth and outcome“ он в одном месте об‘ясняет утрату средневековой жизнерадостности и появление пуританства в Англии—ее капиталистическим развитием, а несколько страниц спустя—особым духом английского народа.

Бакс не видит тут никакого противоречия и поддерживает оба свои утверждения.

„В общем,—говорит он,—я охотно соглашаюсь с Каутским и его товарищами, что перемена в общественном настроении Англии в конце шестнадцатого и начале семнадцатого веков об‘ясняется совершившейся тогда экономической революцией. Но протестантское движение в Англии обладает известными особенностями, которые нигде на континенте не обнаружились в такой степени, хотя и там, ведь, совершился,—правда, несколько позже,—подобный же переворот в экономических условиях. Где, например, можно найти на континенте английское празднование воскресенья, догму греховности танцев, театра или даже чтение романов? Все эти своеобразные черты нельзя об‘яснить одним общим шаблоном; поэтому я высказал скромное предположение, что пуританство, выработавшее такие черты, об‘ясняется *своеобразным смешением племен*, образовавших британский народ“.

Итак, тут снова выступает этническое смешение. Но, к сожалению, и на этот раз оно ничего не может об‘яснить. Этническое смешение греческого народа началось *полтысячелетия после* наступления того явления, которое Бакс думает им об‘яснить. А в Англии этническое смешение уже закончилось в двенадцатом веке—к концу одиннадцатого века произошло последнее великое нашествие на Англию норманнов,—следовательно, оно явилось на *полтысячелетия раньше*, чем это нужно для об‘яснения пуританства семнадцатого века. Как раз между этим смешением и пуританством лежит период веселой старой Англии.

Мы, материалисты, склонны искать причину особенностей данной эпохи прежде всего в условиях самой этой эпохи. Посмотрим же, не отличалась ли Англия семнадцатого века от остальной Европы чем-либо еще, кроме своего этнического смешения.

Тут нам сразу бросается в глаза крайне важная и замечательная особенность Англии в семнадцатом веке; это—самое выдающееся в английской истории того века событие: революция 1642—1660 гг.,

т.-е. господство демократических классов: мелких буржуа, крестьян, наемных рабочих.

Это явление—совершенно единичное во всей Европе семнадцатого века: повсюду, кроме Англии, торжествовал тогда победу феодальный абсолютизм, демократические же классы потерпели полное поражение.

Но, присмотревшись ближе, мы замечаем еще одно: если пуританство охватывало в шестнадцатом и семнадцатом веках не весь английский народ, а лишь отдельные классы Англии, то этим классам оно было присуще отнюдь не в одной только Англии, но и *во всей Европе.*

Когда Бернштейн и я работали над первым томом „Истории социализма", мы не мало были поражены, когда, совершенно независимо один от другого, нашли у всех социалистически-демократических партий и течений на исходе средних веков и в начале нового времени совершенно одинаковые, часто до смешного совпадающие, пуританские воззрения. То, что Бернштейн нашел в Англии, я нашел у богемских братьев, у последователей Мюнцера, перекрещенцев, у менонитов. Мы пришли к убеждению, что это совпадение не случайное, а закономерное: пуританство составляет необходимое мировоззрение определенных классов при определенных условиях. Если в средние века с преобладающим господством натурального хозяйства жизненное правило крестьян, мелких буржуа и наемных рабочих гласит: „Живи и давай жить другим!", то на пороге капиталистического способа производства эти слои впадают в мрачное пуританство, и притом тем в большей степени, чем быстрее совершается и глубже проникает экономическое и соответствующее ему политическое развитие, и чем сильнее реакция низших классов против него.

Но что пуританство, хотя оно существовало также и в остальной Европе, достигло господства только в Англии,—это, после сделанных мною выше указаний об английской революции, об'ясняется само собой.

Как-раз то явление, которое оказалось для Бакса с его „исправленным" методом такой неразрешимой загадкой, что он должен был обратиться к совершенно произвольно изобретенным особенностям этнического смешения, совершавшегося за много веков до того,—это самое явление послужило для нас одним из блестящих подтверждений плодотворности и правильности материалистического об'яснения истории.

И эта плодотворность и правильность нашего метода обнаружилась во всех областях, в каких мы его испытали—безразлично, пользовались ли мы им для исследования *прошлого* или для уразумения *настоящего.*

Наша теория одинаково хорошо служит для того и для другого,—и в этом именно заключается ее *практическое значение,* то важное значение, которое оно имеет не только для исследователя, но и для

*борца*-социалиста. Вот почему вопрос о материалистическом понимании истории не есть просто академический вопрос, а глубоко затрагивает всех нас.

Наша тактика, наше поведение в современной политической и социальной борьбе до известной степени находится в зависимости от нашего понимания условий этой борьбы и основных пружин исторического развития.

Первое сочинение, в котором материалистическое понимание истории было систематически развито, возвестило также окончательную теоретическую несостоятельность утопического социализма и сектантства.

В „Коммунистическом Манифесте“ Маркс и Энгельс разбирают вопрос, „в каком отношении стоят коммунисты к пролетариям вообще?“ и заявляют:

„Коммунисты не составляют особой партии, в противоположность другим рабочим партиям“.

„У них нет интересов, обособленных от интересов всего пролетариата“.

„Они не выставляют особых принципов, с которыми они хотели бы сообразовать рабочее движение“.

„Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий только тем, что, с одной стороны, в разнородной национальной борьбе пролетариев они выдвигают на первый план и отстаивают бщие интересы всего пролетариата, независимо от национальностей, а с другой— на различных стадиях борьбы между пролетариатом и буржуазией они всегда являются представителями общих интересов движения в целом“.

„Таким сбразом, на практике коммунисты представляют самую решительную, самую передовую часть рабочих партий всех стран, ту часть, которая ведет вперед все другие; в теоретическом же отношении они имеют перед остальной частью пролетариата то преимущество, что ясно сознают условия, ход и общие результаты пролетарского движения“.

„Непосредственная цель коммунистов—та же, что и всех прочих пролетарских партий: организация пролетариата в классовую партию, ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти“.

„Теоретические положения коммунистов отнюдь не основываются на идеях и принципах, изобретенных или открытых тем или иным реформатором мира“.

„Они являются лишь общим выражением реальных условий фактически существующей классовой борьбы, развивающегося на наших глазах исторического движения“. Совершенно иным представляется отношение социалистов к общему движению рабочего класса с точки зрения той теории, которую защищает Бакс.

В своей статье, послужившей началом дискуссии, Бакс говорит: „Конечно, для того, чтобы приносить плоды, идеологическое воззрение должно быть посажено в соответствующую экономическую почву, но эта экономическая почва, как таковая, составляет лишь *отрицательное условие. Активным, творческим элементом является семя, т.-е. идеологическое воззрение.* И поскольку социализм есть сознательное движение,—это относится также к нему.

„Экономические условия, как бы сильно ни ощущалось их давление, нуждаются в оплодотворяющем влиянии идеала и энтузиазма, чтобы вызвать к жизни великое движение, не говоря уже о создании нового общества“.

А идеологическое воззрение возникает из „психологического фактора“, который „до известной степени обладает самостоятельным развитием“.

Так Бакс „исправляет“ Марксову теорию; но именно это исправление означает ничто иное, как возврат к утопическому способу мышления, изгнанному историческим материализмом.

Марксизм тоже имеет свои идеи и идеалы, но теоретические положения коммунистов отнюдь не основываются на идеях и принципах, изобретенных или открытых тем или иным реформатором мира; они являются лишь общим выражением классовой борьбы, они возникают из познания существующих экономических условий.

Напротив, идеи и идеалы утопистов возникли из их „психологических побуждений“, из их воззрений на справедливость, из их желаний, склонностей и психологических потребностей.

Коммунисты, т.-е. научные социалисты или „марксисты“, должны, согласно принципам „Коммунистического Манифеста“, не противопоставлять себя общему движению рабочего класса, а вместе с ним вести борьбу в качестве самой дальновидной, сознательной и в то же время на практике самой энергичной части пролетариата.

Они всегда должны стремиться понять движение, никогда не относясь к нему пренебрежительно. Всякая попытка рабочего класса защитить себя от гнета и эксплоатации, всякая его попытка сбросить с себя этот гнет или облегчить его—заслуживает их внимания и самой энергичной поддержки, как бы наивны и несовершенны ни были формы подобного движения. „Каждый шаг действительного движения,—писал Маркс товарищу Браке в 1875 г.,—важнее дюжины программ“.

Идеальным примером такого поведения может служить деятельность Маркса в „Интернационале“. Лишь немногие члены „Интернационала“ стояли на его точке зрения. Ни английские трэд-юнионисты, ни французские прудонисты и бланкисты, ни немецкие лассальянцы и социалистические демократы—не действовали вполне в его духе. И, однако, он работал со всеми ими, поскольку они стали на почву рабочего движения в целом и признали оба великих принципа клас-

совой борьбы пролетариата: 1) что освобождение рабочего класса может быть делом только самих рабочих и 2) что это освобождение—великая конечная цель, которой всякое политич. движение подчинено как средство.

Иначе поступает утопист. Он вступает в движение, именно, поступает для того, чтобы сообразовать его со своими особыми принципами, и, в случае конфликта между этими принципами и движением, он требует, чтобы последнее подчинилось. А притти к такому конфликту совсем нетрудно. „Легко уживаются мысли одна возле другой, но резко сталкиваются вещи в пространстве".

Действительное движение никогда не будет соответствовать идеалу „психологического побуждения". Поэтому идеалиста, идеи которого возникают не из их познания условий классовой борьбы, а из „психологического побуждения", легко отталкивает пролетарское движение, он пытается создать на-ряду с ним особое движение, которое он мог бы сообразовать со своими особыми принципами,—движение, которое, в качестве носителя высшего идеала, кичится своим превосходством над общим движением. Вместо того, чтобы изучить и понять это общее движение, идеалист хочет поучать его; вместо того, чтобы принять в нем деятельное участие, он пытается совлечь его с пути, по которому он идет, и выступает против него и тормозит его, где только может.

Поэтому, там, где господствует утопический взгляд на историю, различие мнений, неизбежное во всяком движении,—так как никому, ведь, еще не дано обладание полной истиной,—принимает, при прочих равных условиях, т.-е. при одинаковом понимании, одинаковом темпераменте, одинаковой обстановке, гораздо более острый характер, чем там, где господствует материалистический взгляд на историю: в первом случае движение пролетариата легче раскалывается, так как гораздо труднее слить различные направления в одно общее движение.

Утопический метод—это метод анархистов и этических социалистов. Но возможно также принципам, взятым у *марксизма*, давать утопическое применение, если к признанию этих принципов притти из „психологических побуждений", а не путем изучения экономических условий. Марксисты этого сорта употребляют марксистские выражения, но, не умея мыслить и работать по-марксистски, превращают Марксов метод в шаблон, который должен сделать излишним всякую самостоятельную работу,—и относительно этих, именно, марксистов Маркс выразился, что он не хотел бы быть марксистом.

Такого рода марксистами были немецкие „независимые", которые в начале еще чуждались анархизма, а только давали утопическое применение заимствованным у Маркса понятиям и, таким образом, вступили в конфликт с общим движением и сделались тормозом для него; в Голландии такого рода марксистами являются Ньюйвенгуйс и его последователи, которые, благодаря утопическому применению марксистских принципов, попали в то изолированное положение, какое они сейчас

занимают; и в английской социал-демократии широко распространено смешение марксистских понятий с утопическими методами, что не осталось без влияния на ее отношение к общему движению пролетариата.

Ярким образчиком этого является недавняя*) статья Бакса в „Justice“, направленная против статьи Бернштейна об армянском вопросе. Бакс говорит там, что „наш долг, как социалистов, повелевает нам всеми силами бороться против всякого прогресса цивилизации в варварских и диких странах... Лучше рабство, чем капитализм, лучше арабский работорговец, чем Chartered Company!—таков должен быть наш лозунг. Борьба дикарей против цивилизации является нашей борьбой, так как наша задача—повсюду противодействовать распространению и развитию капиталистического способа производства“.

А так как Бернштейн не разделяет этого сентиментального утопизма, то Бакс заявляет, что Бернштейн *„бессознательно перестал быть социал-демократом и сделался фабианцем“*,—хуже этого в глазах Бакса нет ничего.

Если каждый, разделяющий воззрения Бернштейна, более уже не социал-демократ в смысле Social Democratic Federation, а фабианец, тогда становится понятной слабость социал-демократии и сравнительная сила фабианизма в Англии.

Тот факт, что в Англии социализм слабее, чем это соответствует развитию капитализма, Бакс приписывает недостаточному развитию в Англии „психологического фактора“. Не раз уже выяснялось, какие особые экономические условия вызвали это временное состояние во второй половине девятнадцатого столетия. Я считаю излишним останавливаться на этом подробнее. Но что социал-демократические организации очень медленно завоевывают себе в Англии влияние, несмотря на то, что экономические условия и способность английских рабочих к восприятию социалистических идей, начиная с восьмидесятых годов, значительно изменились в пользу социализма,—в этом отчасти была виновата тактика английской социал-демократии, находившейся под слишком сильным влиянием той исторической теории, представителем которой является Бакс.

Как видите, вопрос о той или другой исторической концепции имеет значение не только для историка, но и для всего нашего практического поведения. Вот почему мы, „нео-марксисты“, всеми силами стремимся распространить наш исторический метод и защитить его от недоразумений и искажений.

Пусть нас за это называют жрецами марксизма, фанатиками догмы и инквизиторами: так легко с нами не разделаются.

---

*) Статья Каутского, как и все, вообще, статьи, составившие настоящую дискуссию, была написана в 1896 г. *Прим. перев.*

# Э. БЕЛЬФОРТ-БАКС.

## Границы материалистического об'яснения истории.

Ответ в небольшой статье на обширную критику Каутского, разумеется, представляет большие трудности. И я, естественно, вынужден ограничиться возражением на те лишь пункты, которые кажутся мне самыми важными, хотя я и сознаю, что это дает противнику возможность утверждать, что я не в состоянии опровергнуть те аргументы, которых не затрагиваю в своем возражении.

Статья Каутского „Что хочет и может дать материалистическое понимание истории?“ содержит три главных момента: 1) попытку изобличить меня в неточности; 2) попытку доказать то, чего я вовсе никогда не оспаривал, а именно, что на всех стадиях общественного развития экономический фактор играл в высшей степени важную роль; 3) попытку доказать, что этот самый экономический фактор является единственно и исключительно определяющей силой в известных случаях, на которые я указал, как на примеры недостаточности разбираемого метода и его неспособности об'яснить исторические образования во всей их целости.

Обратимся на момент к личным обвинениям в неточности и т. п. Что касается слова „покров“, то я должен признать, что память моя сыграла со мною злую шутку, заставив отнести это выражение к гуситскому спору о чаше (хотя, мимоходом замечу, я все еще убежден, что встретил это слово в приведенном мною смысле в каком-либо другом сочинении Каутского). К сожалению, я тогда был вынужден прибегнуть к своей памяти, так как у меня не было под руками экземпляра „Истории социализма“. Но заменить слово „покров“ словом „знамя“— смысл моей критики, ведь, от этого не меняется. Вопрос стоит так: допустим, что какой-нибудь влиятельный дворянин явился бы в лагерь гусситских повстанцев, чтобы предложить им свой совет и свое влияние и при этом заявил бы, что он—убежденный сторонник причастия под обоими видами, но в то же время—решительный противник социальных требований гусситов. И я спрашиваю: был ли бы он принят или прогнан большинством гусситского войска? Если, как я склонен думать, он был бы принят, то это, на мой взгляд, доказывало бы, что теологический спор о чаше все же был не просто „знаменем“. Ну, а если бы он был прогнан, то в данном случае, повидимому, прав Каутский.

Интересы и условия, конечно, не одно и то же, но, как я уже сказал, будучи рассматриваемы, как причины исторических движений, оба эти понятия во многих случаях совпадают. Интересы восходящего класса так же точно толкают данные условия производства и обмена к дальнейшему развитию в соответствующем направлении, как и наоборот. Конечно, экономические условия создают классовые интересы, но и в свою очередь классовые интересы создают экономические условия. Здесь мы снова имеем случай взаимодействия. Если я не мог изложить все это так ясно, как в том случае, если бы я располагал менее ограниченным местом, то все же я еще раз должен сказать, что негодование Каутского по поводу моего „прямо-таки чудовищного смешения понятий“ я нахожу несколько чрезмерным. То же самое я должен заметить относительно упреков Каутского по поводу моей „краткости“ и „неточности“. Если бы я располагал менее ограниченным местом, то, например, вместо выражения „истощение греческого духа“ я мог бы сказать: „упадок греческой цивилизации в ее творчестве и даже ее самосохранении одновременно во всех областях,—в народном хозяйстве, в политике, философии, математике, религии, искусстве и литературе“. Если бы я выразил факт истощения таким прозаическим, хотя и несколько скучным способом, я, вероятно, избежал бы, по крайней мере на этот раз, нападок со стороны Каутского, но дала ли бы эта большая точность что-либо читателю, я сильно сомневаюсь.

В первой своей статье Каутский обрушился на мое выражение: „отражение (экономических условий) в социальном сознании“. Почему, хотел бы я знать, не обрушивается он на Энгельса, когда тот говорит о религии, как о „фанатическом отражении в головах людей тех внешних сил, во власти которых находится их повседневное существование“ и т. д., или на Маркса, когда он в известном locus classicus говорит, что „определенные общественные формы сознания соответствуют совокупности производительных отношений данного общества“. Когда Маркс или Энгельс говорят об „отражении“ или о „формах сознания“, добрый Каутский под этим подписывается; когда же я употребляю подобное выражение, он находит его в высшей степени расплывчатым и непонятным.

Совершенно неосновательно обвиняет меня Каутский в том, будто я придал неправильный смысл проблеме о древней и современной Греции (с упоминанием имен Перикла и Аристотеля), которую он поставил в своей первой статье. Действительно, Каутский писал: „Но разве человеческий организм, его способность к мышлению, к художественному творчеству и т. д. сколько-нибудь заметно изменились на протяжении истории? Конечно, нет. Мыслительная способность какого-нибудь Аристотеля вряд-ли превзойдена, как не превзойдены также художественные способности древних греков. С другой стороны что изменилось во внешнем мире? Природа? Тоже нет: над Грецие

сияет то же самое голубое небо, что и в эпоху Перикла. Изменилось только *общество*, т.-е. в конечном счете—*экономические отношения;* и поскольку в природе и людях происходили изменения, они совершались под влиянием экономических отношений".

А я во второй своей статье сказал: „Каутский в сущности спрашивает, почему современные греки не выдвинули своего Аристотеля или Перикла и т. п., другими словами—почему современная Греция так резко отличается от античной; и он полагает, что существенные изменения испытали лишь экономические условия"...

Предоставлю теперь каждому, прочитавшему обе эти цитаты, решить, действительно ли проблема Каутского—„нечто *совсем иное*, чем поставленный Баксом вопрос". Сказать, что это—другой вопрос потому только, что я не дословно передал его,—без сомнения, черезчур сильно: можно, пожалуй, подумать, что отдельным словам Каутского присуща какая-то магическая сила. Если поставленная им проблема не совпадает с вопросом о том, по каким другим причинам, кроме изменения экономических условий, современные греки не выдвинули своего Аристотеля или Перикла,—то что же другое означает эта проблема? Я должен повторить, что мне кажется ниже достоинства научной дискуссии и ниже собственного достоинства Каутского так долго заниматься мелкими личными придирками и раздуванием микроскопической разницы в формулировке какого-нибудь положения. Каутский обладает достаточными способностями, чтобы с достоинством и блеском защищать свои взгляды, не прибегая к таким выпадам (иначе я этого назвать не могу), ибо, за одним единственным исключением, о котором я уже упомянул, все выставленные против меня Каутским обвинения в неточности основаны на подобных выпадах.

Мы переходим к более приятному и более полезному разбору содержания статьи Каутского по существу. И прежде всего я должен еще раз подчеркнуть, что я не противник материалистического понимания истории, как такового. Один известный сторонник направления Каутского как-то выразился, что ему было бы приятнее, если бы моя критика была направлена против общего метода. Это я прекрасно понимаю. Метод в своих собственных границах стоит так незыблемо, что, если бы я сделал попытку выступить против него, то Каутский без труда покончил бы со мной в одной небольшой статейке. Нет, я выступаю не против самого метода, а лишь против преувеличенного представления о его применимости, которое выражается в попытках дать с его помощью исчерпывающее об'яснение в таких областях, где он в состоянии дать лишь частичное об'яснение. Поскольку же Каутский определенно признает в общественном развитии, на-ряду с влиянием экономических процессов, также влияние отдельных людей, он уже сделал шаг в сторону отказа от односторонности своей точки зрения,—односторонности, которая еще больше проявляется в произведениях

Меринга и Плеханова. Если он теперь уже признает, что личность может не только чуточку ускорить или задержать данное развитие, но и творчески влиять на него, то он, конечно, делает тут большой шаг мне навстречу.

Напротив, я не могу согласиться с Каутским, когда он утверждает, что вопрос, „может ли—и как именно—идея влiять на общество, совпадает с вопросом, возможно ли это—и как именно—для отдельной личности“. Ограниченность места не позволяет мне подробно развить свои доводы, и я обращаю лишь внимание Каутского на то, что очень часто идея влияет на массы совершенно иначе, чем на отдельную личность. Выражение „дух времени“, являясь часто простым оборотом речи, все же имеет свое значение: общественное целое проникнуто особым духом, который, возникая, правда, в душах отдельных его членов, все же составляет совершенно своеобразный продукт, не сводимый к простой *сумме* этих индивидуальных душ. Впрочем, такое наблюдение не раз уже делалось на массовых собраниях, народных скопищах и тому подобных социальных явлениях. Я мог бы, пожалуй, кое-что сказать и о значении этого факта, но это не относится к разбираемому вопросу.

Что следует понимать под утверждением, что „идея есть только функция человеческого мозга“,—этого я не знаю: ведь, мозг и его функции вместе со всем познаваемым нами об‘ективным миром состоят не из чего иного, как из впечатлений нашего сознания, подведенных под определенные понятия, или, если угодно, под определенные „идеи“. Другими словами, идея в этом смысле составляет существенный элемент самого об‘екта (Universalia in rebus*). В этом пункте, кажется мне, Каутский заслужил сравнение с Мюнхгаузеном с гораздо большим правом, чем я в другом пункте, в котором Каутский применил это сравнение ко мне.

Только грубая и давно уже отвергнутая философией разновидность материализма утверждает, что мышление *есть* функция мозга. Мышление есть мышление, а функция мозга есть функция мозга,—и так оно всегда будет. В действительности материалисты своей формулой хотят лишь сказать, что мышление, с об‘ективной точки зрения, как определенное качество психологического об‘екта, следует считать неразрывно связанным с определенной формой материи. Как видно, в философии нашего друга Каутского покидает его любовь к точности.

Каутский не согласен, что экономические условия, с одной стороны, и человеческий дух—с другой могут, хотя бы даже только до известной степени, образовывать свои собственные ряды причин и

---

*) Формула так-называемого „умеренно-реалистического“ течения в схоластике. В то время, как „крайние реалисты учили“, что общие понятия (universalia) предшествуют вещам, а „номиналисты“—что общие понятия суть простые наименования,—„умеренные реалисты“ признавали имманентность понятий материальному бытию вещей. Отсюда формула: „Общие понятия в вещах“.

*Примеч. перев.*

следствий. Главный его аргумент против этого заключается в повторении остроты о Мюнхгаузене. Но мне думается, что ни одна острота, как бы знаменита она ни была, не может служить доказательством в научной дискуссии. И как бы ни обстояло дело с Мюнхгаузеном, совершенно ясно, что мысль или система мыслей может относиться, как причина, к другой мысли или к другой системе мыслей,—и так оно и бывает в духовном развитии человечества. В качестве примера я сослался на историю философии и при этом выдвинул даже, как пробный камень, определенные периоды. Что же делает Каутский? Вместо того, чтобы доказать, что история философии во всех ее основных идеях может быть целиком выведена из экономических условий, он говорит о разного рода интересных вещах, имеющих отношение к естествознанию (которое вовсе не относится к области философии в более тесном смысле слова) и к обществоведению. Что касается первого, то он берет мое выражение: „наблюдение явлений внешней природы“ и говорит, что с помощью простого наблюдения далеко не уйдешь. Но, право, Каутскому не следовало бы понимать мое выражение в таком чрезмерно ограниченном смысле. Я предполагаю, что у моих читателей достаточно беспристрастия и здравого человеческого рассудка, чтобы понимать слово или фразу не в натянутом, а в соответствующем всему контексту смысле. Само собой разумеется, что употребленное мною выражение: „*наблюдение*“ не исключало „*исследования*“, и, употребляя его, я имел в виду все методы индукции, которые в конечном счете все же основаны на *наблюдении* явлений природы.

Далее Каутский спрашивает, почему я не остановился на философии в ее применении к обществу. На это я отвечу: по той самой причине, по которой я лишь мимоходом упомянул о естествознании. Моей целью было—представить Каутскому такой случай эволюции мысли, который нельзя вывести из материальных оснований. Но как естественные, так и общественные науки представляют как-раз те области знания, которые теснейшим образом связаны с материальным и специально с экономическим развитием. Я же совершенно ясно говорил об основных проблемах философии (напр., о теории познания, об анализе форм сознания, о значении действительности вообще). Здесь я в качестве пробного камня выдвинул, напр., развитие философии от Декарта до Гегеля. Каутский даже и не пытался выполнить поставленную мною задачу, а все свои силы направил на доказательство того, что между техническим и научным прогрессом, между существующими общественными формами и одновременно возникающими или господствующими общественными и правовыми теориями существует тесная связь,—т.-е. на доказательство того, чего я никогда не оспаривал и не стал бы оспаривать. Как совершенно правильно писал мне по поводу статьи Каутского Гайндман, большую часть того,

что говорит Каутский, „мы оба вполне можем принять“. „Но,—прибавляет он,—мне кажется, что Каутский совершенно обходит важнейшие из поставленных вопросов и неправильно применяет свою собственную теорию“. Далее Гайндман приводит чистую математику, как разительный пример абстрактной науки, на развитие которой в ее основных моментах технический прогресс и экономические условия вовсе не влияли или, во всяком случае, оказали весьма слабое влияние. Но, не будучи математиком, я не могу подробнее останавливаться на этой стороне вопроса. Во всяком случае, как я уже сказал, Каутский не выполнил той задачи относительно истории философии, которую я ему поставил.

То же самое, что с эволюцией мысли, происходит и с экономической эволюцией. Можно было бы почти утверждать, что она совершается чисто механически, без заметного вмешательства в сущность процесса сознательного человеческого духа. Понятно, и в том и в другом случае мое утверждение имеет лишь относительный смысл. Мы говорим только об отдельных периодах, абстрагировав их от общего движения человеческой истории и, рассматривая эти периоды сами по себе, мы говорим лишь об их существенных элементах. Или, как я выразился, „причинные ряды обладают самостоятельностью лишь до известной степени“.

Никто не подчеркнул сильнее, чем пишущий эти строки, того обстоятельства, что до сих пор на всем протяжении человеческой истории „экономические условия“, употребляя выражение Каутского, были „господином“, а дух—„слугою“. Но в то же время я подчеркнул, что это отношение отнюдь не вечное, а должно измениться с уничтожением капиталистического строя. В развитом социалистическом обществе экономические условия раз навсегда будут подчинены человеческому уму и человеческой воле. Надеюсь, Каутский не станет оспаривать, что такого же взгляда держался и Энгельс.

Возражения, сделанные Каутским против моего утверждения, что от исторического метода мы вправе требовать, чтобы он „давал надлежащее об‘яснение всей человеческой жизни или, по крайней мере, руководящую нить к такому об‘яснению, ибо человеческая жизнь в целом развивается в истории“,—эти возражения Каутского мало смущают меня. Они гласят: „Функции человеческого организма—пищеварение, оплодотворение, деторождение,—ведь, тоже некоторым образом относятся к человеческой жизни в целом; но никто, конечно, не станет утверждать, что оне развивались в истории“. Я мог бы, конечно, на это ответить, что названные функции человеческого организма—пищеварение, оплодотворение, деторождение—составляют, правда, животную основу человеческого развития, но сами по себе оне могут считаться характерным признаком того об‘екта который мы сейчас исследуем, т.-е. развития человеческого общества, как такового. Само собой по-

нятно, что, когда я писал критикуемое Каутским место, я имел в виду, именно человеческое общество. Но я не хочу прибегать к такой аргументации. Я готов принять вызов Каутского и защищать против него мое положение даже в том смысле, какой *он* в него вкладывает. Я самым решительным образом утверждаю, что названные функции человеческого организма, развивались или, по крайней мере, изменялись на протяжении истории. Тема эта очень интересна и вполне заслуживает разработки со стороны компетентных людей. С своей стороны, я укажу лишь на то, что современные наши нравы и, отчасти, наша современная этика, свидетельствуют, без сомнения, о значительном изменении человеческого организма. Если бы речь шла не о том, чтобы опровергнуть меня, то Каутский, как правоверный материалист, вряд ли стал бы отрицать, что наши современные человеческие чувства, наша гуманность, наше сочувствие ко всему страдающему основаны на колоссальном отличии нашей нервной системы от нервной системы человека, скажем, в средние века. В подтверждение этого можно привести сотни фактов. Разумеется, это изменение человеческого организма имеет также свои теневые стороны. Какой из современных цивилизованных народов мог бы поспорить с менее развитой нервной системой средневекового или античного человека в выносливости по отношению к физической боли? Кто из нас мог бы, подобно Іерониму Пражскому, распевать церковные песни на костре? Это было бы просто физически невозможно—за исключением разве крайне редких случаев „игры природы“—а, между тем, прежде это, ведь, случалось, в различных степенях и видах, чуть ли не ежедневно. Что касается пищеварения, то какой современный желудок мог бы перенести средневековое меню без опасности для жизни? Далее, какая цивилизованная женщина могла бы, как это делают жены арабов во время передвижения каравана, родить, взять новорожденного на спину и пешком продолжать свой путь? Точно так же обстоит дело и с другими органическими явлениями. В данном случае Каутский, без сомнения, изменяет своему собственному материалистическому принципу, ибо если усложнение человеческого организма можно свести к изменившимся экономическим условиям, то точно так же утонченность наших чувств возникает из утонченности нашей нервной системы. В виду приведенных и многих других фактов такого же рода, возражения моего друга Каутского, думается мне, совершенно падают.

Каутский, конечно, прав, когда он говорит, что от теории не следует требовать больше того, что она сама хочет дать. Но главные представители марксова метода так упорно молчат о границах своей теории, что часто невольно кажется, будто, по их мнению, эта теория в состоянии об‘яснить весь исторический процесс. Если же она в действительности этого сделать не в состоянии, то в таком случае она представляет собою только одну сторону исторического метода, которая,

как бы важна она ни была, нуждается в завершении,—а ведь, это, именно, положение я и защищал на протяжении всей дискуссии [1]).

На брошенное мне Каутским обвинение по поводу „греческого“ вопроса, будто я навязал ему проблему, которой он никогда не выставлял, я уже ответил. Теперь я хочу несколько остановиться на существенной стороне этого вопроса,—и тут я должен сказать, что решительно не могу согласиться с утверждением Каутского, будто действительный упадок греческого духа совершился в четвертом веке до Р. Х. Он смешивает здесь высший пункт расцвета греческого творчества с сущностью греческой цивилизации и ее влиянием на человечество вообще. Лишь последнее имел я в виду. Я знаю, что нелегко точно определить границы великой исторической эпохи, но я, вероятно, не слишком ошибусь, если скажу, что греческий дух в более широком смысле этого слова господствовал над жизнью наиболее развитой части человечества, начиная приблизительно с шестого века до Р. Х. и кончая приблизительно шестым веком по Р. Х. Действительный упадок греческого духа, т.-е. тот момент, когда он уже совершенно явно не мог более удерживаться даже только на прежнем уровне, настал с окончательной победой христианства и с началом первого византийского периода,—того периода, когда греческий дух окаменел в старых формах, из которых уже исчезло живое содержание. Ограничивать деятельность греческого духа почти одним полустолетием, обнимающим жизнь Перикла,—на мой взгляд, педантично [2]).

Итак, для проблемы греческого упадка в том виде, как я ее себе представил, перселение народов произошло *не* слишком поздно, чтобы нельзя было считаться с его влиянием. Но если Каутский хотел ограничиться так называемым периодом Перикла, то он, конечно, был вправе это сделать. Но что он, собственно, дал своим решением проблемы хотя бы в этой весьма ограниченной форме? Он указал те, большей частью отрицательные, условия, в которых вырос целый ряд высоко одаренных людей. Тут я снова должен повторить, что я никогда не оспаривал внутренней зависимости между появлением великих художников и вообще людей, создавших великие произведения в духовной области, с одной стороны, и накоплением богатств благодаря цветущей торговле, благодаря господствующему политическому положению, словом, благодаря быстро развивающейся подвижной социальной жизни—с другой. Все это вполне верно и прекрасно, но это доказывает лишь существование необычайно благоприятной почвы, которая затем исчезла. Однако, это не дает нам никаких указаний относительно направления мышления,

[1]) Я допускаю, что слово „завершение“, пожалуй, более подходит, чем „исправление“, употребленное мною в моей первой статье.

[2]) Упоминание Каутского о Перикле и Аристотеле я понял в том смысле, что это—только высшие типы древне-греческого духа, того самого духа, который спустя целые века проявил себя—правда, не с такой творческой силой—в Плутархе или Лукиане, в научных и философских школах Александрии.

или относительно форм искусства, или, наконец, относительно сущности греческого духа вообще. Быть может, Каутский возразит мне, что он вовсе не ставил себе этой проблемы. С этим я могу согласиться; и, вообще, я отнюдь не думаю отрицать, что, если господствующие материальные условия той эпохи не в состоянии дать нам исчерпывающее об'яснение этой проблемы, то они все же могут дать некоторые ценные указания. Я лишь констатирую, что приведенные Каутским факты этого не делают.

„Или, может быть, Бакс,—говорит Каутский,—хочет сказать, что общественный организм—совершенно такой же организм, как животный, так что законы одного можно непосредственно перенести на другой?" Конечно, нет, но во многих случаях здесь можно провести довольно точную параллель, и это, как я утверждаю, относится также к случаю впадения народа в старость. Если это не вмещается в рамки теории Каутского, тем хуже для нее. История не знает примеров, чтобы народ, действительно состарившийся, „помолодел". Мне с трудом верится, что такой начитанный историк как Каутский, может защищать тот поверхностный взгляд, будто французская *нация* в царствование Людовика XV сильно состарилась—на том-де основании, что высшее и, главным образом, придворное общество стало разлагаться. Нация, выдвинувшая Вольтера, Гельвеция, Дидро, Д'Аламбера, Кондильяка, Боннэ, Тюрго, Мирбо, Биша, Лавуазье, не говоря уже о меньших светилах в области искусства, как Гретри или Буальде—в музыке, Давида или Ватто—в живописи! Нация, видевшая одним поколением раньше Корнеля и Мольера, бывшая для всей Европы очагом духовного движения восемнадцатого века,—такую нацию я, конечно, не могу назвать состарившейся.

Каутский не замечает, что под придворным обществом и высшей бюрократией была уже струя свежей жизни, что во многих кругах шло брожение и что более глубокие слои народа уже созрели для новой жизни. Общество, создавшее в одной только области социальной теории обширную утопическую литературу (см. статью Карла Гуго о Франции в „Истории социализма"),—такое общество менее всего кажется мне дряхлым. Видимую хилость тогдашнего общества, поскольку о ней может идти речь, следует скорее считать частичным и временным параличем, вызванным окаменелыми феодально-бюрократическими формами и гнетом сверху. Как только эти формы были разбиты, как только этот гнет прекратился,—жизнь нации снова распустилась пышным цветом. Если бы теория Каутского о закалке великой революции была, действительно, правильна, то это служило бы лишь блестящим примером влияния столь охаянного им „психологического фактора", как существенного фактора прогресса. Но и „психологический фактор" так же мало в силах, как и материальные условия, обновить действительно одряхлевшее общество. Оба фактора могут лишь, как natura

medicatrix, помогать выздоровлению временно больных социальных организмов,—что, действительно, и случилось в период французской революции. Как я уже сказал, старые окаменелые формы были разбиты, старый гнет уничтожен — под мощным влиянием всеразрушающего энтузиазма и новых идей, нашедших для своего воздействия благоприятную и уже созревшую материальную почву. Но „психологический фактор“ поставил себе слишком далекие цели, которым не соответствовала способность почвы к восприятию и которые либо вовсе не могли быть осуществлены, либо могли осуществиться лишь на короткое время принудительным путем, и то в несовершенной форме. Отсюда— реакция и дальнейшее развитие французской истории сообразно требованиям экономического состояния той эпохи. Таким образом, я решительно отрицаю самое существование того факта, который Каутский приводит против меня, требуя от меня его об‘яснения: действительно одряхлевший народ не может помолодеть.

Теперь мы переходим к самому обоснованному, на первый взгляд, из рассуждений Каутского—к его об‘яснению особенностей английского пуританства и связанного с ними специфического характера англосаксонских нравов вообще. Как известно, пуританство и сходные с ним идейные течения были в конце средних веков распространены отчасти среди сельского населения, особенно же сильно среди городской мелкой буржуазии. И вот Каутский говорит, что факт своеобразия и почти всеобщего господства этих воззрений и связанных с ними нравов в Великобритании об‘ясняется тем, что в период Commonwealth власть была в руках „демократических классов - мелких буржуа, крестьян, наемных рабочих“. Период, обнимавший в сущности одиннадцать или, самое большее, пятнадцать лет,—без сомнения, слишком короткое время, чтобы наложить свою печать на нравы нации на протяжении почти двух с половиной тысяч лет. Но действительно ли на протяжении этого периода власть находилась в руках названных классов? Каждый знаток английской истории должен ответить на это решительным *нет*. Классами, в руках которых находилась *власть*, были: часть более бедного дворянства, главным же образом средние земельные собственники (yeomen и countrugentlemen) и более богатые купцы, и городские ремесленники. Собственно крестьяне, мелкие буржуа и наемные рабочие никогда не стояли у власти: из их рядов выходило большинство левеллеров (Fifthmonarchymen, Digers) и тому подобных мелких сект, которые только подняли неудавшееся восстание и устроили несколько народных демонстраций, тотчас подавленных Кромвелем. И именно эти секты представляли в Англии „богемских братьев“, „перекрещенцев“, „менонитов“ и тому подобные секты, образовавшиеся на континтнте из тех же классов. Тот факт, что и другие, более могущественные и состоятельные классы также были проникнуты в значительной своей части пуританством, не находил

себе у Каутского никакого об'яснения. А, между тем, об'яснить следует именно это пуританское направление, нашедшее себе в Англии среди различных классов гораздо более широкое распространение, чем на континенте, и имевшее там гораздо более важные последствия. Но более того: это направление не только носило в Англии такой всеобщий характер, как ни в одной стране, оно было там также гораздо интенсивнее и гораздо последовательнее. Когда и где можно было бы, напр., среди пуританского населения Англии вообще, а тем более среди мелко-буржуазных сект, найти те пиршества, роскошь и блеск, которые украшали „царство божие“ в Мюнстере? Подобные вещи, без сомнения, были бы в глазах англичан того же направления чем-то папистским, языческим и даже богохульственным. Далее, какая из пуританских сект Англии стала бы открыто устраивать такие пиры и попойки, какие позволяли себе евангелические полчища немецких крестьян и мелких буржуа во время крестьянской войны? (Я цитирую случаи из истории Германии, так как принято считать, что в смысле серьезного и солидного образа жизни немцы ближе всего стоят к англичанам. Среди романских народов можно было бы, пожалуй, привести еще более яркие примеры).

Итак, на первый взгляд столь блестящее об'яснение Каутского, построенное им исключительно с помощью материалистического понимания истории, оказывается, при ближайшем рассмотрении, совершенно несостоятельным. Так что моя попытка об'яснить этот, до сих пор еще темный, факт особенностями этнического смешения,—оставляя в стороне вопрос о том, правильно ли такое об'яснение или нет,—не так уже глупа, как это угодно было представить Каутскому. Допустим, что смешение народов закончилось в начале средних веков, но разве станет Каутский отрицать, что какая-либо черта характера может долгое время оставаться в скрытом состоянии, пока особая комбинация внешних условий не заставит ее проявиться? В индивидуальной жизни мы встречаем это очень часто, и я не вижу никаких оснований, почему следует признать столь нелепым предположение, что и в жизни народа может случиться нечто подобное. А в этом, ведь, и заключалась моя гипотеза. Благодаря благоприятному развитию экономической почвы,—говорил я,—эта психологическая особенность народа созрела и вылилась в определенные формы. Но во всяком случае, независимо от того, прав ли я в этом пункте или нет, попытка Каутского дать чисто экономическое об'яснение своеобразных особенностей и всеобщего распространения в Англии пуританских идей и нравов совершенно не удалась.

Что же, в конце-концов, выдвинул Каутский против моих положений? Он согласился со мной, что „психологический фактор“, по крайней мере в лице отдельной личности, играет роль в историческом развитии человечества. Далее, он согласился со мной и в том, что

„экономические образования творят историю лишь в союзе с человеческим умом и волей“, причем, насколько можно судить, он не приписывает последним исключительно пассивную роль. Наконец, он соглашается со мной и в том, что смешение первоначальных народных качеств все же оказывает некоторое влияние на развитие человечества. Таким образом, как мне кажется, наши воззрения не так уже резко расходятся. По крайней мере, с тремя четвертями из того, что пишет Каутский, я согласен. Что же касается остальной четверти, то я утверждаю,—и я думаю, что я в праве выставить такое утверждение,—что ему нигде не удалось опровергнуть мою критику крайнего направления материалистического метода истории. Правда, он доказал много такого, чего никто не оспаривал (это, быть-может, тоже заслуга), как, напр., то, что высшие завоевания человеческого духа выросли на благоприятной почве быстро развившегося материального благосостояния. Духовное величие Греции он считает следствием быстрого экономического развития. Историк-идеалист, конечно, об‘яснил бы быстрое экономическое развитие природной подвижностью греческого духа. Я же, напротив, утверждаю, что ни один из обоих моментов не является исключительной причиной другого, так как оба они находятся во взаимодействии и представляют одновременно активные и пассивные части целостного конкретного развития.

Утверждение, что состарившаяся и даже отмирающая раса может снова помолодеть, я уже разобрал в связи с неудачным примером Каутского. Равным образом, его об‘яснение английского пуританства, кажущееся при поверхностном чтении весьма удачным, оказывается, при более внимательном рассмотрении, совершенно несостоятельным.

Я предоставляю об‘ективному читателю судить, что доказал против меня Каутский в своей статье. Вряд ли можно сомневаться, что ответ должен гласить (употребляя выражение Каутского): *„ничего, ровно ничего“*.

# КАРЛ КАУТСКИЙ.

## Утопический и материалистический марксизм.

Свое возражение Бакс начинает с указания на невозможность ответить в небольшой статье на все пункты, выдвинутые дискуссией.

Эту невозможность сознаю и я. Было бы, конечно, весьма интересно осветить тот метод цитирования „на память", которым пользуется Бакс, когда нужная книга „не оказывается под руками". Не менее интересно было бы ближе рассмотреть Баксов метод разрешения спорных исторических вопросов при помощи фантастических комбинаций (так, вопрос о том, была ли чаша для гусситов только знаменем, он пытается разрешить не ссылкой на факты, действительно имевшие место, а примером никогда не существовавшего дворянина). Но—мне приходится думать о краткости. Конечно, я не держусь того взгляда, что она оправдывает неточность в воспроизведении мыслей противника; она лишь требует, чтобы возражение ограничивалось *главными, существенными пунктами*.

Самым важным пунктом я считаю разграничение причин, придающих каждому особому явлению его особую форму, от законов, лежащих в основе всей совокупности определенного рода явлений. Обычные возражения критиков как против марксовой теории ценности, так и против материалистического понимания истории, основаны, главным образом, на смешении обоих этих, совершенно различных, элементов; и тем же характером отличается, на мой взгляд, „исправление" или „завершение" нашей исторической теории, предпринятое Баксом.

Выяснению этого пункта я посвятил особый отдел в своей последней статье и в заключение пришел к тому выводу, „что развитие общества и господствующих в нем воззрений отличается характером закономерности и что *основную причину* и *последнее основание* этого развития мы должны искать в развитии экономических условий. Каждой ступени развития экономических условий соответствуют определенные общественные формы и идеи. Важнейшей, *основной* задачей исторического исследования является изучение этих законов и зависимостей. Если это достигнуто, тогда уже сравнительно легко понять *особые* формы развития в данном *отдельном* случае".

Различие, на которое я тут указывал, прекрасно раз'яснено Марксом в третьем томе „Капитала" (2-ая часть, стр. 324—325 нем.

изд.): „*Самую глубокую тайну* и *скрытую основу* всей общественной конструкции и, следовательно, также политической формы суверенности и зависимости, короче—специфической формы государства в каждом данном случае, мы находим каждый раз в непосредственном отношении собственников средств производства к действительным производителям,—отношении, форма которого в каждом данном случае всегда соответствует определенной ступени развития способа производства и, следовательно, общественной производительной силы. Это не мешает тому, что один и тот же экономический базис—один и тот же по своим основным условиям—может, вследствие бесчисленного множества эмпирических обстоятельств, природных условий, рассовых отношений, внешних исторических влияний и т. д., обнаружить бесконечные видоизменения и оттенки, которые можно понять только посредством анализа этих эмпирически-данных обстоятельств“.

Отделение „скрытой основы“ общественного процесса в целом от „бесчисленного множества эмпирических обстоятельств“, обусловливающих данные его проявления,—вот основная трудность, которую необходимо преодолеть каждому, кто хочет справиться с материалистическим пониманием истории. Этот пункт я и старался выяснить прежде всего.

Но я боюсь, что мне все еще не удалось сделать его настолько ясным, насколько это необходимо. По крайней мере, Бакс в своем возражении касается самых побочных вещей и, напротив, совершенно игнорирует этот *главный пункт*. Он довольствуется голословным заявлением, что мы „на три четверти“ стоим на одной и той же принципиальной почве. И когда я указываю ему на то, что та материалистическая концепция истории, которую он мне приписывает, отнюдь не моя концепция, и что моя точка зрения просто потому кажется ему односторонней, что он не проводит различия между основой и поверхностью явлений,—тогда он с большим удовлетворением констатирует, что я „уже сделал шаг в сторону отказа от односторонности своей точки зрения“, а это значит—„большой шаг ему навстречу“.

Остается допустить, что если бы я доказал, что во всем написанном Баксом, нет ни одного верного слова, то он, пожалуй, нашел бы, что я совершенно отказался от своей односторонности,—что я подтвердил каждое его слово. Но если Бакс и уклонился от ответа на основной вопрос, то все же его рассуждения по поводу отдельных второстепенных пунктов ясно показывают, как мало мы в действительности друг к другу приблизились, как сильно и упорно держится Бакс за свое смешение основы явлений с их поверхностью.

В ответ на вопрос о причинах упадка духовной жизни Греции он указал на тот факт, что „греческий дух исчерпал себя“, и на другие такого же рода исчерпывающие факты. Я нашел, что это об‘яснение ровно ничего не об‘ясняет, и что, напротив, изучение

экономического развития Греции положительно заставляет нас признать, что одна экономическая революция вызвала духовный расцвет Греции, а другая, экономическая же, революция обусловила ее упадок. Что же возражает на это Бакс? „Все это вполне верно и прекрасно, но это доказывает лишь существование необычайно благоприятной почвы, которая затем исчезла. Однако, это не дает нам никаких указаний относительно направления мышления, или относительно *форм искусства*, или, наконец, относительно сущности греческого духа вообще.

Странное опровержение! Мое об'яснение расцвета и упадка греческого духа „вполне верно и прекрасно", но оно неудовлетворительно потому, видите ли, что оно не отвечает на четверть дюжины других вопросов, налету выбрасываемых Баксом.

Разумеется, если бы я захотел об'яснить формы греческого искусства, мне пришлось бы прибегнуть к совершенно иной аргументации, чем при разборе поставленного выше вопроса. Уже самый метод пришлось бы взять другой, ибо речь шла бы тут не об отыскании основной пружины общественного развития, а о познании многообразных причин, придавших отдельному, расположенному на поверхности, явлению его особые формы.

Если бы Бакс понял меня,—он не мог бы смешать воедино обе эти темы. Что для об'яснения поверхностных образований недостаточно одних экономических мотивов,—это я сам отметил.

Но Бакс думает, что именно там, где одних этих мотивов недостаточно, он призван явиться в роли спасителя со своим „исправлением" или „завершением".

Что это, однако, за исправление или завершение? Чем может помочь мне, при об'яснении форм греческого искусства, указание на „психологический фактор?" Тут необходим „анализ эмпирически данных обстоятельств". Например, чтобы понять особые формы греческой архитектуры, необходимо изучить эстетические традиции, которые греки принесли с собой, формы и краски, которые давала им природа и повседневная жизнь, влияние культурных народов, с которыми они вступали в сношение, особенности их строительного материала и их техники, наконец, быть может, еще некоторые рассовые особенности, а для отдельных произведений и течений искусства—также влияние отдельных выдающихся личностей,—и еще целый ряд обстоятельств.

Исправление, предлагаемое Баксом, излишне в тех случаях, когда мы ограничиваемся исследованием „скрытой основы" общественного процесса в целом; для об'яснения же поверхностных образований оно недостаточно, так как из бесчисленного множества моментов, имеющих сюда отношение, оно подчеркивает только *один* момент.

Таков итог наших принципиальных споров. Сказать об этом больше—невозможно, так как Бакс не остановился подробнее на этой стороне вопроса.

Но зато тем более плодовитым оказался Бакс в критике частностей. Он, естественно, думает: по плодам их познаете их. Если плоды ничего не стоят, тогда само собой ясно, что и ствол ни на что не годен.

Бакс доказывает это, во-первых, тем, что я не мог разрешить поставленную им задачу, и, во-вторых, тем, что те решения, какие я пытался дать в других случаях, оказались неудачны.

Первый признак слабости моей позиции он усматривает в отказе последовать его дружескому приглашению—представить тут же, мимоходом, материалистическую историю философии. И чтобы окончательно убедить читателя в моем поражении, он ссылается на письменное свидетельство своего друга Гайндмана *).

Приглашение Бакса напоминает мне аргумент Кювье, который потребовал от Ламарка, чтобы тот показал ему переходную форму от палеотерия к современной лошади, и когда Ламарк не мог этого сделать, Кювье об'явил теорию развития несостоятельной. Позже, правда, эта переходная форма была найдена в гиппарии. Но все еще существуют люди, придерживающиеся той же тактики и не желающие, напр., ничего знать о дарвинизме до тех пор, пока не будет найдено промежуточное звено между человеком и его животными предками. Почему-ж бы и Баксу не увидеть в том факте, что до сих пор еще не написана материалистическая история философии, разительный аргумент в пользу своей точки зрения?

Правда, я сделал некоторые указания относительно зависимости философии от материальных условий, но Бакса эти указания не удовлетворяют, ибо они относятся только к естественным и общественным наукам. „Как естественные, так и общественные науки представляют собою как-раз те области знания, которые теснейшим образом связаны с материальным, и специально с экономическим, развитием“, тогда как Бакс „совершенно ясно говорил об *основных проблемах* философии (напр., о теории познания, об анализе форм сознания, о значении действительности вообще)“.

---

*) Замечу здесь, кстати, что если Гайндман приводит математику как „разительный пример“ абстрактной науки, „на развитие которой *в ее основных моментах* технический прогресс и экономические условия вовсе не влияли или, во всяком случае, оказали весьма слабое влияние“, то этим он „побивает“,—насколько я понимаю в этом вопросе,—только действительную историю математической науки. „В чистой математике разум оперирует отнюдь не продуктами собственного творчества и воображения. Чистая математика имеет своим предметом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, следовательно—весьма реальную материю... Как все другие науки, математика возникла из *потребностей* людей, из измерения земли и емкости сосудов, из исчисления времени и механики“ (Engels, Anti-Dühring 1, 3). До чего тесная связь существует между историей чистой математики и историей *техники*, показывают имена великих математиков. Впрочем, даже Дюринг приводит чистую математику только как пример *возможности* априорных построений разума, следовательно, некоторым образом, как *исключение* в известной до сих пор истории наук, и при этом он еще запутывается в противоречии, не оставляющем, в конце-концов, ничего, кроме утверждения, что математика есть наука, которая, как-раз *за исключением своих основных моментов,* развивается вне зависимости от остального опытного мира,—следовательно, все еще очень далека от того, что о ней говорит Гайндман.

Пусть Бакс простит мне мою „придирчивость“, если я обращу его внимание на то, что он, правда, и говорил совершенно ясно о чем-то, связанном со словом „основной“, но вовсе не об „основных проблемах“. Он заявил, что историю философии никоим образом нельзя свести в ее *основных чертах* к экономическим причинам.

Каким же образом так неожиданно „основные черты“ истории философии превратились в ее „основные проблемы“? Да очень просто. Я показал, что развитие естествознания, как и общественных наук, обусловлено экономическим развитием, и этим я представил требуемое доказательство того, что историю философии в ее основных чертах можно свести к экономическим причинам, ибо „основные черты“ истории философии, без сомнения, теснейшим образом связаны с „основными чертами“ науки о природе и науки об обществе. Чем оспаривать это, несравненно легче превратить неожиданно вопрос об „основных чертах“ в вопрос об „основных проблемах“, а эти последние, в свою очередь, свести к одной только *теоретико-познавательной* проблеме, так как, ведь, анализ форм сознания и вопрос о значении действительности входят в ту же проблему.

Но даже эта основная проблема чистейшей философии имеет свои весьма материалистические корни. Нас завело бы это слишком далеко, если-бы я захотел показать, как, например, современное социальное развитие создало в философствующем классе, т.-е. в буржуазной интеллигенции, склонность к преодолению метафизического материализма; достаточно указать здесь на то, что возникновение и развитие современной теории познания самым тесным образом связаны с развитием современного естествознания и его техники. Что-бы делала теория познания без экспериментов и научных теорий нашей акустики и оптики, без физиологии органов чувств, без Гельмгольцев, Рокитанских, Целльнеров, Вундтов и др.! Связь эта настолько общеизвестна, что мне незачем на ней дольше останавливаться.

Но, конечно, как философ, я—только жалкий профан, которого „в философии покидает любовь к точности“,—„грубый материалист“, утверждающий, что мышление есть функция мозга, тогда как последний, вместе со всем миром, существует, ведь, только в нашем сознании.

Пусть читатель не боится, что я теперь начну дискуссировать этот пункт с Баксом, чтобы одним взмахом руки разрешить такой несложный спорный вопрос, как идеализм или материализм. Я позволю себе лишь обратиться к Баксу со следующим вопросом: Упадок греческого *духа* он об'ясняет смешением греков с другими племенами. Точно также пуританский *дух* он об'ясняет своеобразным смешением народов, имевшим место в Англии. Не значит ли это, что, по его мнению, дух есть продукт физической организации человека?

И в той самой статье, в которой он об'являет самым плоским материализмом мои слова о мышлении, как о функции мозга, он

заявляет, что „современные наши нравы и отчасти наша современная этика свидетельствуют, без сомнения, о значительном изменении *человеческого организма...* Утонченность наших чувств возникает из утонченности нашей нервной системы“.

Когда я говорил о мышлении, как о функции мозга, то отнюдь не имел намерения подымать философский спор, способный завести нас далеко от нашей темы. Я хотел лишь указать на то, что для нас, историков-материалистов, идеи, выступающие в истории, не обладают самостоятельным существованием, а связаны с человеческими головами, так что для нас „вопрос, может ли—и как именно—идея влиять на общество, совпадает с вопросом, возможно ли это—и как именно—для отдельной личности“.

Но с этим Бакс не может согласиться. К сожаленню, ограниченность места не позволяет ему „подробно развить свои доводы“, и он „обращает лишь внимание Каутского на то, что очень часто идея влияет на массы совершенно иначе, чем на отдельную личность“. В подтверждение он ссылается на наблюдения, которые можно сделать на массовых собраниях и пр.

Этот аргумент, действительно, веский, и я тем менее могу отрицать то явление, на которое с такой серьезностью обращает мое внимание Бакс, что сам я уже *четырнадцать лет тому назад* писал об этом явлении, которое, „хотя оно и *общеизвестно*, впервые, насколько мы знаем, введено в социологию и психологию Эспинасом. На стр. 361 своей книги об обществах животных он показывает, как страсти животных и людей возрастают в обществе. Один и тот же оратор совершенно иначе воодушевляет многочисленное собрание и малочисленное и в свою очередь сам гораздо больше воодушевляется первым“ и т. д. *).

Аргумент Бакса, следовательно, был мне хорошо знаком. И если я не считался с ним, то лишь по той простой причине, что к выставленному мною утверждению он *не имеет ни малейшего отношения.* Бакс снова совершает здесь qui pro quo, смешивая мое утверждение, что влияние идеи на общество означает влияние на общество отдельных личностей, носителей этой идеи—с утверждением, будто отдельная личность воспринимает идею совершенно так же, как масса.

И так как Бакс довольствуется этим аргументом, то мы, к сожалению, так и не узнаем, действительно ли он держится того взгляда, что влияние человеческого духа на общество совершенно отлично от влияния на него человека. А, между тем, узнать это было бы довольно важно для нашей дискуссии. Ибо Бакс теперь, как и прежде, утверждает, что и человеческий дух, и экономические условия „могут образовать свои собственные ряды причин и следствий“, по крайней

*) „Социальные инстинкты в мире животных“. (Первоначально было напечатано в „Neue Zeit“ за 1883 г. Русский перевод в изд. Львовича: „Очерки и этюды“. Примеч. перев.).

мере, „до известной степени“. Для человеческого духа это неопровержимо доказывается тем фактом, что я до сих пор еще не написал материалистической истории философии. Для экономического же развития это доказывается следующей классической фразой: „Можно было бы почти утверждать, что оно (экономическое развитие) совершается чисто механически, без заметного вмешательства в сущность процесса сознательного человеческого духа“. Можно было бы почти утверждать, что эта фраза вовсе ничего не говорит, если бы Бакс несколько раньше не выставил процитированного мною выше общего положения. Итак, я допускаю, что этой фразой Бакс хотел, действительно, что-нибудь сказать, а не просто пошутить.

Побробуйте теперь представить себе хотя бы самый коротенький отрезок экономического развития, совершающегося „без вмешательства сознательного человеческого духа“, т.-е.,—пока Бакс не даст нам лучшего определения,—без вмешательства человека. Что же такое экономические отношения? С одной стороны, отношения человека к природе, с другой—отношения людей между собою; но и в том, и в другом случае отношения людей. Как же могут такие отношения развиваться без всякого вмешательства людей? Притти к такой идее можно только стоя на почве того фетишизма, который в отношениях людей видит отношения вещей. Экономическое отношение не может существовать ни одной секунды без „вмешательства сознательного человеческого духа“. Только при посредстве последнего возникают, существуют и развиваются экономические отношения, из чего, конечно, не следует, что они всегда, или даже только в большинстве случаев, соответствуют *намерениям* „сознательного человеческого духа“. Это уже другого рода вопрос.

Непосредственно после своего утверждения, что экономическое развитие „до известной степени“ совершается без вмешательства человеческаго духа, Бакс заявляет: „Никто не подчеркнул сильнее, чем пишущий эти строки, того обстоятельства, что до сих пор *на всем протяжении человеческой истории* экономические условия, употребляя выражение Каутского, были „господином“, а дух—„слугою“.

Посмотрим, однако, что утверждал Бакс в своей первой статье, с которой и началась вся дискуссия. Вот что он там писал: „В каждом конкретном человеческом обществе мы находим *неразрывное* взаимодействие обоих этих элементов (материальных условий и человеческого духа)“. Перевес берет то один элемент, то другой. „Но даже в те эпохи, относительно которых сохранилось историческое предание, мы наблюдаем—и это столь же неоспоримо—определенные периоды с преобладанием „идеологического“ элемента“.

Итак материальные условия и человеческий дух находятся в *неразрывном взаимодействии*, но при этом „можно было бы почти утверждать, что экономическое развитие совершается механически, без

заметного вмешательства сознательного человеческого духа". Далее „никто не подчеркнул сильнее", чем Бакс, „того обстоятельства, что *на всем протяжении человеческой истории* экономические отношения были господином, а дух—слугою". Но „столь же неоспоримо", что „в определенные периоды человеческой истории" дух был господином и брал перевес над экономическим элементом.

Таково это, дополненное и исправленное Баксом, новое издание материалистического понимания истории,—и кто усматривает в нем совершенно несостоятельный эклектицизм, тот попадает из одного противоречия в другое, тот доказывает этим свое собственное философское невежество и свой плоский материализм.

На этом мы закончим философско-историческую часть дискуссии и перейдем к вопросу о практическом применении метода к об'яснению истории.

„Мне с трудом верится,—пишет Бакс,—что такой начитанный историк, как Каутский, может защищать тот поверхностный взгляд, будто французская нация в царствование Людовика XV сильно состарилась—на том-де основании, что высшее и, главным образом, придворное общество стало разлагаться... Видимую хилость тогдашнего общества, поскольку о ней, вообще, может итти речь, следует скорее считать частичным и временным параличем, вызванным окаменелыми феодально-бюрократическими формами и гнетом сверху".

Как видите, я совершил непростительную ошибку: я был настолько поверхностен, что говорил о *дряхлости* французской нации, между тем как диагноз в данном случае должен был совершенно ясно указывать на *паралич*. Симптомами болезни являются разложение придворного общества, гнет сверху, окаменелые формы.

А я полагал, что были еще и другие симптомы.

Франция в царствование Людовика XV пришла в полный экономический упадок; земледелие пришло в расстройство: один неурожай следовал за другим, и целая треть годной к обработке земли не возделывалась. Число нищих простиралось до миллиона, разбоев и грабежей нельзя было искоренить; в городах торговля и ремесла пришли в застой. Государство большими шагами шло навстречу банкротству, обираемое внутри, бессильное во-вне. Искусство регрессировало, и только литература—политическая, экономическая, противо-церковная,— литература *протеста* против всеобщего упадка все разрасталась. Она питалась сравнением „одряхлевшей" Франции с соседними цветущими свободными государствами—с Швейцарией, Голландией (со времени войны за независимость Соединенные Штаты тоже стали оказывать на Францию сильное влияние), особенно же с юношески расцветающей *Англией*. „На протяжении двух поколений, протекших между смертью Людовика XV и началом революции, не было почти ни одного сколько-нибудь выдающегося француза, который не посетил бы Англии, или,

по крайней мере, не изучил бы английского языка" *) Как современный научный социализм не является исключительно немецким продуктом, так и литература просвещения не была исключительно французским продуктом.

Теперь наши читатели могут сами ломать себе головы над тем, указывают ли приведенные выше симптомы больше на паралич или на дряхлость.

Бакс подымает еще другой медицинско-исторический вопрос. Он *„самым решительным образом"* утверждал, что *„человеческая жизнь в целом* развивается в истории". Я позволил себе несколько усумниться в этом и спросил бы, не развивались ли также в истории и функции человеческого организма—пищеварение, оплодотворение, деторождение. На это Бакс отважно отвечает, что он готов принять мой вызов: „Я самым решительным образом утверждаю, что названные функции человеческого организма развивались *или, по крайней мере, изменялись* на протяжении истории",—другими словами, наш отважный боец начинает защиту своей позиции с того, что перескакивает на другую позицию. *Изменение* и *развитие*—две различные вещи. Не всякое изменение есть развитие. Нас завело бы это слишком далеко, если бы мы захотели подробнее остановиться на этом пункте; достаточно сослаться хотя бы на то, что если я испортил себе желудок, то это означает *изменение*, но отнюдь не *развитие* функции пищеварения. Затем Бакс говорит о функционировании нервной системы, т.-е. о такой функции, которой я вовсе не называл, и, напротив, обходит молчанием историческое „развитие" оплодотворения. Я намеренно не упоминал о нервной системе, ибо это как-раз та часть человеческого организма, относительно которой скорее всего можно допустить, что она развивалась в истории. Выразиться об этом более решительно я не хотел бы, ибо область эта еще весьма темна. Несмотря на мой „правоверный материализм", мне не кажется столь несомненным утверждение Бакса, что „наши современные человеческие чувства, наша гуманность, наше сочувствие ко всему страдающему основаны на колоссальном отличии нашей нервной системы от нервной системы человека, скажем, в средние века". Ибо наша нервная система обнаруживает одну замечательную способность: стоит ей попасть в варварские условия, напр., в колонии, как она тотчас сбрасывает с себя все человеческие чувства и может поспорить в жестокости с варварами. Во всяком случае, относительно нервной системы мы можем, пожалуй, допустить, что в некоторых пунктах, вследствие растущего разделения труда, она получила иную форму, чем у первобытного человека. Здесь можно говорить о дифференцировке,—этом существенном признаке развития; напротив, мне неизвестно ни одного случая, чтобы в функциях „пищеварения, оплодотворения, деторождения" наступило в ходе культурного развития

*) Бокль: „История цивилизации".

какое-либо разделение труда. Что эти функции с каждой переменой образа жизни *изменяются*, ясно само собой; это имеет силу не только по отношению к пищеварению и деторождению, но и к оплодотворению. „Можно показать, что воспроизводительная система в чрезвычайно сильной степени чувствительна к перемене жизненных условий“ *). Но я, ведь, совершенно ясно говорил о *развитии*, а не об *изменении*.

Столь же неудачной, как в обоих этих случаях, оказалась моя попытка об‘яснить на основе экономики английское пуританство: мое „на первый взгляд столь блестящее об‘яснение оказывается при ближайшем рассмотрении совершенно несостоятельным“.

За неимением ничего лучшего, Бакс ухватился за мысль об‘яснить английское пуританство особенностями этнического состава английского народа. На это я возразил ему, что этническое смешение закончилось в двенадцатом веке, и, следовательно, вряд ли оно годится для об‘яснения пуританства, которое стало господствующим направлением в Англии только в семнадцатом веке. Но Бакса не так-то легко смутить. Недаром, ведь, он изобрел исторический метод: „допустим!“ „Разве станет Каутский отрицать, что какая-либо черта характера может долгое время оставаться в скрытом состоянии, пока особая комбинация внешних условий не заставит ее проявиться? В индивидуальной жизни мы встречаем это очень часто, и я не вижу никаких оснований, почему следует признавать столь нелепым предположение, что и в жизни народа может случиться нечто подобное. А в этом, ведь, и заключалась моя гипотеза“. Простите, товарищ Бакс, это вовсе не гипотеза, а простая догадка, приведенная для подтверждения другой догадки, ибо гипотеза должна опираться на определенные факты, а утверждение Бакса основано исключительно на следующем соображении: „Я не вижу никаких оснований, почему следует признать столь нелепым мое предложение“. Необходимо, конечно, согласиться, что возможны еще более нелепые предположения.

Разумеется, мы, материалисты, не в состоянии так легко и удобно разрешить этот вопрос, что является, конечно, веским аргументом против нашей исторической теории. Мы в основу всего кладем исследование конкретных условий, и оно-то указало мне на следующие факты: во-первых, „пуританство составляет необходимое мировоззрение определенных классов при определенных условиях. Если в средние века, с преобладающим господством натурального хозяйства, жизненное правило крестьян, мелких буржуа и наемных рабочих гласит: „живи и давай жить другим!“, то на пороге капиталистического способа производства эти слои впадают в мрачное пуританство, и, притом, тем в большей степени, чем быстрее совершается и глубже проникает экономическое и соответствующее ему политическое развитие и чем сильнее реакция низших классов против него“.

*) Дарвин: „Происхождение человека“.

Ошибка! сплошная ошибка!—заявляет Бакс и выставляет против меня попойки немецких крестьян во время крестьянской войны и „те пиршества, роскошь и блеск, которые украшали „царство божие“ в Мюнстере“. Такого рода явления были бы невозможны у пуританского населения Англии. Следовательно, английское пуританство было „гораздо интенсивнее и гораздо последовательнее“.

Как и в вопросе об „этническом смешении“, этот довод Бакса не вполне согласуется с хронологией. Попойки крестьян во время крестьянской войны в Германии более, чем на *столетие*, предшествуют пуританскому режиму в Англии. В то время крестьяне были еще значительно ближе к средневековому натуральному хозяйству, которое не только в Германии, но и в Англии придерживалось правила: „живи и давай жить другим!“ Томас Мор, живший в эпоху крестьянской войны, свидетельствует далеко не о пуританской строгости нравов в Англии, когда он в своей „Утопии“ ополчается против чрезмерной роскоши: „не только прислуга у знатных людей и ремесленники, но *даже крестьяне* и все прочие сословия бесстыдно тратятся на наряды и предаются чревоугодию“ и т. д. Потребовалось целое столетие капиталистического развития, чтобы пуританская строгость могла стать господствующим настроением демократических классов. Но для теоретика „этнического смешения“ столетия не имеют никакого значения, по крайней мере, в том случае, когда они ему не на руку.

Ну, а блеск „царства божия“ в Мюнстере? Не доказывает ли он, что немецкие перекрещенцы были гораздо менее пуритански настроены, чем их английские товарищи?—Нет, этот пункт доказывает лишь, что у Бакса и на этот раз не было под рукой „Истории социализма“. Ибо там доказано по первоисточникам и с неотразимой ясностью, что мюнстерские перекрещенцы были умерены во всех отношениях, что их мнимые „пиршества“ были весьма невинного свойства, а „роскошь и блеск“ служили только препровождением времени, придуманным для того, чтобы противодействовать томительности *осады* и вызванной ею подавленности духа. Эту „роскошь“, как и „королевскую“ власть, и многоженство, следует об‘яснить совершенно ненормальными условиями, созданными осадой. В „Истории социализма“ я самым резким образом выступил против тех буржуазных писателей, которые, в силу заинтересованности или ограниченности, провозглашают эти совершенно своеобразные черты „царства божия“ в Мюнстере—типичными чертами перекрещенства вообще, что в такой же мере противоречит фактам, как если наши противники об‘являют поджог Лувра к концу Парижской коммуны доказательством враждебного отношения социал-демократии к искусству. Когда я вскрывал эти тенденциозные искажения истории, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь социал-демократический писатель прибегнет к тому же аргументу, чтобы не отказаться от догадки, им однажды высказанной.

Пуританство немецких перекрещенцев можно считать столь же твердо установленным, как и жизнерадостность английских крестьян в эпоху крестьянской войны в Германии.

Второй факт, на который мне указали конкретные условия, таков: как-раз те слои, которые, как я нашел, повсюду проявили склонность к пуританству под влиянием общих социальных условий семнадцатого века, заняли тогда в Англии совершенно другое положение, чем в остальной Европе. В то время, как во всех остальных странах они были низведены на степень безвольных рабов абсолютизма, в Англии они оказались достаточно сильными, чтобы защитить себя от феодального абсолютизма и даже на время захватить власть в свои руки. Отсюда я уже легко об'яснил интенсивность и широкую распространенность в тогдашней Англии пуританского духа в противоположность остальной Европе.

„Но действительно-ли на протяжении этого периода власть находилась в руках названных классов (мелких буржуа, крестьян, наемных рабочих)? Каждый знаток английской истории должен ответить на это *решительным нет*".

Так ли? А в чьих же руках была власть во время революции? Бакс называет „часть более бедного дворянства, главным же образом средних земельных собственников (yeomen и countrygentlemen) и более богатых купцов и городских ремесленников".

Итак, во время революции власть была в руках „среднего землевладения", в руках yeomen и countrygentlemen. Но кто такие были эти yeomen? Как утверждает „знаток английской истории", это были „мелкие земельные собственники", сами обрабатывавшие свои собственные поля и обладавшие скромным достатком *), — следовательно — *крестьяне*. „Countrygentlemen" же, по словам того же знатока, был „обыкновенно тори", верный приверженец наследственной монархии. Городских ремесленников обыкновенно причисляют к мелким буржуа. Следовательно, сам Бакс признает, что во время революции власть была у крестьян и мелких буржуа; а что им *одним* принадлежала власть,—этого я никогда и не утверждал. Однако, среди господствовавших элементов английской революции Бакс забыл указать один, самый важный из всех: господствовавшую над всем *армию*, которая состояла из крестьян, мелких буржуа и *наемных рабочих* (учеников, ткачей домашней промышленности и др.) и которая защищала их общие классовые интересы.

Где можно, в виду этих фактов, отыскать „знатока английской истории", который на вопрос, была ли во время революции власть в руках названных классов, ответил бы „решительным *нет*". Мы должны допустить, что, когда Бакс писал это, у него, к сожалению, не было под руками книги об английской революции, и ему пришлось

*) Маколей: „Английская история" (в немецком переводе Лемке, стр. 245).

изобрести своего „знатока“ совершенно так же, как „покров“ и многое другое. Что республика существовала только одиннадцать лет,—это верно. Но так же верно и то, что провозглашенное этой республикой влияние буржуазных классов в Англии не прекратилось с реставрацией, а продолжало существовать в измененной форме и скоро снова окрепло до такой степени, что следующее поколение могло уже совершить „славную“ революцию, окончательно упрочившую конституционный режим.

Крестьянство за это время было в значительной мере уничтожено —пролетаризировано. Но зато выросший в то же время класс фабрикантов стал типичным представителем склонного к „отречению“—т.-е. бережливого—пуританина. Как изменяется его пуританство от поколения к поколению вместе с развитием промышленности, показывает, между прочим, сочинение д-ра Aitken, которого Маркс цитирует в XXII гл. I тома „Капитала“. Словом, английское пуританство выступает перед нами как историческое явление, которое господствует над общественной жизнью в той мере, в какой определенным классам, интересы которых оно выражает, удается наложить свою печать на общество.

После всего изложенного я предоставляю решить самим читателям, предпочитают ли они методическое об‘яснение исторических явлений, построенное на анализе конкретных фактов, об‘яснению, построенному на более или менее остроумных догадках.

К концу моего возражения против Бакса я перешел от прошлого к настоящему, чтобы придать нашей дискуссии более актуальный характер, и при этом указал на то, что „психологический фактор“, который Бакс хочет ввести в материалистическую концепцию истории, в сущности представляет собою ничто иное, как возврат к утопическому способу мышления; а где господствует утопизм, там и тактика, т.-е. все практическое поведение социалистов, испытывает на себе его вредное влияние.

Дискуссия почти никогда не приводит к тому, что один из противников признает себя побежденным или переубежденным. Ведь точка зрения каждого есть продукт всей его жизни, а те отношения, о которых идет речь при дискуссировании социальных вопросов, слишком сложны, чтобы в ходе дискуссии можно было исчерпывающим образом осветить все их стороны. Кроме того, дискуссия не всегда способствует выяснению истины и перед широкой публикой. От систематического изложения она отличается в невыгодную сторону тем, что отдельные пункты, именно, спорные пункты, чрезмерно выдвинуты в ней на первый план. Но, именно, в этом заключается и ее ценность, если она выступает *рядом* с систематическим изложением. Особенно же большие услуги она может оказать при выяснении нового учения. Ибо человеческий дух консервативен и всегда обнаруживает склонность

вносить в новое учение свои старые воззрения. Одного систематического изложения недостаточно, чтобы сделать понятным полное отличие нового учения от родственного ему старого. Здесь, в борьбе со старыми знакомыми и родственными явлениями, должна притти на помощь полемика. Так, „Капитал" был вполне нами понят лишь благодаря полемике с Дюрингом и опубликованию вновь почти забытой полемики с Прудоном. В настоящее время взгляды „Коммунистического манифеста" и „Капитала" нашли себе всеобщее признание в социалистическом движении, но прежний утопический способ мышления слишком близок и слишком могуществен, чтобы бессознательно не проявлять себя всякий раз снова. Необходимо поэтому всегда быть на страже, чтобы сделать для широких кругов отчетливо ясной разницу между этими, внешним образом родственными, но внутренне различными способами мышления. Как в свое время было необходимо провести грань между родбертусовским и марксовским социализмом, так в настоящее время нам кажется необходимым обратить внимание на различие, существующее между материалистическим и утопическим марксизмом.

Я охотно признаю заслугу Бакса: своим выступлением против нас он вызвал настоящую дискуссию и тем самым способствовал выяснению этой разницы. И как бы ни судить о результате дискуссии, одно можно считать твердо установленным,—именно, тот факт, что среди социалистов, признающих выводы маркс-энгельсовских работ, существует два течения, которые, оставляя совершенно в стороне индивидуальные различиб, встречающиеся внутри каждого течения, различаются между собою методом теоретического исследования, а иногда— и практической тактикой.

---

# ЖАН ЖОРЕС И ПОЛЬ ЛАФАРГ.

(ДИСКУССИЯ).

I.

## ДОКЛАД Ж. ЖОРЕС.

### Идеалистическое понимание истории.

Гражданки и граждане!

Прежде всего я обращаюсь к вашему терпению, так как в продолжение настоящего вечера мне придется занимать ваше внимание чисто теоретическими рассуждениями. Вместе с тем, мне хотелось бы уже заранее предостеречь вас от ложного понимания моих взглядов. Несколько месяцев тому назад я уже читал доклад по тому же вопросу, что и сегодня. Тогда я изложил материалистическое понимание истории, т.-е. то об'яснение хода исторического развития, какое дал Маркс. И исключительное свое вниманяе я тогда обратил на обоснование Марксовой теории, так что могло получиться представление, будто я безусловный последователь ее.

На этот раз я, напротив, хочу показать, что материалистическое понимание истории не исключает ее идеалистического понимания. И так как во время этого моего второго доклада могут быть упущены из виду те доводы, какие я в прошлый раз привел в пользу Марксовой теории, то я прошу вас—во избежание ошибочного представления о совокупности моих взглядов—дополнить и исправить одну часть моих рассуждений другой.

Несколько месяцев тому назад я показал, что все исторические явления и события могут быть об'яснены с точки зрения материалистического понимания истории, которое—отмечу это мимоходом—отнюдь не следует смешивать с физиологическим материализмом. Маркс вовсе не утверждал, что всякое явление в области мысли и сознания можно рассматривать как простую группировку материальных частиц. Напротив, и он, и позже Энгельс характеризовали этот взгляд как чисто метафизический, не основанный на научных данных.

Материализм Маркса не следует также смешивать с так называемым этическим материализмом, т.-е. с тем учением нравственности, которое подчиняет всю человеческую деятельность основной цели удовлетворения физических потребностей и достижения личного благополучия. Напротив. Вспомните, какую оценку дает Маркс в „Капитале“ английскому утилитаризму, вспомните, с каким презрением отзывается он о тех теоретиках утилитаризма, которые, подобно Бентаму,

утверждают, что человек во всех своих поступках постоянно и сознательно руководится лишь своим личным интересом,—и вам станет ясно, что материалистическое понимание истории не имеет ничего общего с этическим материализмом. Больше того, теория Маркса является прямой противоположностью материализма этого сорта. Маркс полагает, что чувства и мышления людей определяются господствующими в данном обществе экономическими отношениями; поэтому поведение отдельного человека обуславливается, с его точки зрения, силами общественными—коллективными, историческими,—могущество которых далеко превосходит силу эгоистически-индивидуальных мотивов. Согласно его теории, существенную основу и конечную движущую силу исторического развития составляют экономические отношения, т.-е. отношения, в которые люди вступают между собой в процессе производства.

Характер общества, его воззрения на жизнь, его мораль, общее направление его деятельности—находятся в зависимости от господствующей в нем формы экономической жизни. Более того, людьми руководит не абстрактная идея справедливости или права; они приходят в движение благодаря тому, что в определенный исторический момент существующий у них общественный строй под, влиянием изменений в производственных отношениях, оказывается непрочным и должен измениться, уступить место другому строю. И эта замена одной экономической и общественной системы другой—например, антропофагии рабством—естественно влечет за собой соответственные изменения в политических, моральных, эстетических, научных и религиозных воззрениях. Таким образом, по теории Маркса, способ организации экономической жизни есть основная пружина исторического развития.

Название „материалистическое понимание истории“ эта теория носит потому, что по ней в мозгу человека нет готовых абстрактных идей,—в нем лишь отражаются общественные отношения.

Против материалистического понимания истории выступает, в разнообразных формах, идеалистическое ее понимание, которое я определяю следующим образом: это есть воззрение, по которому человечество с первого момента своего существования обладает какой-то смутной идеей, предчувствием своего развития и своего назначения.

Еще до всякого исторического опыта, еще до развития и укрепления той или другой экономической системы, человечество само в себе носит зародыш идеи, права и справедливости, и к этому априорно данному идеалу оно стремится, развиваясь от низшего первобытного состояния до высших форм цивилизации. Человечество прогрессирует не вследствие механического и автоматического изменения способа производства, а под более или менее ясно ощущаемым влиянием этого идеала.

Таким образом, сама идея становится движущей силой исторического прогресса, общественного развития; не интеллектуальные воззрения являются следствием экономических фактов, а, наоборот, экономические факты лишь воплощают, все более и более, в действительную жизнь и в историю идеал человечества.

Таково в общих чертах идеалистическое понимание истории, несмотря на все многообразие форм, которые оно принимает в различных философских и религиозных системах.

Но обратите внимание, граждане: материалистическое и идеалистическое понимания истории, которые кажутся столь противоречащими, которые как-будто исключают друг друга, на самом деле примиряются и почти сливаются в сознании современного общества. Действительно, в настоящее время нельзя встретить ни одного идеалиста, который не согласился бы, что высший идеал человечества не может быть реализован без предварительного экономического преобразования общества; и, с другой стороны, отень немного найдется таких последователей материалистического понимания истории, которые отвергали бы совершенно идею права и справедливости, которые в коммунистическом обществе будущего видели бы только фатальное следствие экономической эволюции, а не приветствовали бы в нем также высшее осуществление права и справедливости.

Есть ли в этом противоречие? Всегдашним стремлением Маркса было—сохранить свое учение во всей его чистоте и цельности, и потому он встречал насмешками всякого, кто на подмогу экономическому развитию и социалистическому движению думал привлечь чистую идею справедливости; он смеялся над всяким, кто, как он выразился, „хочет набросить на историческую действительность, на тело фактов особого рода вуаль, сотканную из тончайших нитей диалектики, с обшивкой из риторических цветов, обрызганных сентиментальной росой“.

Нашей задачей является—исследовать, возможен ли теоретически синтез материалистического понимания истории с идеалистическим,—такой синтез фактически осуществлен во Франции, благодаря, быть может, слепому инстинкту социалистического сознания,—или между этими двумя системами существует непримиримое противоречие; принуждены ли мы сделать выбор между ними, или логика и разум дают нам право рассматривать их как две различных стороны одной и той же истины.

Но я считаю невозможным приступить к разрешению этого частного вопроса, не выяснив предварительно более общего вопроса о человеческом познании, как он ставится современной наукой. С моей точки зрения, усилия человеческой мысли вот уже четыре столетия, с эпохи возрождения, направлены на то, чтобы примирить, дать синтез того, что раньше считалось противоречивым и противоположным: это—

отличительная черта, самая характерная особенность всякого философского и умственного движения.

Эпоха возрождения столкнулась с противоречием между глубоко вкоренившимся духом христианства, с одной стороны, и возродившимся духом античной древности—с другой, и это противоречие на первый взгляд казалось неразрешимым. Античный дух означал культ, обожание природы, а дух христианства, напротив,--осуждение, отрицание природы.

И мыслящие люди в конце средних веков очутились лицом к лицу с духовным наследством, полным противоречий,—с дуализмом, который приходилось примирить и привести к единству.

Эта задача еще больше осложнилась под влиянием развития научного духа и успехов, достигнутых опытными науками: серьезное и положительное изучение явлений природы, приложение механики и математики к изучению сил природы сорвали с нее то таинственное покрывало живой божественной красоты, которое придавало ей особый смысл в глазах античного человека.

Приходилось, с одной стороны, примирить понимание природы, свойственное античному миру, с христианским взглядом на нее, а с другой—примирить природу, как ее понимала новейшая наука,—природу, которая представляет простую цепь явлений, с свободным стремлением человеческого духа.

Декарт первый приступил к разрешению этой проблемы. Опираясь на свой замечательный метод, он начал с того, что замкнулся, как христианин, во внутреннюю жизнь своего сознания и отверг внешнюю жизнь и природу, как нечто стоящее под вопросом, как призрак. Исходя всецело и исключительно из факта мышления, он вывел из него идею Бога и, таким образом, отвел особое место сознанию и Богу, что и составляет, вместе с отрицанием природы, характерную черту христианства.

Но, найдя, таким образом, первую достоверную истину и первый достоверный метод, Декарт не ушел весь, подобно христианину, в область внутренней жизни своего духа, а обратился к познанию природы. Таким образом, пережитая им стадия христианского миропонимания послужила лишь переходом к положительной науке, основанной на опыте и дедукции.

У Лейбница мы видим то же стремление—привести к единству человека и природу; он видит во всем, даже в чисто материальных силах и явлениях, даже в столе, который стоит перед нами, и в земле, по которой мы ходим,—нечто родственное нашему духу; в гармонических и математически-точных соотношениях, проявляющихся в законах физики и в химических комбинациях, он видит то же стремление к красоте, что и в человеческом духе. Таким образом, и у Лейбница мы находим примирение универсального детерминизма—необходимости всего совершающегося—с универсальной свободой.

С одной стороны, он утверждает, что в мире нет движения, которое не было бы неизменно связано с другими движениями. Колебание воздуха, которое я сейчас произвожу своим голосом, есть следствие бесконечного ряда предшествовавших движений и, в свою очередь, будет вечно длиться: оно незаметно приведет в движение стены этого зала, а через них—атмосферу земного шара, и затем оно перейдет в неизвестные еще нам формы движения, которого ничем нельзя остановить. Таким образом, мы не можем произвести ни малейшего движения, не можем тронуть песчинки, не нарушая этим равновесия всего мира в целом.

Но, с другой стороны, хотя эта тесная связь между движениями, явлениями и фактами универсальна и бесгранична, все же нет ни одной силы, которая действовала бы под влиянием извне. Когда один биллиардный шар сталкивается с другим, этот последний приходит в движение, но лишь в той мере, в какой это определяется известными законами эластичности, свойственной самому шару. Движение, вызванное, повидимому, внешним толчком, на самом деле определяется извнутри, совершается самопроизвольно. Повсюду, наряду с зависимостью вещей друг от друга, проявляется их абсолютная самопроизвольность, их безграничная самодеятельность.

У Спинозы мы находим то же примирение природы и Бога, факта и идеи, силы и права.

Для Канта, как известно, вся задача философии и заключается в том, чтобы найти синтез противоречивых положений, волнующих человеческий ум: бесконечен ли мир или ограничен? бесконечно ли время или ограничено? ограничена ли цепь причин или нет? подчинено ли все универсальной и непреклонной необходимости, или в мире остается место для свободы человеческих поступков?

Между этими тезами и антитезами, утверждениями и отрицаниями колеблется человеческий ум. И сущность кантовской философии сводится к стремлению примирить эти основные антиномии, найти разрешение этих противоречий.

Наконец, Гегель свел в одну формулу результаты этой долгой работы мысли. Истина, по его мнению, заключается в противоречии. Кто выставляет какое-нибудь положение, не противополагая ему его антитезы, тот ошибается, тот является игрушкой ограниченной, обманчивой логики. В самом деле, в природе, в действительности, противоположности переплетаются друг с другом; так, например, конечное переплетается с бесконечным; эта часть поверхности ограничена, но в пределах ее я могу начертать бесконечное число фигур. Поэтому, если вы утверждаете, что эта часть поверхности ограничена, вы высказываете только часть истины и постольку неправы: данная часть поверхности одновременно ограничена и бесконечна.

Точно так же ошибаетесь вы, если отделяете мир идей от мира действительности.

Обыкновенно полагают, что все существующее, уже в силу самого факта своего существования, отклоняется от идеала, так что не существует ни абсолютной красоты, ни абсолютной истины; идеал—только понятие, которое не может воплотиться в действительность, не теряя своей абсолютности. Это совершенно произвольное и ложное представление. Все идеальное необходимо находит свое выражение в действительности. Нет такой разумной идеи, которая не воплотилась бы в действительность, и нет такого факта действительной жизни, который нельзя было бы свести к определенной идее, которому нельзя было бы дать разумного об'яснения.

Эта замечательная формула синтеза противоречий, примирения противоположностей путем сведения их к высшему единству реального и идеального—имела глубокое влияние на человеческую мысль.

Мы не говорим уже больше, что тот или иной исторический период был периодом варварства. Напротив, мы говорим: все, что существует, и все, что существовало, именно, потому, что оно существует или существовало, имеет свое разумное основание и свое историческое оправдание, но оно не является разумом во всей его полноте.

Последователям Маркса совершенно излишне напоминать, что он был духовным учеником Гегеля; он сам заявляет об этом в предисловии к „Капиталу". Что же касается Энгельса, то он уже на закате дней своих снова обратился к основательному изучению Гегеля. Констатируя классовый антагонизм между пролетариатом и классом капиталистов, Маркс дает блестящее приложение учения о противоречиях. Именно потому, что этот антагонизм порожден капиталистическим строем, строем войны и раздоров, именно поэтому он подготовляет новый строй мира и гармонии. Это соответствует старой формуле Гераклита, которую Маркс любил цитировать: „Мир—лишь форма войны, война—лишь форма мира,—и не следует противоставлять одну форму другой: сегодняшняя борьба есть лишь начало завтрашнего примирения".

Современная мысль о тождестве противоречий находит себе выражение также и в другом замечательном воззрении марксизма. Человечество до сих пор как бы находилось во власти бессознательных исторических сил; не сами люди свободно движутся вперед, к прогрессу,—их толкает экономическое развитие; они думают, что творят историю, а на самом деле за их спиной, без их ведома, совершаются изменения экономической жизни, которые и обусловливают деятельность человека. В этом отношении человечество похоже на уснувшего пловца, которого уносит течение реки: он весь во власти течения и не отдает себе даже отчета в направлении, по которому плывет, но, пробуждаясь время от времени, он замечает, что ландшафт кругом изменился.

Но когда общество будет перестроено на началах социализма, когда исчезнут классовые противоречия, и все общество будет владеть орудиями производства, пользуясь ими для всестороннего удовлетворения наличных потребностей своих членов,—тогда человечество выйдет из того долгого периода бессознательного развития, периода полной зависимости от слепой силы событий, в каком оно находилось много веков. Тогда оно вступит в новый период развития: человек освободится от власти вещей и сам будет свободно управлять ими. Но эта наступающая эра полного сознания и полной ясности стала возможна только благодаря долгим векам мрака и бессознательного развития.

Если бы люди захотели уже на заре исторического развития направлять ход событий по определенному плану, то они бы только бесцельно растратили движущие силы будущего развития. Желая слишком рано действовать с полным сознанием, они сами отняли бы у себя возможность когда-нибудь так действовать. С ними случилось бы то же самое, что с ребенком, у которого сознание и мысль пробудились преждевременно на счет бессознательного развития органической жизни и который в более позднем возрасте неспособен правильно мыслить, именно потому, что слишком рано стал мыслителем.

Для Маркса это бессознательное общественное развитие есть необходимое условие и подготовительная ступень сознательной жизни человечества в будущем, и, таким образом, в истории примиряется также и это противоречие, имеющее огромное значение.

И вот, я спрашиваю: нельзя ли, оставаясь верным духу марксизма, развить еще дальше этот метод примирения противоречий, не следует ли попытаться примирить исторический материализм с идеалистическим пониманием истории?

Ни одного философского вопроса нельзя разрешить, не сговорившись предварительно относительно общих философских воззрений. Поэтому мне приходится еще остановиться на выяснении основного характера искомого мною примирения между материалистическим и идеалистическим пониманием истории.

Моя мысль заключается не в том, что каждая из этих концепций истории имеет исключительное применение к определенному историческому периоду. Я не придерживаюсь того мнения, будто одна часть исторического развития подчинена экономической необходимости, а другая—чистой идее права и справедливости; мне и в голову не приходит разделить историю перегородкой на две части, чтобы, таким образом, разграничить сферу применения материалистического и идеалистического понимания истории. Нет, я утверждаю, что обе эти концепции должны проникать друг друга на подобие того, как в органической жизни человека друг друга проникают механика мозга и свободное сознание.

Всякому движению в мозгу соответствует известный акт сознания, ясный или смутный, и, наоборот, всякому акту сознания соответствует то или иное движение в мозгу. И если бы можно было раскрыть мозг и проследить всю бесконечную сложность движений, до едва заметных вибраций, которые в нем происходят, сплетаясь и переходя одно в другое,—тогда мы могли бы, следя за физиологическими процессами, конструировать всю душевную работу человека, все его мысли, воззрения и стремления; и, однако, между физиологическими и психологическими процессами существует, повидимому, противоречие, которое разрешается для нас только незаметно самою жизнью.

Чем определяется моя мысль в тот момент, когда я говорю?

Она определяется другой мыслью, которая ей предшествует и с которой она логически связана. Все мои мысли находятся между собой в определенной логической связи,—безразлично, служит ли такой связью сходство, противоположность или причинность. Таким образом, в сети моих мыслей как будто проявляются одни только логические силы, и вся текущая деятельность моего сознания определяется как будто лишь предшествующим состоянием сознания же.

Я произношу в данный момент слова, и мысль, которую я ими выражаю, определяется целою цепью предыдущих мыслей; но она определяется также некоторой идеей будущего,—тем намерением, которое я имею в виду, той целью, которую я вижу перед собой. Я направляю мои мысли в то или другое русло в зависимости от той цели, которую я преследую. Таким образом, мысль моя в каждый данный момент определяется одновременно цепью предыдущих мыслей и идеей будущей.

Совершенно иначе обстоит дело с физиологически-механическими процессами, совершающимися в нашем мозгу. Тут всякое движение, соответствующее моей мысли, определяется исключительно предыдущим движением.

Таким образом, наша жизнь есть одновременно жизнь физиологическая и сознательная, механическая и самопроизвольная. В то время, как в цепи движений мозговых частиц всякий момент определяется исключительно предыдущим, в цепи идей и представлений всякий момент, повидимому, определяется также и будущим.

Можно было бы, поэтому, сказать, что существует абсолютное противоречие между теми законами, по которым функционирует жизнь мозга, и теми, по которым совершается сознательное развитие наших идей и представлений.

Но, несмотря на это кажущееся противоречие между тем и другим рядом процессов, их можно примирить в высшем единстве: нет ни одной мысли, которой не соответствовало бы движение мозга, и, с другой стороны, нет ни одного движения в мозгу, которому не соответствовал бы хотя бы зародыш мысли.

То же самое происходит и в истории: все исторические явления и события можно об'яснить экономическою эволюцией, но в то же время движущую силу развития можно видеть в постоянном стремлении человечества к высшей форме существования. Чтобы представить разбираемый вопрос в более ярком свете, я хочу выяснить, в чем, с моей точки зрения, заключается проблема и каких об'яснений я должен потребовать от теоретиков марксизма.

Маркс говорит: Человеческий мозг не создает сам из себя идеи права, которая в таком случае была бы бессодержательной формой; вся интеллектуальная и моральная жизнь человечества есть лишь отражение экономических явлений в человеческом мозгу.

С этим я согласен. Конечно, все развитие интеллектуальной, моральной и религиозной жизни человека есть лишь отражение экономических явлений в человеческом мозгу. Но вместе с тем существует, ведь, как некоторое предварительное условие, человеческий мозг, со всеми его способностями.

Человечество является продуктом долгой физиологической эволюции, которая предшествовала исторической эволюции. Когда, благодаря этой физиологической эволюции, человечество вышло из животного состояния, в мозгу его уже были известные наклонности и способности.

В чем оне заключались?

Прежде всего следует отметить то, что я назвал способностью к бескорыстным чувствам. Чем выше ступень развития животной жизни, тем все в большей мере чисто эгоистические чувства постепенно подчиняются чувствам эстетическим и бескорыстным. На низших ступенях животного царства зрение и слух мало развиты; напротив, сильно развиты чувство обоняния, способность хватать, вкус, т.-е. те чувства, которые непосредственно нужны для овладевания добычей и которые служат преимущественно удовлетворению физических и эгоистических аппетитов. На более высоких ступенях животного царства зрение и слух развиты сильнее. Конечно, глаза тоже служат животному для выслеживания добычи, но, благодаря им, животное видит также целый ряд других образов, не возбуждающих непосредственно его животного аппетита. Точно также и слух, конечно, помогает животному находить след добычи и предостерегает его от угрожающей опасности, но вместе с тем, благодаря слуху, животное воспринимает целый ряд гармонических звуков, не имеющих непосредственного отношения к его аппетиту или к его безопасности. И, таким образом, благодаря зрению, воспринимающему пестрый ряд образов, не связанных непосредственно с физическими потребностями животного, благодаря слуху, воспринимающему множество гармонических звуков, не служащих непосредственно удовлетворению этих потребностей, животные научаются понимать мир не в одной только форме борьбы за существование. Животное замечает уже блеск солнца и радуется ему; оно ощущает уже потребность

в созвучии, удовольствие от всего мелодичного и гармоничного. На основе чисто-эгоистических проявлений органической жизни постепенно развиваются чувство красоты, бескорыстные эстетические ощущения и влечения. В глубине первобытного леса, полного самых разнообразных звуков и самой причудливой игры световых лучей, животное научается понимать красоту мира.

Кроме этой способности, которая образовалась у первобытного человека-животного к началу той долгой экономической эволюции, которую ему предстояло проделать, он обладал еще другой способностью, пробудившейся еще у животных,—способностью выводить общее из частного, отвлекать сходственные родовые черты от индивидуальных различий.

В других индивидах, с которыми человек, животное сталкивается и, благодаря условиям своего экономического развития, вступает в определенные отношения, он видит не только ряд полезных или враждебных сил, но и сходные с собой существа. У него пробуждается первое движение симпатии, которое дает ему возможность, по аналогии с собственными переживаниями, угадывать и чувствовать радость и страдание ближнего. Это чувство симпатии с самого начала проявляется наряду с животным эгоизмом, и оно подготовляет братское примирение всех людей после вековой борьбы их между собой.

Наконец, человек с самого начала, еще до того, как он научился выражать свои мысли, обладал стремлением к единству. Первым шагом по пути его интеллектуального развития было сведение своего сущего—всех форм, всех сил—к смутно еще сознаваемому понятию единства. Можно поэтому утверждать, что человек с самого начала был животным с метафизическими наклонностями, ибо сущность метафизики и заключается, ведь, в стремлении к такому единству, которое обнимало бы все явления, все процессы, все законы.

Что такое стремление к единству действительно существовало у первобытного человека, лучше всего доказывается образованием языка, выражающего, с помощью иерархии слов, иерархию идей, обнимающих одна другую.

Подведу итоги всему сказанному.

Я соглашаюсь с Марксом, что все развитие человечества есть лишь отражение экономических явлений в человеческом мозгу, но к этому я добавляю, что сама экономическая жизнь подвергается влиянию основных сил этого мозга, которые проявляются в форме чувства красоты, бессознательной симпатии и инстинктивного стремления к единству.

Я считаю нужным еще раз обратить ваше внимание на то, что психическим способностям я не отвожу места *рядом* с экономическими силами: я далек от мысли восстановить ту теорию соединения нескольких исторических факторов, которую так беспощадно разбил

мой друг, Габриэль Девиль. Но я утверждаю, что явления экономической жизни не могут проникнуть в человеческое сознание, не приводя одновременно в движение те примитивные психические силы, которые я подверг анализу. Вот почему я не могу согласиться с тем положением Маркса, что все религиозные, политические и моральные понятия представляют лишь отражение экономических явлений. Между основными свойствами человеческой психики и экономической средой замечается столь тесное взаимодействие, что невозможно отграничить экономическую жизнь от моральной. Но, ведь, для того, чтобы подчинить одну другой, необходимо предварительно резко разграничить их, а это невозможно. Подобно тому, как нельзя разрезать человека на две части и тем отделить его органическую жизнь от жизни сознания, совершенно так же невозможно разрезать историческое человечество на две части и отделить его идеологию от экономической жизни. Такова моя точка зрения в данном вопросе, и частичное ее подтверждение я нахожу в греческой философии.

Греки об'единяли в одной концепции явления экономической жизни и явления природы. Такую всеоб'емлющую концепцию мы находим у Гераклита, Эмпедокла, Анаксимандра; они в единой формуле устанавливают связь и противоположность всех элементов,—безразлично, будут ли то *элементы природы* (тепло и холод, свет и мрак), или *элементы физиологического орга изма* (здоровье и болезнь), или, наконец, *элементы духовной жизни* (совершенство и несовершенство, равенство и неравенство). Противоречия, наблюдаемые в природе, и противоречия общественные стоят у них на одной ступени. Гераклит употребляет одно и то же слово „Kosmos“ как для обозначения мирового порядка, проистекающего из примирения противоречий природы, так и для обозначения государственного строя, осуществляемого путем согласования стремлений противоположных партий. В одном умозрении греческие мыслители охватили мировой порядок, возникший из первобытного хаоса, и государственный порядок, развивающийся из социального хаоса.

К сожалению, я могу лишь вкратце остановиться на этой стороне вопроса. Поэтому я ограничусь сказанным.

Теперь я предлагаю теоретикам марксизма ответить на следующий вопрос: как смотрят они на направление экономического, а вместе с тем и всего человеческого развития?

Нельзя же ограничиваться утверждением, что одна форма производства сменяет другую; нельзя ограничиться утверждением, что рабство сменило антропофагию и само уступило место крепостничеству, что последнее сменилось наемным трудом, который, в свою очередь, заменится коллективизмом и коммунизмом. Нет, нужно еще ответить на вопрос: происходит ли тут простая смена форм или прогресс? А если прогресс, то где в конечном счете тот критерий, которым вы

измеряете различные формы человеческого развития? Или, если вы отвергаете идею прогресса, как слишком метафизическую, то ответьте, почему историческое развитие шло, именно, тем путем, а не иным. Откуда такая правильность в смене общественных форм, в смене этапов экономического развития—от антропофагии через рабство, крепостничество и наемный труд к социалистическому обществу? Почему, под влиянием каких сил—я не говорю; на основании какого приказа Провидения,—ибо я стою на почве материалистического и позитивного понимания истории,—историческое развитие шло в данном направлении, а не в другом?

На мой взгляд, причина этого хода развития становится понятной, если признать значение тех основных психических сил, которые я отметил выше.

Именно, потому, что производственные отношения суть отношения между людьми со всеми их психическими качествами, то до тех пор, пока не осуществится полная свобода и всеобщая солидарность людей, всякий способ производства будет таить в себе глубокое противоречие

Еще Спиноза с удивительным мастерством вскрыл внутреннее противоречие, свойственное всякому режиму, основанному на тираническом господстве, на политической и социальной эксплоатации человека человеком; и он доказал это не с точки зрения абстрактного права, а на основании противоречий действительной жизни. Тирания приносит столько бедствий подчиненным, что они перестают бояться возможных последствий восстания и подымаются против своих угнетателей. Или же сам тиран, желая избежать восстания, идет до известной степени навстречу потребностям своих подданных и тем воспитывает их для более свободного режима. Таким образом, тирания неизбежно должна уступить напору свободных сил, *ибо силы, о которых здесь идет речь, это—основные качества человеческой психики.*

И это будет так, пока не исчезнет эксплоатация человека человеком. Необычайно метко сказал Гегель: „Основное противоречие всякой политической и экономической тирании состоит в том, что она вынуждена обращаться с людьми, как с безвольным орудием; а люди, каковы бы они ни были, никогда не могут стать инертной машиной".

Это—логическое противоречие, ибо самое понятие человека, как существа, одаренного чувствами, мышлением и волей, исключает понятие машины. Но это также противоречие действительной жизни, ибо, пользуясь живыми силами человека, как мертвым орудием, совершают насилие над той самой силой, которую хотят использовать, и в результате получается непрочный и полный дисгармонии социальный механизм. И так как это противоречие одновременно грешит против самого понятия человека и против закона механики, регулирующего использование человека, как механической силы, то историческое развитие представляет собою одновременно идеалистический протест совести

против социальных порядков, унижающих человека, и механическую реакцию человеческих сил против всякого насильственного и построенного на противоречиях социального строя.

Что такое антропофагия? Она была двойным противоречием: принуждая людей убивать себе подобных не в пылу борьбы, а насилуя тот примитивный инстинкт симпатии, о котором я выше говорил, она оказывалась моральным противоречием; а превращая человека, способного к производительному труду, в простой продукт потребления, в особого рода дичь, она создавала экономическое противоречие. Поэтому рабство стало моральной и экономической необходимостью. Ибо обращение пленника в домашнее животное не так остро задевало инстинкт симпатии и в то же время, с точки зрения интересов владельца, оказывалось более выгодным, чем убийство пленника. Из работы человека рабовладелец мог извлекать больше пользы, чем из его мяса.

То же двойное противоречие можно обнаружить в рабстве, в крепостничестве, в наемном труде. И так как все движение истории является результатом основного противоречия между человеком, как таковым, и тем назначением, какое он получает в общественной организации, то вполне понятно, что историческое развитие имеет своей конечной целью такой строй общества, в котором человек займет положение, соответствующее его сущности. В смене экономических форм осуществляется идеал человечества, и каждая из этих форм все меньше противоречит понятию человечности. Таким образом, мы видим в истории человечества не просто необходимый процесс развития, а развитие прогрессивное, имеющее разумный смысл. Стремление человечества к справедливости проявлялось на протяжении долгих веков в постоянной борьбе за такой общественный строй, который заключал бы в себе менее резкие противоречия, чем существующий. Конечно, развитие моральных идей человека определялось эволюцией экономических отношений, но в то же время в самой смене социальных учреждений проявлялся ищущий и деятельный человеческий дух. Несмотря на все различия среды, условий времени, экономических требований, один и тот же вопль отчаяния, один и тот же клик радостной надежды мы слышим из уст раба, крепостного, пролетария. И это никогда неумирающее стремление человеческого духа составляет самую душу так называемого права.

Стало быть, нельзя противополагать друг другу материалистическое и идеалистическое понимание истории: оба они сливаются в единую нераздельную концепцию. Ибо, если нельзя оторвать человека от экономических отношений, в которых он живет, то в такой же мере невозможно оторвать экономические отношения от человека. Историческое развитие представляет собою в одно и то же время процесс, совершающийся по чисто механическим законам, и стремление человеческого духа, повинующегося законам идеала.

И, в конце концов, разве не вся эволюция жизни такова же, как и эволюция общества? Нет сомнения, развитие жизни от одной формы к другой, от одного вида к другому совершалось под двойным влиянием среды и предшествовавших биологических условий, и потому вся эволюция жизни находит себе материалистическое об‘яснение. Но в то же время можно утверждать, что жизненная сила, сконцентрированная в первых живых клеточках, и общие условия планетной жизни предопределили с самого начала общий ход развития и, так сказать, жизненный план нашей планеты. И бесчисленные живые существа следовали в своем развитии определенному механическому закону и в то же время какому-то внутреннему стремлению к реализации жизненного плана. Так-что развитие физиологической жизни, как и развитие жизни общества, об‘ясняется одновременно и материалистически, и идеалистически. Тот исторический синтез, который я вам раньше предложил, связан с этим более общим синтезом, на котором я, к сожалению, не могу остановиться более подробно.

Я возвращаюсь к вопросу об историческом материализме. Разве сам Маркс не ввел в свою систему понятие идеала, идею прогресса, права? Он не ограничивается доказательством того, что коммунизм есть необходимое следствие капитализма,—он указывает также, что в будущем обществе исчезнут классовые противоречия, истощавшие человечество; он указывает далее, что в этом обществе человек впервые осуществит полную и свободную жизнь, развернет все свои способности, совмещая в себе духовную подвижность рабочего и спокойную силу крестьянина, что на обновленной земле человечество будет счастливее и прекраснее, чем когда-либо прежде.

Разве это не значит, что и с точки зрения материалистического понимания истории слово „справедливость“ имеет глубокий смысл, и разве это не является лишним доводом в пользу защищаемого мною синтеза, примиряющего материалистическое понимание истории с идеалистическим?

II.

# ОТВЕТ П. ЛАФАРГА.

## 1.

Философы картезианской школы советовали до начала спора точно определить и отграничить дебатируемый вопрос. Начнем поэтому с определения интересующей нас проблемы.

Как известно, все народы, как бы высок ни был в настоящее время уровень их культуры, имели одну и ту же исходную точку развития: предки всех их были дикарями.

Дикари эти жили на деревьях, питались случайными дарами природы и, чтобы легче добывать себе пищу, об'единялись, подобно диким лошадям, в стада по 30—40 человек. Невольно является вопрос: каким образом эти дикари могли развиться до состояния цивилизованных народов, которые живут в многолюдных городах, освещенных газом и электричеством, обслуживаемых железными дорогами,—в городах, жители которых делятся на враждебные классы и отличаются бесконечным разнообразием занятий и профессий?

Этот вопрос осложняется еще другим вопросом; Жорес уже указал вам на него, когда говорил, что все языки, несмотря на крайние различия между ними, могут быть сведены к одним и тем же грамматическим формам. Пользуясь тем случаем, что мы затронули вопрос о языке, я хочу указать вам одно явление, имеющее отношение к интересующему нас вопросу. Все слова, имеющие для нас абстрактный смысл, первоначально, для изобревших их дикарей, имели вполне конкретный смысл. Так, например, слово „nomos“, прежде, чем стать на греческом языке обозначением абстрактного понятия „закон“, означало *пастбище, жилище*. Французское слово „droit“ (право), обозначающее в настоящее время то, что находится в согласии со справедливостью, первоначально употреблялось для обозначения предмета, не имеющего изгибов и кривизны. Не следует ли, на основании этого лингвистического явления, вывести заключение, что конкретное породило в человеческом уме абстрактное?

То единство, которое Жорес констатировал в формах языка, проявляется также во всех видах духовного творчества человека: в религии, философии, литературе.

Так, сказки, приводившие в восторг наше юношеское воображение, встречаются у всех народов земли, возникши большей частью в эпоху дикого состояния или варварства; так бытовой роман,—эта последняя, но не высшая форма литературы, процветает у всех без исключения капиталистических народов.

Сравнительная история народов показывает, что все они пережили одинаковые формы семьи и государства. Вико, которого справедливо назвали „отцом философии истории", говорил, что „есть идеальная, вечная история, которую в определенный период времени пробегают все народы, переходя от состояния дикости, лютости и зверства к культурному состоянию". И так как не все еще народы достигли одинаковой степени развития, то Маркс добавляет: „Страна, более развитая в промышленном отношении, показывает менее развитым странам картину их собственного развития". А Жоффруа Сент-Илер, великий ученик гениального Ламарка, полагал, что существует „единство плана" в образовании растений и животных.

Но вот в чем вопрос: следует ли искать причины единообразной эволюции людей, животных и растений в самом мире, или их следует искать вне мира?

Деисты не колеблются ответить вместе с Вольтером, что подобно тому, как существование часов предполагает часовщика, так и существование мира необходимым образом предполагает создателя. Но это черезчур простое решение вопроса, придуманное еще дикарями, не разрешает проблемы, а лишь отодвигает ее. В самом деле, если существование мира предполагает создателя, то существование этого создателя, в свою очередь, обязательно предполагает существование другого создателя. Христианские гностики первых веков по Рождестве Христовом утверждали, что если Iисус—сын Iеговы, то Iегова, в свою очередь, сын какого-то неизвестного бога. Деистическое об'яснение, ничего не об'ясняющее, не может удовлетворить людей науки. Какую бы естественно-научную книгу вы ни раскрыли, вы нигде не встретите имени Бога. Химик, физиолог, геолог, астроном—не прибегают, для об'яснения занимающих их явлений, к удобной деистической гипотезе, а стараются об'яснить эти явления исключительно свойствами материи.

Каждый ученый изгоняет бога из той науки, которая составляет предмет его специального изучения,—и это даже в том случае, когда он допускает существование бога для об'яснения явлений, не входящих в специальную область его исследований. Так как история еще—не наука, то историк часто прибегает к богу, чтобы найти ключ к об'яснению явлений, причин которых он не может уловить. Маркс изгнал бога из последнего его убежища—из истории. И, пользуясь материалистическим методом великого социалистического мыслителя, мы создаем научную историю.

Гегель, идеалистическую теорию которого отчасти принимает Жорес, не придерживался того взгляда, что бог существовал до мира. Бытие бога заключалось для него в постоянном *становлении*.

Всему предшествовала *идея*, но с самого начала в атомистической форме. Вступая в противоречие сама с собой и соединяясь со всей противоположностью, она создала первый синтез, который, в свою очередь, послужил тезой для новой антитезы и нового синтеза; а этот второй синтез, в свою очередь, стал отправной точкой для новой триады и т. д. Развивающаяся, таким образом, автоматически *идея*, получая внешнее выражение, порождает мир по своему подобию.

Жорес не заходит так далеко. Он пользуется методом Платона, который, располагая идеи в иерархическом порядке, восходит к высшей идее абсолютного блага. Жорес анализирует и классифицирует идеи справедливости и братства, которыми обладаем мы, цивилизованные люди, и приходит не к абсолютной идее справедливости и братства, но к ее минимальному выражению, которое он влагает в ум дикаря, где эта идея пребывает как бы в спящем состоянии. Но, как только она начинает сознавать самое себя, она вступает в противоречие с внешним миром и борется с ним до тех пор, пока не найдет разрешения противоречия. Таким образом, история является беспрерывным рядом столкновений, всегда заканчивающихся победой идеи справедливости.

Первое мое возражение против теории Жореса таково: она не в состоянии разрешить проблему существования и развития всей вселенной, ибо не идея же справедливости и братства руководила эволюцией организмов растительного и животного царства. А философия в настоящее время должна охватить, именно, всю вселенную.

Затем я ставлю Жоресу вопрос: зачем останавливаться на уме дикаря? Почему не спуститься еще на одну ступень и не искать *идею* в уме животных? У овчарки или сторожевой собаки мы встречаем ясно выраженное чувство долга и способность сознавать свою вину. Жорес, быть может, возразит мне, что эта идея долга несвойственна самой собаке, а привита ее уму человеком. Но, ведь, и дикие животныя, живущие стадами или стаями, как, например, буйволы или вороны, также проявляют чувство долга. Самцы буйволов дают себя убить, чтобы защитить самок и детенышей стада; а вороны, поставленные часовыми, внимательно наблюдают окрестность и предупреждают об опасности товарищей, которые спокойно клюют зерна, посеянные земледельцем.

Таким образом, у животных можно найти в довольно развитом виде те же идеи, которые, по теории Жореса, бессознательно дремлют в уме дикаря. Но что заставляет нас останавливаться на животных, почему не искать „идею“ также и в аморфной протоплазме, из которой вырабатывается клетка,—эта отправная точка органического ряда, венцом которого является человек.

Далее я делаю Жоресу еще следующее возражение: зачем ограничиваться отысканием происхождения моральных идей, почему не заняться также исследованием происхождения научных идей? Почему не спросить себя, не дремлет ли в бессознательном состоянии в безголовой устрице атомистическая теория, которая существует лишь в умах нескольких тысяч химиков? Почему не стать, вместе с материалистами, на ту точку зрения, что „все должно существовать во всем", так как мысль в конечном счете, ведь, ничто иное, как физико-химическое явление, как особая форма движения? Но все это не может об'яснить нам зарождения идей в человеческом мозгу.

Жорес говорит, что зрение и слух суть высшие чувства, так как одаренные ими животные могут наслаждаться гармонией звуков и сиянием солнца. Эти чувства он поставил выше руки, которая со своим большим пальцем, выделенным из ряда остальных пальцев, является характернейшим органом обезьяны и человека. Рука создала человека. Но если даже мы укажем Жоресу еще на то, что зрение и слух в конечном счете являются лишь локализацией и специализацией чувства осязания, что животные, лишенные глаз, чувствительны к свету всей своей кожной поверхностью и что даже растительные клетки производят хлорофил, только благодаря действию солнца,—мы все же не об'ясним всем этим образования и развития органов чувств,

Как видите, дебаты между Жоресом и марксистами обращаются в спор о происхождении и развитии идей. Этот вопрос уже занимал и будет еще занимать много философских умов.

Декарт полагал, что мы рождаемся, одаренные врожденными идеями *общего, причины, действия* и т. д. Напротив, Локк, Кондильяк, а позже—сенсуалисты держались того взгляда, что *все, что находится в интеллекте, прежде находилось в чувствах.* Интеллект, говорил Дидро, есть tabula rasa (чистая доска), на которую заносятся внешние впечатления.

Уже греки, с которыми мы сталкиваемся при входе в царство мысли, возбудили вопрос о происхождении идей. Платон полагал, что наши идеи о справедливости являются воспоминанием об идее абсолютного блага. Архелай, учитель Сократа, напротив, говорил, что законы страны, в которой живешь, являются источником моральных идей. В действительности, можно констатировать, что люди с самой чувствительной совестью прекрасно уживались с рабством—повсюду, где оно признавалось законом.

Марксисты возвращаются к теории Локка и Архелая с тем, однако, добавлением, что если цивилизованному человеку и невозможно точно определить момент, когда он приобрел известные идеи, то отсюда не следует, что оне упали к нему с неба; нет, оне были приобретены опытом наших предков, от которых мы в длинном ряде поколений унаследовали такие богатые „природные способности", что некоторые

идеи мы приобретаем, повидимому, без всякого опыта и потому оне кажутся нам врожденными.

2.

Человек и животные способны мыслить лишь потому, что имеют мозг. Мозг перерабатывает восприятие в идеи, подобно тому, как динамо-машина превращает сообщенное ей движение в электричество. Мозг и другие органы вырабатывает природа, или—чтобы не употреблять выражения, которое способно идеализировать „природу“ в метафизическую сущность, как это делали философы XVIII в.—*естественная среда*; я намеренно говорю: „и другие органы“, так как идеалисты отделяют мозг от других органов и подчиняют его деятельность, т.-е. мышление, причинам, смахивающим на колдовство, точно таким же образом, как спиритуалисты выделяют человека из животного царства и изображают его чудесным существом, для которого Бог сошел на землю...

Естественная среда, создавшая мозг и другие органы человека, развила их до такой степени совершенства, что они способны к самым необыкновенным и поразительным приспособлениям. Так, чернокожие, которых цивилизованные христиане в течение многих веков похищали на берегах Африки и продавали в рабство в колонии, были варварами и дикарями, отставшими на сотни и тысячи лет от культуры цивилизованных народов, и тем не менее в очень короткий срок они усваивали их ремесла и переходили к их роду занятий.

Иезуиты в Парагвае проделали социальный опыт,—самый замечательный из всех мне известных, который для нас, социалистов, имеет огромное значение, так как он наглядно показывает, с какой необычайной быстротой развивается народ, лишь только его перемещают в новую социальную среду. Иезуиты, эти несравненные воспитатели и умные эксплоататоры труда, образовали из дикарей просвещенный народ в 150.000 человек.

Гуарани, которых они поселили на парагвайских pueblos, бродили голыми по лесам; оружием их служили лишь лук да деревянная палица; будучи знакомы только с самым примитивным земледелием, они возделывали один только маис. Ум их был так мало развит, что они умели считать лишь до двадцати, да и то по пальцам: один палец означал—один, два пальца—два, рука означала пять, одна рука и один палец другой руки—шесть, обе руки—десять, обе руки и один палец ноги—одиннадцать, обе руки и одна нога—пятнадцать, обе руки и обе ноги вместе—двадцать. Стоящие на низшей ступени развития дикари всегда считают по пальцам рук и ног. Таким образом, число,—эта отвлеченнейшая идея из всех существующих в уме человека,—первоначально в уме дикаря являлась отражением материального об'екта. Когда мы говорим или мыслим: 1, 2, 5, 10, мы не видим

перед собой никакого об'екта; дикарь же представляет себе при этом палец, два пальца, руку, две руки *).

Насколько это верно, видно из того, что римские цифры, употреблявшиеся так долго цивилизованными народами—до введения арабских цифр,—были как бы срисованы с руки: I—это один палец, II—два пальца, V—рука, три средних пальца которой загнуты, а болшой палец и мизинец выпрямлены, X—это два V или две противопоставленных руки.

Иезуиты сделали из парагвайских дикарей искусных рабочих, способных выполнять самые сложные работы. Вот что говорит о них Шарлевуа:

„Индийцы в миссиях обладают удивительным даром подражания. Достаточно, например, показать им крест, подсвечник, кадило, чтобы они тотчас воспроизвели их, причем их работу трудно отличить от модели. Свои музыкальные инструменты, самые сложные органы, они они выделывают, лишь один раз осмотрев модель; равным образом глобусы, ковры на подобие турецких и самые сложные продукты ткацкой промышленности" **).

Естествоиспытатель д'Орбиньи, посетивший в 1832 г. парагвайские pueblos, пришедшие в упадок и разорение после изгнания иезуитов, был поражен при виде церквей, выстроенных этими дикарями и украшенных живописью и скульптурой.

Все эти ремесла и искусства так же, как и соответствующие им идеи, разумеется, не были прирожденными руке и голове диких гуарани: они были вложены в них подобно тому, как ария Верди может быть вложена в шарманку. Благодаря воспитанию, полученному от иезуитов, они стали способны перенимать у цивилизованных народов самые разнообразные и сложные ремесла, как и связанные с ними идеи. Здесь перед нами пример непосредственного влияния человека на человека. Но разве у человеческих органов и мозга нет других средств к совершенствованию, кроме влияния человека на человека? Разве явления естественной и социальной среды, разве опыт не развивает технических способностей человека, не изменяет его мыслей?

Идея *справедливости*, которая, по мнению Жореса, в бессознательном состоянии дремлет в голове дикаря, проникла в человеческий мозг лишь после возникновения частной собственности.

Дикари не имеют никакого понятия о справедливости: у них нет даже слова для обозначения этой идеи; в лучшем случае они знают лишь закон возмездия—удар за удар, око за око,—который в сущности есть ничто иное, как преображенное рефлективное движение, заставляющее наше веко мигать всякий раз, когда какой-либо предмет

*) Более чем вероятно, что и у цивилизованных народов маленькие дети при счете всегда представляют себе материальные предметы.

**) Xavier du Charlevoix: Histoire du Paraguay Paris 1757.

угрожает глазу, заставляющее наши мускулы сокращаться при всяком ударе. Даже варвары, живущие в высокоразвитой, но коммунистической социальной среде, где частная собственность, следовательно, еще только нарождается,—даже варвары обладают лишь крайне неопределенной и смутной идеей справедливости. В подтверждение этого факта я сошлюсь на мнение Мэна, философский авторитет которого, надеюсь, не станет оспаривать Жорес.

„С юридической точки зрения, говорит Мэн, в индийской деревне не существует ни *права*, ни *долга*. Лицо, понесшее ущерб, жалуется не на ему лично причиненную несправедливость, а на нарушение порядка, установленного в маленьком обществе. Более того, обычное право не имеет принудительной силы. В немыслимом случае за неповиновение решению деревенского совета единственным наказанием могло бы, повидимому, быть лишь общее порицание“ *).

Локк, пользовавшийся, подобно философам XVII и XVIII в.в., дедуктивным методом геометрии, пришел к выводу, что частная собственность породила идею справедливости. В своем „Опыте о человеческом разуме“ он дословно говорит следующее: „Положение, что там, где нет собственности, нет и несправедливости, так же верно, как любая теорема Эвклида, ибо идея собственности заключает в себе право на вещь, а идея, которой соответствует слово „несправедливость“, означает нарушение этого права“.

Но если идея справедливости, как полагал Локк, могла появиться лишь после возникновения частной собственности, как ее детище, то идея воровства, или, скорее, непроизвольного стремления к завладению тем, в чем нуждаешься или чего желаешь, напротив, была сильно развита до возникновения частной собственности. Дикари и коммунистические варвары ведут себя по отношению к материальным благам так же, как наши ученые и писатели по отношению к духовным: они, по выражению Мольера, берут свое добро повсюду, где находят его. Эта естественная привычка становится кражей, преступлением, как только коммунистическая собственность заменяется частной.

Коммунистическая собственность породила в головах дикарей и варваров идеи и чувства, которые покажутся весьма странными христианской буржуазии,—этому печальному продукту частной собственности.

Гекkенвельдер, моравский миссионер, проживший в XVIII в. пятнадцать лет среди дикарей Сев. Америки, которые тогда еще не были развращены христианством и буржуазной цивилизацией, говорит:

„Индийцы верят, что Великий Дух создал мир и все, в нем находящееся, для общего блага людей; населив землю и наполнив леса дичью, он сделал это не для блага немногих, а для блага всех. Все

*) H. S. Maine: Village communities in the East and Vest.

дано сообща всем людям. Все, что дышит на земле и растет на полях, все, что живет в реках и водах, принадлежит на равных началах всем, и каждый имеет право на свою долю.

Гостеприимство считается у них не добродетелью, а обязанностью. Они скорее легли бы спать голодными, чем согласились бы быть обвиненными в пренебрежении своей обязанностью удовлетворять потребности чужеземца, больного, нуждающегося, так как последние имеют одинаковое со всеми право на поддержку из общих запасов, так как дичь, которой их накормят, если она взята в лесу, была собственностью всех, прежде, чем ее убил охотник, а овощи и маис, предложенные им, выросли на общей земле".

Точно также и иезуит Шарлевуа, живший тоже среди дикарей, не воспитанных еще в добродетелях христианской морали, говорит в своей „Histoire de la nouvelle France":

„Братский дух краснокожих, без сомнения, об'ясняется отчасти тем, что ледяные, по выражению Іоанна Златоуста, слова: *мой* и *твой* еще неизвестны дикарям. Их заботы и попечения о вдовах, сиротах и больных, их столь поразительное гостеприимство являются лишь следствием их убеждения, что все должно принадлежать сообща всем людям".

Частная собственность, создав различие между *моим* и *твоим*, не только вызвала в человеческом мозгу идею справедливости, но и внушила также его сердцу целый ряд чувств, пустивших столь глубокие корни, что они кажутся нам прирожденными. Нет никакого сомнения, что человек не знает ни ревности, ни отцовской любви, пока он живет в коммунистическом обществе. Как среди мужчин, так и среди женщин там господствует многобрачие: женщина берет себе столько мужей, сколько ей угодно, мужчина—столько, сколько может. И, однако, путешественники рассказывают нам, что эти люди живут в большем довольстве и согласии, чем члены скучной и эгоистической моногамной семьи. Но вместе с возникновением и упрочением частной собственности мужчина начинает покупать себе жену, чтобы тем обеспечить себе исключительное наслаждение своей приплодной самкой. Ревность, в сущности, ничто иное, как видоизмененное чувство собственности.

А отец начинает заботиться о своем ребенке лишь с того момента, как он может оставить ему в наследство свою частную собственность.

Идеи справедливости, которыми наполнена голова цивилизованного человека и которые основаны на противоположности понятий: *мое* и *твое*, исчезнут как призрак, лишь только на место частной собственности станет собственность общественная.

Жорес утверждает, что идеи братства и справедливости, вступая в противоречие с социальной средой, толкают человечество по пути прогресса. Но будь это так, тогда бы, вообще, не могло быть речи об

исторической эволюции, так как человек никогда не переступил бы первобытной коммунистической ступени, на которой не существовало и не могло существовать идеи справедливости и на которой чувства братства могли проявляться более свободно, чем на какой бы то ни было другой ступени общественного развития. В действительности идея справедливости, вместо того, чтобы вступать в противоречие с явлениями данной социальной среды, напротив, приспособляется к ним.

Идеалисты, особенно же позитивистски настроенные, утверждают, что идеи справедливости и морали беспрерывно прогрессируют. Эта теория очень приходится по сердцу господам капиталистам, считающим делом высокой добродетели все плутни, которые они практикуют в промышленности и торговле. Но не так-то легко доказать прогрессивное развитие справедливости и морали, столь любезное сердцу Огюста Конта, Герберта Спенсера и других глубокомысленных буржуазных философов, отличающихся такой же схоластической близорукостью.

Многочисленные факты противоречат этой приятной теории. В обществах, не основанных на товарном производстве, где при помощи рабского труда создаются продукты не на продажу, а для домашнего употребления, занятие торговлей считается чем-то весьма презренным. „Может ли выйти что-нибудь порядочное из лавки?"—говорил Цицерон, В таких обществах только презираемые и презренные люди торгуют деньгами. Давать деньги на проценты равносильно краже, осуждаемой моралью и религией. Сам Іегова запретил евреям отдавать деньги в рост, позволив это только по отношению к чужеземцу—врагу избранного народа. Католическая церковь, в настоящее время радикально изменившая свой взгляд на этот предмет, когда-то провозглашала анаѳему денежному проценту. Но эта мораль обратилась в свою противоположность, лишь только буржуазия стала господствующим классом. Отдавание денег в рост получает санкцию святого дела. Один из первых законов после революции 1789 г. провозглашает законность процента, который раньше был лишь терпим. Гроссбух государственного долга становится золотой книгой—библией буржуазии. Профессия ростовщика, банкира становится почтенной и почитаемой; жизнь с ренты, т.-е. с денежных процентов, становится предметом высшего стремления всех членов буржуазного общества.

Итак, процентная ссуда стала высшей формой морали, если даже не наивысшей согласно Канту, Спенсеру и другим почитателям „совершенствующегося совершенствования" справедливости и морали. Нет ничего удивительного, что капиталисты, торгующие деньгами, разделяют в этом вопросе мнение своих поразительно поверхностных лейб-философов. Но мы, социалисты, желающие уничтожить капиталистическую эксплоатацию, безусловно должны признать, что феодальные сеньеры и древние греко-римские патриции имели более возвышенное представление о морали, когда они смотрели на ростовщиков, как на воров.

Если справедливость и мораль не прогрессируют, то все же оне изменяются от одной исторической эпохи к другой, приспособляясь к потребностям и интересам господствующего класса. „Что иное показывает история идей,—говорят Маркс и Энгельс в „Коммунистическом манифесте“ 1847 г.,—как не то, что духовное производство преобразуется вместе с материальным? Господствующие идеи какой-нибудь эпохи всегда были только идеями господствующего класса“.

Справедливость и мораль, соответствующие интересам и потребностям господствующего класса, навязываются им угнетенному классу, который, в конце-концов, принимает их, хотя оне стоят в противоречии с его собственными потребностями и интересами.

Кто из нас не слыхал, как рабочие говорят: „Ведь, и предприниматель должен получать прибыль с своего капитала“. Так думают все работники, как физического, так и умственного труда. Рабочий—жертва прибыли, признает ее законность и освящает капиталистическую эксплоатацию, которая ежедневно похищает у него часть созданной им ценности.

Угнетенный класс вначале формулирует свои требования не во имя более высокой справедливости и морали, а исходя из господствующих воззрений. Он требует лишь таких прав, какие за ним признает господствующая справедливость, приспособленная к интересам класса угнетателей. Приведу один исторический пример:

Говорят, что в воинственных обществах труд презирается; это не вполне верно.

Герои Илиады пасли свои стада и возделывали свои поля; они часто гордятся тем, что могут провести совершенно прямую борозду. Римские патриции и греческие эвпатриды откладывали в сторону меч и щит и брались за плуг. Феодальные сеньеры средних веков начинали свое рыцарское обучение, прислуживая в качестве пажей и лакеев в какой-нибудь знатной семье. В эти эпохи презирался не труд, а продажа рабочей силы. Человек, продавший свою рабочую силу и получавший за это плату, низводил себя тем самым до положения раба: он продавал себя подобно рабу и терял достоинство свободного человека. Но в своевременном капиталистическом обществе такая продажа своей рабочей силы совершается свободными людьми изо-дня в день. Пролетарии физического и умственного труда имеют лишь одну заботу: продавать себя, продавать свою рабочую силу, продавать свою мысль,—эту святая святых человека. Дзевксис дарил свои картины потому, что он говорил, что их нельзя оплатить хотя бы всем золотом персидского царя; а наши Мейсонье продают свои картины чикагским свиноторговцам, которые, быть может, украшают ими стены своих клозетов.

Пролетарий имеет и может иметь только один идеал: возможно выгоднее продать свою рабочую силу. „Приличную плату за приличный

рабочий день"—таков лозунг английских тред-юнионов и рабочих всего мира. Пролетарий жалуется лишь тогда, когда он не может продать свой труд по справедливой цене. Только тогда, когда не удается осуществить унизительную и позорную справедливость класса капиталистов, рабочий класс начинает думать о возмущении.

3.

Естественная среда до того развила способности человека, что он так же хорошо может жить и на экваторе, при 40 или 50-градусной жаре, и возле полюсов, где ртуть замерзает; правда, этой замечательной способностью отличаются также крысы. Разнообразие естественной среды разделило человеческий род на несхожие друг с другом расы.

Но человек, подобно муравью, бобру и другим животным, создал, чтобы защитить свою жизнь, *искусственную среду*, т.-е. среду, произведенную человеческим искусством. Эта искусственная среда продолжает дело природы: она изменяет *естественного человека*, совершенствует одни его свойства, подавляет другие и создает *социального человека*; она, кроме того, противодействует дифференцирующему влиянию естественной среды и восстановляет единство человеческого рода.

Подобно тому, как естественная среда под одной и той же широтой обладает приблизительно одинаковой флорой и фауной, так и искусственная среда в разных местах, но при одинаковом способе производства, представляет большое сходство в нравах людей, в их семейной и политической организации, в их религиозных и философских системах. Повсюду, напр., где господствует капиталистический способ производства,—в холодной Канаде и знойной Италии, даже в недавно только цивилизованной Австралии,—повсюду мы встречаем парламентаризм—сначала на основе цензового, а затем всеобщего избирательного права,—повсюду мы встречаем моногамный строй семьи, смягченный прелюбодеянием и проституцией, деистическую и идеалистическую философию. Это сходство наблюдается не только у народов, следовавших в продолжение веков по одинаковому пути социального развития, но и у наций различных рас, проделавших свою эволюцию одним натиском, вне сферы европейского движения. Японцы, напр., одним скачком перешли от прежнего феодального строя к капиталистическому, как только ввели у себя механическую промышленность. Они должны были вследствие этого изменить свой политический режим, свои законы, даже свою одежду; они уже носят шляпы нашего образца и, будьте уверены, скоро у них будет своя Панама и свой Рувье.

Таким образом, человек, при посредстве создаваемой им искусственной среды, становится творцом и господином своей социальной судьбы, но его деятельность бессознательна и противоречит его целям. Потому что, как говорил Гегель, человек всегда приходит к результату,

которого он не предвидел и который противоречит его намерениям. Так, капиталисты, чтобы увеличить богатство своего класса, ввели и распространили крупную механическую промышленность, не отдавая себе отчета в том, что, разоряя мелкое производство, они разрушают среднее сословие, служившее буфером между ними и пролетариатом. В 1848 г. национальные гвардейцы стеклись со всех сторон в большом числе в Париж, чтобы защитить от „коммунистов" июньских дней тех самых Перейров и Фульдов, которые позднее своими финансовыми плутнями ограбили и задушили массы мелких собственников, составлявших ядро национальной гвардии. Зато в 1871 году ни один национальный гвардеец не откликнулся на многократные призывы Тьера выступить на борьбу против Коммуны. Потому что, пожирая мелкую буржуазию, биржевики, крупные промышленники и торговцы пожрали своих лучших защитников. Народная мудрость выразила этот исторический закон в поговорке: „Человек предполагает, а Бог располагает". В данном случае Богом является способ производства.

Человечество ведет вперед экономическая необходимость, а не сознательная или бессознательная идея справедливости. Нагляднее всего это показывает история рабства.

Если верить идеалистам, на долю рабства выпало двойное счастье: оно было введено из человеколюбия и из человеколюбия же уничтожено. По мнению идеалистов, человек перестал лакомиться мясом себе подобных с того момента, как любовь к ближнему просветила его сердце.

В действительности, однако, прекращение антропофагии следует приписать лишь экономическим причинам и влиянию женщины. Первоначально все племя—мужчины, женщины и дети—принимало участие в трапезах из человеческого мяса; с'едали какого-нибудь старого родственника, чтобы освободить его от забот старости и борьбы за существование, вдвойне тягостной для того, кто потерял силу и эластичность мускулов. Но, когда пребывание в богатых дичью и рыбой местностях, разведение скота и обработка земли создали возможность прокормления стариков, им давали умирать естественной смертью. Продолжали, однако, пожирать трупы врагов, убитых в сражении, а также военнопленных; в этих пирах участвовали уже только воины,—женщины были исключены. И вот, без сомнения, из зависти женщины стали проявлять отвращение к человеческому мясу и стали также относиться с отвращением к мужчинам, принимавшим участие в этих каннибальских пирах. В конце-концов, влияние женщины привело к тому, что пиршества эти были уничтожены и сохранены лишь в качестве религиозной церемонии.

Рабство возникло и установилось лишь тогда, когда земледелие и промышленность развились настолько, что человек мог своим трудом не только поддерживать свое существование, но и производить еще некоторый излишек, которым и мог завладеть другой человек.

Когда дикие и варварские племена значительно поредели от междоусобных войн, они стали принимать в свою среду военнопленных для пополнения рядов своих воинов; теперь они стали принимать их, чтобы заставить работать для себя. Этот прием раба в качестве члена племени сохранился даже у цивилизованных народов. У греков и римлян рабы торжественно принимались в семью после религиозной церемонии у семейного алтаря. Раб даже дал свое имя семье: слово фамилия (семья) происходит от древнего оскийского слова „famel", которое означает „раб". Патриархальная семья, действительно, основана на рабстве—на рабстве женщины.

Вначале рабство носило мягкий характер: на раба смотрят как на товарища, почти как на друга. Адзар, который, в качестве комиссара для разграничения португальских и испанских владений, прожил десять лет среди диких племен Бразилии и Парагвая, имел случай наблюдать рабство в его первичной форме. „М'байа (самое воинственное племя Парагвая) пользуются,—пишет он,—гуарани в качестве слуг и для обработки земли. Правда, это рабство очень мягкого характера, и гуарани охотно подчиняются ему. Хозяева задают мало работы, никогда не употребляют повелительного тона, делятся всем со своими рабами, даже плотскими удовольствиями. Я видел одного м'байа, который дрожал от холода, но все-таки не отнимал у своего гуарани одеяла, которое тот взял у него, чтобы укрыться; м'байа даже не показывал виду, что ему хотелось бы самому укрыться своим одеялом" *).

Рабство в том виде, как его рисует нам Одиссея, хотя и обнаруживает еще дружеские отношения между господином и рабом, потеряло уже, однако, свой первоначальный человечный характер. И, по мере того, как цивилизация прогрессирует, как философия просвещает людей, как справедливость регулирует права свободных граждан, а мораль прикрашивает их пороки своими предписаниями,—рабство становится все более бесчеловечным, и в эпоху высшего расцвета Аѳин и Рима оно стало невыносимым.

Однако, даже самые идеалистические философы не восставали против рабства. Платон сохраняет институт рабства в своей утопической республике, а Аристотель полагал, что природа наперед назначила некоторых людей к рабству. Бог иудеев и христиан обрек на рабство потомков Хама. Но чего не предчувствовал Іегова, то предвидел греческий мыслитель: уничтожение рабства, когда машины будут сами приводиться в движение и, подобно треножникам Вулкана, сами собой выполнят свою священную работу.

Христианское духовенство самодовольно заявляет, что христианство вызвало отмену рабства. На самом же деле, именно, христианство ввело рабство в Америке и способствовало его сохранению в Старом Свете.

*) Done Felix de Azara: „Voyage dans l'Amérique méridionale de 1781—1801".

Святой Павел отсылал бежавших рабов обратно к их господам и, подобно св. Петру, св. Августину и всем прочим святым первых веков христианства, проповедывал рабам, что только повиновением и верной службой земным господам они могут заслужить милость небесного Господина.

Ни философы, ни христианство никогда и не думали бороться против рабства. Но оно само исчезло, лишь только усовершенствование орудий производства достигло той ступени, на которой рабский труд оказался отсталой и убыточной формой эксплоатации человека. Чтобы доказать это, достаточно сопоставить наемный труд с рабством. Рабовладелец должен был покупать своего раба и нести все убытки, в случае его болезни или смерти; он должен был кормить его и во время болезни, и в нерабочие дни; он должен был заботиться и о его пропитании в старости, так как не мог убить его, как собаку.

Капиталист свободен от всех этих забот и обязанностей. Без всяких материальных жертв он может достать для себя сколько захочет рабочих. Наемная плата рабочего приблизительно соответствует стоимости содержания вьючного животного у рабовладельца. Парижским компаниям омнибусов содержание каждой лошади обходится дороже, чем содержание каждого кондуктора, и их четвероногие рабы работают на половину меньше, чем их свободные наемные рабы.

И только соображениями экономического расчета, а не сентиментально-идеалистическими фантазиями, об'ясняется тот факт, что капиталисты, беспощадно и в самых ужасных формах эксплоатирующие своих свободных рабочих и работниц, выступали, как воодушевленные борцы, за отмену рабства.

Не только господствующий класс, но и класс угнетенный, считал рабство, одобренное справедливостью и моралью, божественным и естественным институтом. Несчастные рабы античного общества не предвидели даже возможности уничтожения рабства; рабство заглушило в них всякое чувство возмущения, подобно тому, как оно воспрепятствовало всякому развитию идеи справедливости в уме господ. Так, напр., во время северо-американской войны за освобождение негров нельзя было набрать достаточно чернокожих для сформирования полка против их угнетателей—рабовладельцев.

Не то мы видим в средние века. Феодальное дворянство могло распространить свое господство на всю страну лишь путем непрестанной борьбы: ему приходилось подавлять одно восстание за другим и затоплять в крови стремление крестьян, живших в коммунистических деревнях, к равенству и независимости. Встречается ли что-нибудь более гордое, чем крик возмущения, раздавшийся из уст крестьянина десятого столетия:

„Господа причиняют нам только зло. Они всем владеют, все с'едают, а нас оставляют прозябать в нищете и страданиях... Почему нам позволять так с нами обращаться? Ведь, мы такие же люди, как они, у

нас такие же члены, такой же образ, такая же чувствительность к боли,—и нас сотни против одного... Вооружимся против рыцарей, будем держаться дружно, и ни один человек не сможет поработить нас. Тогда никто не сможет запретить нам рубить деревья и гонять дичь в лесах, ловить рыбу в реках,—и над лесами, лугами и водами будет царить только наша воля" *).

Крестьянам не приходилось дожидаться буржуазии 1789 г., чтобы проявить стремление к равенству. Но что могли поделать бедные крестьяне, одетые в шкуры и самодельные плащи, вооруженные дубинами и косами, против закованных в латы средневековых рыцарей? Повсюду—во Франции, Англии и Германии—они были разбиты и подвергались самой зверской расправе, многих замучили до смерти,—и все это делалось с одобрения и при деятельной поддержке духовенства и буржуазии. Герой буржуазии Этьен Марсель, статую которого либеральные и радикальные республиканцы поставили против парижской ратуши, сначала воспользовался для своих планов восставшими крестьянами, а затем изменнически предал их в руки Карла Злого.

Но вот в лаборатории алхимиков был изобретен порох и, переступив порог лаборатории, перешел в область промышленности. Порох восстановил равенство на поле битвы и постановил рыцарству смертный приговор; но, освободив Европу от феодальных сеньёров, он породил новые цепи—постоянные армии.

Буржуазия питает отвращение к милитаризму и рыцарям сабли, и, будучи одушевлена благородным стремлением эксплоатировать всех людей без различия национальностей, она провозгласила братство всех народов и об'явила, что при ее соціальном господстве на земле будут царствовать мир и торговля. Чтобы осуществить это царство мира, великие умы европейской буржуазии основали *„Международную Лигу Мира"*, которая устраивает международные конгрессы и посылает ко всем ограниченным и неограниченным монархам делегации с целью красноречиво описать им все ужасы войны и испугать их перечисленіем колоссальных сумм, поглощаемых содержаніем постоянного войска. Эти апостолы справедливости и мира пришли, наконец, в отчаяние, когда убедились, что в Европе численность постоянных армий все возрастает, что войны становятся все более кровопролитными. Тогда они решили перекостюмироваться в горячих патриотов, которые несут смерть всем врагам „отечества"; и если они в настоящее время не призывают к поголовному взаимному истребленію народов с таким же пылом, с каким они раньше проповедывали всеобщее братство народов, то это проистекает исключительно из страха: всеобщая воинская повинность сделала и детей буржуазии пушечным мясом.

Можно с легким сердцем, подобно Оливье, снаряжать авантюристские экспедиции, можно вотировать колониальную экспедицию

*) Le Roman de Rou. Полагают, что книга эта относится к XI или X в.

против дагомейских амазонок или мадагаскарских говасов—ведь, туда посылают на убой только крестьян и рабочих; но в случае европейской войны самим господам-буржуа пришлось бы выступить в поход и платиться своей шкурой, а это им вовсе не улыбается, особенно с тех пор, как усовершенствованные орудия смерти и новые разрывные снаряды превращают поле битвы в исполинскую бойню на пространстве нескольких квадратных верст, где сотни тысяч людей гибнут без славы и без героизма.

За бойней последовал бы голод. В действительности европейская война поставила бы под ружье всех здоровых мужчин. Мастерские и фабрики опустели бы, хлеб сгнил бы в корню, невозделываемые и незасеваемые поля не дали бы жатвы. После такой войны—безразлично, на чьей стороне осталась бы победа—население воевавших стран было бы разорено, лишилось бы куска хлеба; зато в руках рабочих очутилось бы оружие. „Кто имеет ружье—имеет хлеб“, сказал Бланки, и в результате европейской войны получилась бы социальная революция.

Только глупцы или преступники могут желать европейской войны. Война стала почти невозможной в силу развития и постоянного усовершенствования военных орудий и в силу привлечения в состав армии всех сколько-нибудь способных мужчин. Наступило, казалось бы, время, когда идеал буржуизии может быть осуществлен, когда постоянные армии могут быть распущены.

Но экономические отношения, более могущественные, чем воля буржуазии, не допускают осуществления ее идеала. В настоящее время сохраняют постоянные армии не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы поддерживать промышленность и торговлю. В самом деле, если бы во Франции и Германии, Италии и России захотели распустить армию, то вся промышленность, обслуживающая военное дело, была бы разорена; на рынок сразу было бы выброшено 300.000—400.000 здоровых работников. Это вызвало бы всеобщую заминку в делах, безработицу, это вызвало бы социальную революцию.

Если наша буржуазия, по счастливой случайности, исповедывала хоть однажды разумный идеал, к осуществлению которого она стремится с тех пор, как захватила в свои руки социальное господство, то и тут оказалось, что экономические силы, которые она же сама привела в движение, ставят непреодолимые препятствия осуществлению ее желаний и намерений. Это наглядно доказывает буржуазии, что она не может распоряжаться своею собственной судьбой, что она подчинена силам экономического мира.

4.

Уже целые тысячелетия живет идеал в уме человека. Не идеал справедливости, а идеал мира и счастия, идеал общества, в котором нет *моего* и *твоего*, где все принадлежит всем и где равенство и братство составляют единственные узы, соединяющие людей. В бурные

периоды истории смелые мыслители с великой душой изображали это идеальное общество в упоительных утопиях, а герои жертвовали собою для его осуществления.

Этот идеал—не произвольное изобретение человеческого мозга, а воспоминание о том *золотом веке,* о том *земном рае,* о котором говорят нам религии; это—далекое воспоминание об эпохе первобытного коммунизма, прожитой человеком до возникновения частной собственности. А что люди когда-то жили в коммунистическом обществе, доказывают и сообщения Гекленвельдера и Шарлевуа, которых я выше цитировал.

Если римские плебеи и нищие греческих городов потерпели неудачу в своих многочисленных возмущениях против патрициев и богачей,—возмущениях, направленных к восстановлению общности имуществ; если еретические народные секты средних веков потерпели неудачу в своих попытках восстановить на земле равенство и братство,—то это, по вполне понятным причинам, было неизбежно. Как в эпоху упадка Греции и Рима, так в конце средних веков, экономические отношения не допускали восстановления общности имуществ: они действовали как-раз в обратном направлении,—в сторону разрушения последних остатков коммунизма и выработки элементов частной буржуазной собственности.

В наших умах идеал коммунизма возродился с новой силой более могучий, более привлекательный, чем когда-либо прежде. Но этот идеал—уже не смутное, инстинктивное воспоминание,—он вырос из недр реальности, он вскормлен и вспоен действительной жизнью, являясь продуктом экономического развития. Мы—не утописты, не мечтатели, подобно английским лоллардам и римским плебеям; мы—люди науки, которые не изобретают новых общественных форм, а только оказывают капиталистическому обществу акушерские услуги, когда наступает час рождения социалистического общества.

Мы—коммунисты, потому что убеждены, что экономические силы капиталистического производства в силу естественной необходимости ведут общество к коммунизму. Мы, которых обвиняют в разжигании классовых антагонизмов, требуем, напротив, уничтожения классов, так как мы убеждены, что нет уже больше на-лицо той экономической необходимости, которая вызвала разделение людей на класс эксплоататоров и класс эксплоатируемых.

Аристотель, этот великан среди мыслителей, предвидел, что когда машины сами будут выполнять свою работу, свободные граждане не будут более нуждаться в рабах, создающих им возможность досуга. Мы же, социалисты, предвидим конец наемного труда,—этой последней формы рабства, так как мы знаем, что человек владеет железным и стальным рабом,—самодвижущейся машиной.

Никогда в древности и ни в одну историческую эпоху свободные граждане не владели таким количеством рабов, как мы.

В доказательство приведу несколько цифр из „Статистического Ежегодника“, опубликованного в 1890 году министерством торговли во Франции.

В 1887 г. число паровых машин во Франции (в промышленности и земледелии, в сухопутном и морском транспорте) достигало 135.748 и составляло 9 миллионов лошадиных сил. По расчету главного правления рудников, каждая лошадиная сила равна силе 21 рабочего. Следовательно, эти 9 миллионов лошадиных сил представляют рабочую силу 189 миллионов рабов.

По переписи 1886 г. Франция имеет 39 миллионов жителей, так что на каждого француза приходится 4,8 раба или на каждого отца семьи из 5 человек—24 железных раба.

Работа этих 189 миллионов железных рабов, монополизируемая в свою пользу одним классом, не способным руководить ею, создает посреди сказочного избытка ужасающую нищету производителей.

Когда средства производства будут вырваны из праздных и бессильных рук капиталистов и станут общим достоянием всей нации, тогда на земле снова наступит счастье и мир для всех. Ибо общество подчинит себе производительные силы, как оно подчинило себе силы природы. Только тогда человек будет свободным, так как он станет господином своей социальной судьбы.

Только тогда человечество освободится от власти бессознательных исторических сил.

---

# ПОЛЬ ЛАФАРГ.

## Экономика, естествознание и математика..

В доказательство несовершенства марксистского метода Бакс ссылается на то, что между естественными науками и математикой, с одной стороны, и экономической средой—с другой не существует никакой связи, а если иногда такая связь и существует, она имеет лишь второстепенное значение. Это утверждение черезчур смело.

Бакс совершенно прав, когда он говорит, что „естественно-научные познания добыты человеком путем наблюдения над фактами (впоследствии на помощь наблюдению пришел опыт) и путем логического умозаключения из фактов“. Но разве те наблюдения и опыты, которые люди изо дня в день делают в борьбе за средства существования, не в тысячу раз многочисленнее и многообразнее, чем наблюдения и опыты ученых в их маленьких научных лабораториях? Разве не эти, произведенные в гигантской экономической лаборатории, наблюдения и опыты толкают людей к размышлению и формулированию великих всеобщих законов?

„Учение о *естественном отборе*“, которое Бакс приводит в подтверждение своего тезиса, является, напротив, блестящим примером превосходства осуждаемого им марксистского метода. В действительности Дарвин именно из экономического мира заимствовал те наблюдения и опыты, которые были ему необходимы, чтобы дополнить и представить в более ясном свете наблюдения, сделанные им и другими естествоиспытателями в мире природы. В „Происхождении видов“ Бакс может найти рассказ самого Дарвина о том, что первый толчек к выработке его теории ему дал закон Мальтуса о народонаселении,—закон, который приписывал нищету рабочих, вызванную ростом капиталистического способа производства, божественному провидению, совершенно так же, как Аристотель делал природу ответственной за рабство. Исходя из социальной борьбы людей, Дарвин пришел к мысли о естественной борьбе животных.

Но конкуренция в области торговли и промышленности, с одной стороны, обрекающая производителя на нищету и непосильный труд, а с другой—делающая капиталиста социальным паразитом, не могла дать Дарвину идеи прогрессирующего развития: эта идея была ему дана экономическими явлениями другого рода.

Дарвина поразили те опыты, которые, задолго до естествоиспытателей, производили над животными современные ему сельские хозяева и скотоводы, с целью—путем „искусственного отбора“ усовершенствовать породу лошадей и других животных и тем повысить их рыночную цену. Дарвин больше других естествоиспытателей заинтересовался теми изменениями, которые можно наблюдать у домашних животных. И, таким образом, он пришел к мысли, что природа бессознательно делает то же самое, что вполне сознательно, ради прибыли, делают сельские хозяева. Можно положительно утверждать, что учение о естественном отборе могло возникнуть только в эпоху самой бешеной торговой конкуренции и только в стране с систематическим, рациональным скотоводством *).

К этому необходимо прибавить, что постройка железных дорог, связанная с прорытием глубоких тоннелей, а также разработка угольных копей, без сомнения, способствовала открытию в недрах земли остатков давно исчезнувших растений и животных и тем самым основанию новой науки—геологии, чем, в свою очередь, была подготовлена научная почва для идеи постепенного развития органического мира.

Далее Бакс говорит: „История математики разительным образом опровергает односторонне-марксистскую точку зрения“. Посмотрим, так ли это.

Бакс не может не признать, что „геометрия, как вполне справедливо указывают, возникла из измерения земли. Но решающим моментом для этой науки, как таковой, является безошибочная формулировка пространственных отношений. Практическая же потребность (practical necessity), направившая внимание людей на эти отношения, служит только внешним поводом“. Такое презрительное отношение к „практическим потребностям“, к тем самым потребностям, которые научили нас считать и сравнивать и которые дали нам математические аксиомы,—слишком отдает метафизикой. То обстоятельство, что математика оставляет без внимания большую часть физических качеств тела и рассматривает всегда лишь определенные его свойства (в ариѳметике и алгебре—число, в геометрии—точку и линию), и что, таким образом, в абстрактных науках работа наблюдения и экспериментирования стала излишней и заменялась спекулятивной работой,—это обстоятельство отнюдь не дает еще права философу „вещи в себе“ утверждать, что эти науки ничем не обязаны опыту. Они представляют

*) Растения и животные, разводимые для продажи, уже в течение веков подвергались изменениям, благодаря постоянным опытам; а естествоиспытатели еще до самого последнего времени ограничивались в этой области простым наблюдением, и всего лишь каких-нибудь пятьдесят лет тому назад стали делать первые робкие попытки таких экспериментов. Если бы они, по примеру Дарвина, познакомились с опытами, производимыми в различных странах сельскими хозяевами над растениями и животными, если бы они изучили применяемые ими методы разведения, они были бы поражены бесчисленным множеством опытов, представляющих совершенно такой же интерес, как знаменитый опыт голландского ботаника Фриса над Olnothera (ослинник).

системы умозрительных теорем, выведенных из немногих аксиом, истинность которых стоит вне всякого спора. Следовательно, существенное значение имеют, именно, аксиомы: поскольку оне не даны математикам, постольку не существует и математических наук; поскольку оне ошибочны, постольку падают также все чисто-умозрительные выводы из них. Но аксиомы ($2 \times 2 = 4$; прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками; через данную точку можно провести только *одну* линию, параллельную данной, и т. д.— эта третья, крайне важная аксиома носит название „эвклидова постулата“) недоказуемы. Лейбниц тщетно пытался доказать, что $2 \times 2 = 4$. Дело в том, что аксиомы даны нам не разумом, а опытом и—добавлю я—экономическим опытом.

Весьма вероятно, что многие аксиомы получены нами еще от животных. Так, напр., когда утки направляются к воде, оне избирают прямую линию, как кратчайший путь. Голубка знает, что $1 + 1 = 2$, ибо она начинает высиживать птенцов лишь после того, как снесла два яйца и т. д... Экономический опыт придал этим, унаследованным от животных, аксиомам особую ценность и вместе с тем привел к открытию других, столь же важных аксиом, как, напр., „эвклидов постулат“.

Известно, что способность считать у дикарей весьма ограничена, что многие из них умеют считать только до двадцати и что первые пять цифр носят на их языке название пальцев, так как они при счете отгибают и называют один палец за другим. Дикарям и варварам необходимо расширять свою способность к счету в той мере, в какой возрастает число принадлежащих им животных и предметов; когда же последних становится так много, что их уже нельзя пересчитать по пальцам, они прибегают к помощи камушков; на эту связь указывает еще французское слово *calcul*, которое употребляется для обозначения „счета“ и берет начало от латинского *calculus*—„камень“. Чтобы определить прирост своего имущества, люди были вынуждены изобрести сложение, эту исходную точку арифметики и алгебры, которые в сущности представляют только видоизменения этого основного действия, усложненные неизвестными мнимыми и упрощенными величинами. А чтобы определить уменьшение своего имущества, им необходимо было изобрести вычитание, которое опять-таки представляет собою сложение остающейся части с изчезнувшей,—т.-е. с той неизвестной величиной, которую надо отыскать. Латиняне оперировали еще при счете камушками, что ясно видно из выражений: *calculum ponere*,—положить камушек и *calculum subducere*—принять камушек; выражения эти указывают на то, что действие сложения и вычитания латиняне производили, прибавляя или отнимая камушки. Когда предметы обмена умножались, стало необходимо высчитывать число предметов одного рода, отдаваемых в обмен за предметы другого рода; пришлось, следовательно, изобрести умножение, представляющее только длинное,

упрощенное сложение. Крупные торговцы мало-азиатских приморских городов производили умножение еще задолго до того, как Пифагор составил таблицу умножения, получившую от него свое название *), в действительности же, быть может, изобретенную ими. Чтобы распределить прибыль экспедиции по числу участников и по величине их вкладов в предприятие, они придумали деление, представляющее комбинированный ряд умножений и вычитаний. Лишь спустя много веков после того, как экономические потребности заставили человека изобрести четыре основных действия арифметики, математика дала им теоретическую обосновку.

Если обладание стадами и движимым имуществом развило способность к счету и заставило изобрести арифметические действия, то плетение корзин и изготовление сосудов для жидкостей создало представление о емкости, а производство более дорогих жидкостей, как вина и масла, привело к измерению емкости сосудов.

Пока дикарь питался продуктами охоты, рыбной ловли и дико растущими плодами, он и не думал об измерении земельных площадей; но как только он стал земледельцем и должен был разделить годную для обработки землю между отдельными семьями, ему пришлось научиться измерять землю. Греческие философы, которые, как известно, не отличались чрезмерной скромностью, приписывали изобретение геометрии египтянам, так как каждый разлив Нила уничтожал границы между полями, и египтянам приходилось каждый раз восстановлять их. Конечно, не было никакой надобности всем людям идти на выучку к египтянам: ежегодные переделы пахотной земли освоили их с первыми элементами геометрии.

Дикие землепашцы, не знакомые еще с измерением поверхностей, разрешили проблему равномерного распределения земли следующим образом: данное поле, имевшее в общем более или менее плоскую поверхность, они разделяли на узкіе и очень длинные полосы одинаковой длины и ширины. Полосы эти представляли собою прямоугольники, стороны их были параллельны; ограничивавшие их прямолинейные борозды на всем своем протяжении отстояли одна от другой на одинаковом расстоянии. Сохранение этих *прямых* борозд было так важно, что во многих языках слово „*прямой*“ имеет также значение „справедливого“. Чтобы получить борозды одинаковой длины, к каждой из них прикладывали одинаковое число раз палку, служившую мерой. Палка эта имела в глазах людей того времени столь важное значение, что в египетских иероглифах она служит символом справедливости и истины. Русские крестьяне называют палки, служащие для измерения земли, „святой мерой“. Гакстгаузен, присутствовавший около 1846 г. при подобном разделе земли в России, рассказывает, что эти

*) Таблица умножения по-французски называется „Table de Pythagore“ (table pythagorique).
*Примеч. перев.*

неграмотные люди производять измерения с такой точностью, какую можно было бы ожидать только от научно подготовленного геометра. Это примитивное измерение земли, как мы можем наблюдать его в сельских общинах Индии, создало, — говорит Paul Tannery, ученый историк „Науки эллинов“,—целый ряд слабо связанных между собою приемов для разрешения проблем повседневной жизни, и доказательство правильности этих приемов было построено на предпосылках, считавшихся самоочевидными, но строго научным способом доказанных лишь значительно позже, если только оне не были отброшены, как ложные. Одною из таких предпосылок и является знаменитый „эвклидов постулат“. Задолго до создания научной геометрии эта *эмпирическая геометрия* дала возможность египтянам, грекам и всем вообще народам воздвигать памятники, поражающие наших инженеров своей величиной, прочностью и гармонической пропорциональностью частей.

Первобытные землепашцы рассматривали подлежащую разделу площадь поля как *плоскость*. Геометрия Эвклида исходит из гипотезы, что *поверхность есть плоскость*; вследствие этого две прямые линии, проходящие на одинаковом расстоянии одна от другой, друг другу параллельны и так же мало могут пересечься в пространстве Эвклида, как на поле землепашца.

Только около середины девятнадцатого века в науку проникло представление о *кривой* поверхности. Лобачевский, Риманн, Sophus Le[...] и другие математики отвергли „эвклидов постулат“ и создали, так называемую, не-эвклидову геометрию. Их строго-научно выведенные теоремы стоят в полном противоречии к теоремам эвклидовой геометрии, которые более двух тысячелетий считались единственно истинными. И хотя уже к концу восемнадцатого века знаменитый математик Гаус[с] постиг возможность не-эвклидовой геометрии, он, однако, осмеливался говорить об этом лишь в частных письмах, которые только недавно были опубликованы. Новая геометрия опрокидывает все прежние представления и, как утверждают математики, дает в чисто математическом отношении более простое решение вопросов, чем старая геометрия. Последняя, впрочем, сохраняет свое практическое значение, потому что, когда землемерам, инженерам и архитекторам приходится иметь дело с поверхностями небольшого размера, они так же мало, как первобытные землепашцы, обращают внимание на их незначительную кривизну. Творцы новых геометрических систем, напротив, принимают в расчет каждую, даже самую незаметную, кривизну поверхности. И поэтому-то математики полагают, что не-эвклидовых систем геометрии существует столько же, сколько мест на земном шаре.

Откуда же явилось это представление о кривизне пространства?

Первобытные землепашцы рассматривали свои поля как плоскости. Когда люди составили себе представление о земле, они считали ее плоской, как стекло,—говорит Архелай. Но когда, купцы жившие

вокруг Средиземного моря, заметили, что одни места на земле освещаются солнцем позже, чем другие, они решили, что земля—вогнутое полушарие, на края которого солнечный свет, естественно, падает раньше, чем на дно. Но астрономические наблюдения, сделанные около пятого века до Р. Х., заставили греков представить себе землю в форме полного шара. Однако, представление о шарообразной форме земли осталось в практическом и теоретическом отношениях бесплодным. Только в пятнадцатом веке оно дало практический результат, когда Колумб, обманутый неправильным вычислением Птоломея, вместо искомого морского пути в Ост-Индию открыл Америку. Еще целые века должны были пройти после Колумба, прежде чем шарообразная форма земли, кажый день снова доказываемая торговыми кораблями, побудила математиков сделать необходимые теоретические выводы. На основании наблюдений, собранных моряками, купцами, путешественниками и учеными, геометры заключили, что земля представляет собой шар, приплюснутый у полюсов и выпуклый на экваторе, и что она окружена соответствующей ее форме атмосферой. Поэтому все конструируемые на земле поверхности неизбежным образом должны быть искривлены, как и все линии, проведенные на этих поверхностях. Божественный гений греков заставил их думать—одно из чудес истории!—что каждое приведенное в движение тело, если ничто ему не мешает, необходимо должно принять кругообразную форму движения,—как они говорили, „самую благородную из всех форм движения“. Кривизна плоскостей и линий варьирует смотря по большей или меньшей удаленности от экватора. Таким образом, „эвклидов постулат“, который лежит в основе старой геометрии и так же мало может быть доказан разумом, как то, что 2×2=4, оказался при проверке опытом ошибочным. Не-эвклидовы же системы геометрии ближе подходят к истине. Благодаря потребности в размежевании пахотной земли и в архитектурных постройках, в головы математиков проникло представление об *абсолютно плоской поверхности*. Но с тех пор, как путешествия купцов по суше и морю сделали популярной идею шарообразности земли и окружающей ее атмосферической оболочки, представление о *кривой поверхности* начинает вытеснять прежнее представление.

Итак, Бакс совершенно неправ, когда он утверждает, что „история математики разительным образом опровергает“ марксистский метод.

В заключение я хотел бы еще заметить, что Маркс считал экономический детерминизм не готовой системой, а только орудием исторического исследования,—орудием, ценность которого меняется, смотря по работнику, который им пользуется. И если Бакс, сделав попытку воспользоваться этим орудием—экономическим детерминизмом, находит его непригодным, то это об‘ясняется тем, что, как завзятый метафизик, он не умеет с ним обращаться и, подобно всем плохим работникам, сваливает свою неудачу на инструмент.

---

# ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС.

## Об историческом материализме.

Я прекрасно знаю, что содержание моей брошюры шокирует значительную часть английской публики. Однако, было бы еще хуже, если бы мы, континентальные деятели, хоть сколько-нибудь считались с предрассудками британской „респектабельности“, т.-е. британского филистерства. Брошюра эта написана в защиту того направления, которое мы называем „историческим материализмом“, а слово „материализм“ прямо-таки терзает слух подавляющему большинству английских читателей. „Агностицизм“—это еще куда ни шло, но материализм—совершенно невозможен.

И, однако, родиной современного материализма во всех его формах была, начиная с семнадцатого века, именно—Англия.

„Материализм—кровное детище Великобритании. Еще ее схоластик Дунс Скотт спросил себя: не может ли материя мыслить?“

„Чтобы об'яснить себе это чудо, он апеллировал к всемогуществу Бога, т.-е. заставил самое теологию проповедывать материализм. Кроме того, он был номиналистом. Номинализм же составляет у английских материалистов главный элемент их учения и, вообще, является первоначальным выражением материализма.

„Действительным родоначальником английского материализма был Бэкон. Естествознание он считает действительным знанием, а опытную физику—важнейшей частью естествознания. Его авторитетами часто являются Анаксагор со своими „гомойомериями“ *) и Демокрит со своими атомами. По его учению, чувства не обманывают и служат источником всех знаний. Наука есть опытное знание и состоит в применении рационального метода к чувственно данному. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, опыт—вот главные условия рационального метода. Среди изначальных свойств материи первым и главным является движение, не только в качестве механического и математического движения, но в большей мере еще и в качестве стремления, жизненного духа, напряжения, или—употребляя выражение Якова Бэма—муки материи. Ее первоначальными формами являются живые, индивидуализирующие, имманентные ей и создающие все специфические отличия, основные силы.

*) Качественно-различные частицы, разнообразное соединение которых производит чувственно-воспринимаемые явления. *Примеч. перев.*

„У Бэкона, своего первого творца, материализм еще содержит в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя в поэтически-чувственном блеске радостно приветствует у него цельного человека. Афористическая же его доктрина, напротив, полна еще теологических непоследовательностей.

„В дальнейшем своем развитии материализм становится односторонним. Гоббс систематизировал бэконовский материализм. Чувственность теряет у него свой пышный цвет и превращается в абстрактную чувственность геометра. Физическое движение приносится в жертву механическому или математическому; основной наукой провозглашается геометрия. Материализм становится враждебен человеку. Чтобы победить враждебный человеку бесплотный дух в его собственном царстве, материализм вынужден сам умертвить свою плоть и превратиться в аскета. Он выступает тут как абстрактное начало, но зато развивает уже до конца всю последовательность абстракции.

„Если чувстенность дает людям все знания, — доказывает Гоббс, исходя из учения Бэкона,—то воззрение, мысль, представление и т. д. являются лишь фантомами телесного мира, более или менее освобожденного от своей чувственной формы. Наука может лишь дать наименования этим фантомам. Одно наименование может быть применено к нескольким фантомам. Далее могут существовать даже наименования наименований. Было бы, однако, противоречием, с одной стороны, видеть источник всех идей в чувственном мире, а с другой—утверждать, что слово может быть чем-либо большим, чем слово, что, кроме доступных восприятию отдельных конкретных предметов, существуют еще какие-то общие абстрактные об‘екты. Бестелесная субстанция—такое же противоречие, как бестелесное тело. Тело, бытие, субстанция—все это одна и та же реальная идея. Мысль невозможно отделить от материи, которая мыслит. Материя—суб‘ект всех изменений. Слово „бесконечный“ бессмысленно, раз оно не означает способности нашего духа прибавлять без конца. Так как только материальное можно воспринимать и познавать, то о существовании Бога нам ничего неизвестно. Только мое собственное существование несомненно. Всякая человеческая страсть есть механическое движение, кончающееся или начинающееся. Об‘екты стремлений—благо. Человек подчинен тем же законам, что и природа. Сила и свобода тождественны.

„Гоббс систематизировал Бэкона, но не дал нам более глубокого обоснования его принципа происхождения познаний и идей из чувственного мира.

„Локк обосновывает этот принцип Бэкона и Гоббса в своем „Опыте о происхождении человеческого рассудка“.

„Как Гоббс уничтожил деистические предрассудки бэконовского материализма, так Коллинс, Додуэль, Ковард, Гартли, Пристли и др. уничтожили последние теологические рамки локковского сексуализма.

Деизм, по крайней мере для материалиста, является только удобным и спокойным способом отделаться от религии" *).

Так писал Карл Маркс о британском происхождении современного материализма. И если современные англичане чувствуют себя не особенно польщенными той данью признательности, которую он заплатил их предкам, то об этом можно лишь пожалеть. И все-таки остается неопровержимым тот факт, что Бэкон, Гоббс и Локк являются отцами той блестящей школы французских материалистов, которая наперекор всем победам, одержанным немцами и англичанами на суше и на море над французами, сделала восемнадцатый век преимущественно французским; и это—еще задолго до увенчавшей конец века французской революции, завоевания которой мы, немцы и англичане, все еще стремимся акклиматизировать.

Нельзя отрицать, что, когда около средины девятнадцатого века образованный иностранец приезжал в Англию, его больше всего поражало религиозное ханжество и тупость английского „респектабельного" среднего класса. Мы тогда все были материалистами или во всяком случае большими радикалами в религиозных вопросах, и нам казалось совершенно непостижимым, что почти все образованные люди Англии верят в самые невозможные чудеса, и что даже геологи, вроде Бекланда и Мантеля, извращают данные своей науки, лишь бы только не впасть в слишком резкое противоречие с библейским учением о сотворении мира; нам казалось непостижимым, что для того, чтобы найти людей, осмеливающихся и в религиозных вопросах пользоваться своим разумом, приходилось спускаться к необразованным, к „неумытой толпе", как тогда выражались,—к рабочим и в особенности к социалистам, последователям Оуэна.

Но с тех пор Англия „цивилизовалась". Выставка 1851 г. прозвучала похоронным колоколом над островной замкнутостью Англии. Англия мало-по-малу интернационализировалась, как в еде и напитках, так и в нравах и представлениях. В этом отношении она даже зашла так далеко, что я все более проникаюсь желанием, чтобы некоторые английские нравы встретили на континенте такое же всеобщее признание, как иные континентальные обычаи в Англии.

Несомненно одно: распространение изготовленного на масле салата (до 1851 г. известного только аристократии) сопровождалось фатальным распространением континентального скептицизма в религиозных вопросах; дело дошло до того, что в респектабельных кругах агностицизм, хотя и уступает еще по своей бонтонности английской государственной церкви, все же поднялся в своем значении до уровня баптистской секты и во всяком случае стал рангом выше „Армии спасения". И, я думаю, для многих англичан, искренно оплакивающих и проклинающих прогресс неверия, будет утешительно узнать, что

*) K. Marx und F. Engels: „Die heilige Familie". В немецком издании 1845 г. стр. 201—204.

эти новоиспеченные идеи не иноземного происхождения, не снабжены клеймом: Made in Germany—немецкий фабрикат, а, напротив, староанглийского происхождения, и что британские родоначальники этих идей уже двести лет тому назад шли гораздо дальше, чем их потомки в наши дни.

Действительно, что иное представляет собою агностицизм, как не стыдливо прикрытый материализм? Взгляд агностика на природу насквозь материалистичен. Во вселенной царствуют законы, абсолютно исключающие всякое влияние на нее извне. Но,—осторожно добавляет агностик,—мы не в состоянии доказать существование или несуществование Высшего Существа по ту сторону известного нам мира. Эта оговорка могла иметь свою цену в то время, когда Лаплас на вопрос Наполеона, почему в „Небесной механике“ великого астронома ни разу не упоминается Создатель, гордо ответил: je n'avais pas besoin de cette hypothèse (у меня не было надобности в этой гипотезе). Но в настоящее время наше представление о мире в его развитии не оставляет абсолютно никакого места для творца или правителя; а признание Высшего Существа, исключенного из всего существующего мира, было бы противоречием в себе самом и, кроме того, как мне кажется, явилось бы ничем невызванным оскорблением чувства религиозных людей.

Точно также наш агностик согласен, что все наше знание основано на впечатлениях, воспринимаемых нашими чувствами. Но,—добабляет он,—откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные копии воспринимаемых вещей? И далее он заявляет, что когда говорит о вещах или их свойствах, то он на самом деле имеет в виду не самые вещи и их свойства, о которых он ничего достоверно не может знать, а лишь те впечатления, какие они производят на его чувства. С такой точкой зрения, конечно, не-так то легко справиться при помощи чистой аргументации. Но прежде, чем люди стали аргументировать, они, ведь, действовали. „В начале было дело“. И человеческая деятельность разрешила эту трудность еще задолго до того, как человеческое мудрствование ее изобрело. The proof of the pudding is in the eating *). В тот момент, когда сообразно воспринимаемым нами свойствам какой-либо вещи мы употребляем ее для себя, мы подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно, и всякая попытка такого использования окажется неудачной. Но, если нам удастся достигнуть поставленной себе цели, если мы находим, что данная вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какой мы ожидали от ее употребления,—тогда мы имеем положительное доказательство, что в данных пределах наше восприятие вещи и ее свойств соответствует вне нас находя-

*) Вкус пуддинга узнается во время еды.

щейся реальности. Если же, наоборот, оказывается, что мы ошиблись в своих расчетах, тогда большей частью нетрудно отыскать причину нашей ошибки: мы находим, что восприятие, легшее в основу нашего опыта, либо само по себе неполно и поверхностно, либо—принимая во внимание условия данного опыта—неправильно связано с результатами других восприятий. До тех же пор, пока мы правильно пользуемся нашими чувствами и удерживаем свою деятельность в рамках правильно полученных и примененных восприятий, до тех пор успех наших действий будет служить доказательством согласованности наших восприятий с об'ективной природой воспринимаемых вещей. Насколько известно, до сих пор не было ни одного случая, когда мы вынуждены были бы придти к заключению, что наши научно-проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу такие представления, которые по своей природе отклоняются от действительности, или что между внешним миром и нашими чувственными восприятиями существует прирожденная несогласованность.

Но тут является неокантианец-агностик и говорит: „Да, мы, может быть, и способны правильно воспринимать свойства вещей, но мы не в состоянии каким бы то ни было чувственным или умственным процессом постичь самое вещь. *Вещь в себе* лежит по ту сторону нашего познания". На это уже давно ответил Гегель: „Когда вам известны все свойства вещи, то вам известна и сама вещь; тогда уже не остается ничего, кроме того факта, что данная вещь существует вне вас и как только ваши чувства учли и это обстоятельство, вы уже постигли и последний остаток вещи—знаменитую кантовскую непознаваемую *вещь в себе*". К этому мы можем только прибавить, что во время Канта наше познание природных вещей носило еще в достаточной мере отрывочный характер, чтобы за каждой из них допускать еще существование особой таинственной *вещи в себе.* Но с того времени все эти непостижимые вещи, благодаря гигантскому росту науки, стали одна за другой постигаться, анализироваться и, что еще важнее, воспроизводиться. А то, что мы в состоянии сами *сделать*, то уже мы, во всяком случае, не можем отнести к непознаваемому. Для химии первой половины девятнадцатого века органические вещества были такого рода таинственными вещами. Теперь мы научились воспроизводить их одно за другим из химических элементов и без помощи органических процессов. Современная химия говорит: коль-скоро нам известны химический состав и строение какого-либо тела, то это тело может быть составлено из химических элементов. В настоящее время мы еще довольно далеки от точного знания состава и строения высших органических субстанций, так называемых белковых тел, но нет никакого основания отрицать, что, хотя бы через столетия, мы это знание приобретем и с его помощью сможем искусственно воспроизвести белок. Если же это будет достигнуто, то мы, следовательно, получим

возможность искусственно воспроизводить органическую жизнь, ибо жизнь, от ее низших до высших форм, представляет собою ничто иное, как нормальную форму существования белковых тел.

Но, сделав эти формальные оговорки наш агностик говорит и действует как завзятый материалист, каким он в сущности и является. Он может сказать: „Насколько *мы* знаем, материя и движение, или—как теперь говорят—энергия не могут быть ни созданы, ни уничтожены, но у нас нет никакого доказательства, что и та, и другая не были в какое-нибудь неизвестное нам время созданы". Но если вы попробуете использовать эту уступку в каком-нибудь конкретном случае против него, он быстро заставит вас замолчать. Допуская in abstracto возможность спиритуализма, он in concreto и слышать о нем не хочет. Он скажет вам: „Насколько мы знаем, не существует творца или правителя вселенной; насколько нам известно, материя и энергия так же не могли быть созданы, как не могут быть уничтожены; для нас мышление—только форма энергии, только функция мозга; все, что *мы* знаем, указывает на то, что материальный мир подчинен неизменным законам и т. д., и т. д.". Словом, поскольку он человек *науки*, поскольку он что-нибудь *знает*, постольку он и материалист; а за пределами своей науки, где он не чувствует себя дома, он переводит свое незнание на греческий язык и называет его агностицизмом.

Во всяком случае несомненно одно: будь я даже агностиком, я не мог бы назвать свою историческую теорию—„историческим агностицизмом". Иначе религиозные люди высмеяли бы меня, а агностики с негодованием спросили бы: не захотел ли я их высмеять? И таким образом мне остается только надеяться, что и британская „респектабельность" (по—немецки называется филистерством) будет не слишком возмущена, если я на английском, как и на многих других языках, употреблю выражение: „исторический материализм" для обозначения того исторического мировоззрения, которое конечную причину и определяющую движущую силу всех важных исторических событий видит в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в возникающем из этого распадении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой.

Быть может, их благосклонность еще более возрастет, если я покажу, что исторический материализм может оказаться полезным даже для респектабельного английского филистера. Выше я указал на то обстоятельство, что лет сорок-пятьдесят тому назад каждого приехавшего в Англию образованного иностранца неприятно поражало религиозное ханжество,—доходящее, как ему казалось, до религиозного помешательства—респектабельного среднего класса Англии. Я теперь покажу, что этот респектабельный класс в то время не был так глуп, как это могло казаться образованному иностранцу; его религиозные тенденции находят себе об'яснение.

Когда Европа вышла из эпохи средневековья, ее революционным лементом была восходящая буржуазия городов. Официально признан-ное положение, завоеванное ею внутри средневековой феодальной истемы, стало слишком тесным для ее дальнейшего развития. Сво-бодное развитие буржуазии стало более несовместимым с феодальной истемой, и феодальная система должна была пасть.

Но великим международным центром феодальной системы была имско-католическая церковь. Несмотря на все внутренние раздоры, на об'единяла всю феодальную Западную Европу в одно большое олитическое целое, противостоявшее как греко-православному, так и агометанскому миру. Она освятила феодальный строй венцом боже-ственной благодати. Свою собственную иерархию она устроила по еодальному образцу, да и сама она была самым крупным феодалом, ак как ей принадлежала, по крайней мере, третья часть всех като-ических земель. И прежде чем нанести удар светскому феодализму каждой стране в отдельности, надо было разрушить центральную церковную организацию.

Но с ростом буржуазии шаг за шагом развилась также с не-обычайной силой и наука. Снова стали заниматься астрономией, механикой, физикой, анатомией, физиологией. Для развития своего промышленного производства буржуазия нуждалась в науке, которая исследовала бы свойства тел и деятельность сил природы. До этого времени наука была по отношению к церкви лишь смиренной слу-жанкой, которой не позволялось переступать установленные верой границы,—коротко говоря, она была всем, только не наукой. Теперь наука об'явила бунт церкви, а буржуазия, нуждаясь в науке, при-соединилась к этому бунту.

Вышеизложенным я затронул только два пункта, в которых расцве-тавшая буржуазия приходила в столкновение с господствовавшей церковью. Но и сказанного вполне достаточно для доказательства, во-первых, того, что наибольшее участие в борьбе против владычества католической церкви принимала буржуазия, и, во-вторых, того, что всякая борьба против феодализма должна была тогда облачиться в религиозный наряд и в первую голову направить свои удары против церкви. Но если боевой клич исходил из университетов и торговых кругов городов, то он неизбежно находил живой отклик в массах крестьянского населения, которое повсюду вело ожесточенную борьбу против духовных и светских феодалов за самое свое существование.

Великая борьба европейской буржуазии против феодализма до-стигла своего кульминационного пункта в трех решительных битвах.

Первая—это то, что мы в Германии называем реформацией. Ответом на призыв Лютера к бунту против церкви были два политических восстания: сперва—низшего дворянства под предводительством Франца фон-Зиккингена в 1523 году, затем—великая крестьянская война

1525 г. Оба они были подавлены, главным образом, вследствие нерешительности наиболее заинтересованной стороны—городской буржуазии; причину этой нерешительности мы здесь об'яснять не будем. С этого момента борьба выродилась в нескончаемую свару отдельных князей с центральной властью императора, и в результате этой свары Германия была на целых 200 лет вычеркнута из рядов политически-активных наций Европы. Лютеранская реформация превратилась, конечно, в новую религию, и как-раз в религию, пригодную для абсолютной монархии. Как только крестьяне северо-востока Германии приняли лютеранство, они из свободных людей превратились в крепостных.

Но что не удалось Лютеру, то успел Кальвин. Его догма отвечала потребностям наиболее отважной части тогдашней буржуазии. Его учение о предопределении было религиозным выражением того факта, что в торговом мире, в мире конкуренции, успех или банкротство зависят не от деятельности и ловкости отдельной личности, а от обстоятельств, вне ее лежащих. „Определяет не воля отдельного человека и не его деяния, а милость“ могучих, но неизвестных экономических сил. И это было безусловно верно в эпоху экономического переворота, когда все прежние торговые пути и центры были вытеснены новыми, когда были открыты Америка и Индия, когда даже ценность золота и серебра, этих издавна почитаемых экономических святынь, стала колебаться и стремительно падать. При этом церковный строй Кальвина был всецело демократическим и республиканским; но там, где царство Божие стало республиканским, могли ли земные царства остаться верноподданными своих королей, епископов и феодалов? Если лютеранство дало удобное орудие в руки мелких немецких князей, то кальвинизм основал республику в Голландии и сильные республиканские партии в Англии и особенно в Шотландии.

В кальвинизме второе великое движение буржуазии нашло себе уже готовую боевую теорию. Движение это произошло в Англии. Городская буржуазия дала толчок революции, а среднее крестьянство (yeomanry) сельских округов довело борьбу до победы. И интересно отметить, что во всех трех буржуазных революциях крестьянство поставляло главную армию борцов, но оно же было как-раз тем классом, который больше всего разорялся от экономических последствий одержанной им победы. Через сто лет после Кромвеля английские yeomanry почти совершенно исчезли. Но во всяком случае, только благодаря вмешательству этих yeomanry и плебейских элементов городов, борьба была доведена до решительного конца, и Карл I был взведен на эшафот. Именно для того, чтобы буржуазия могла пожать уже созревшие плоды победы, было необхоимо, чтобы революция зашла гораздо дальше своей первоначальной цели—точь-в-точь, как в 1793 г. во Франции и в 1848 г. в Германии. Указанное явление, повидимому, представляст собою один из законов развития буржуазного общества.

Этот излишек революционной деятельности сменился неизбежной реакцией, которая, в свою очередь, тоже пошла дальше своей цели. После целого ряда колебаний новый центр тяжести был, наконец, найден и послужил исходным пунктом для дальнейшего развития. Замечательный период английской истории, называемый филистерами эпохой „великого мятежа", и следовавшие за ним битвы завершились сравнительно ничтожным событием 1689 года, которое либеральные историки называют „славной революцией".

Новым исходным пунктом был компромисс между развивающейся буржуазией и некогда феодальными крупными землевладельцами. Хотя последние тогда, как и сейчас, назывались аристократами, но они уже давно находились на пути к тому положению, какое значительно позже занял Луи-Филипп во Франции: именно, к положению первых буржуа нации. К счастью для Англии, старые феодальные бароны уничтожили друг друга в войнах между белой и алой розой. Их наследники—хотя большей частью и отпрыски тех же старинных фамилий—происходили, однако, из столь отдаленных боковых линий, что они составили совершенно новую корпорацию; их привычки и стремления отличались гораздо более буржуазным характером, чем феодальным; они прекрасно знали цену денег и быстро принялись вздувать земельную ренту, вытесняя своими овцами сотни мелких арендаторов. Генрих VIII массами создавал новых буржуазных лэндлордов, раздавая направо и налево и продавая за бесценок церковные имущества; к этому же приводили беспрерывно продолжавшиеся до конца семнадцатого столетия конфискации крупных поместий, переходивших затем к временщикам разного ранга. Вот почему английская „аристократия" со времени Генриха VIII не только противодействовала развитию промышенного производства, но, наоборот, старалась извлечь из нее для себя пользу. Точно также всегда находилась часть крупных землевладельцев, которая из экономических или политических соображений готова была к совместной деятельности с руководителями финансовой и индустриальной буржуазии.

Благодаря всему этому, компромисс 1689 г. легко осуществился Политические spolia opima—должности, синекуры, большие оклады—остались за крупным поместным дворянством, но под тем условием, что оно в достаточной мере будет блюсти экономические интересы среднего класса, занятого финансовыми, промышленными и торговыми делами. А эти экономические интересы к тому времени были уже достаточно могущественны; в конце концов они стали определять общую политику нации. По отдельным вопросам еще могли быть споры, но, аристократическая олигархия слишком хорошо знала, что ее собственное преуспеяние неразрывной цепью связано с процветанием промышленной и торговой буржуазии.

С этого времени буржуазия стала хотя и скромной, но официально признанной составной частью господствующих классов Англии. Вместе с аристократией буржуазия была заинтересована в угнетении широких трудящихся масс народа. По отношению к своим приказчикам, рабочим, прислуге купец и фабрикант занимают положение хозяев-кормильцев или, как в Англии еще недавно выражались: „поставленных самой природой начальников“. Буржуа должен выжать из своих рабочих возможно больше труда возможно лучшего качества; а для этого ему необходимо воспитать их в соответвующей покорности. Сам он религиозен; религия ему дала то знамя, под которым он боролся с королями и лордами; очень скоро он в религии открыл также средство для обработки душ своих подчиненных в духе послушания всем приказам хозяина-кормильца, поставленнного над ними неисповедимым божественным предопределением. Короче говоря, английский буржуа стал теперь участвовать в угнетении „низших классов“, широких трудящихся народных масс, и, как одним из необходимых для этого средств, стал пользоваться влиянием религии.

Но сюда присоединилось еще одно обстоятельство, усилившее религиозные симпатии буржуазии, именно—возникновение в Англии материализма. Это новое безбожное учение не только возмутило богобоязненное среднее сословие; оно, кроме того, об'явило себя философией исключительно для ученых и образованных светских людей в противоположность религии, которая-де в достаточной мере годится для широкой необразованной массы, включая сюда и буржуазию. В лице Гоббса материализм выступил на сцену в роли защитника королевского всевластия и призывал абсолютную монархию к обузданию народа, этого puer robustus sed malitiosus. Равным образом и у последователей Гоббса—Болинброка, Шефтсбюри и др.—новая деистическая форма материализма осталась аристократическим, эзотерическим учением, ненавистным буржуазии не только за его религиозное еретичество, но и за его антибуржуазные политические симпатии. Вот почему, в противоположность материализму и деизму аристократии, боевые силы прогрессивного среднего класса составили протестантские секты, принимавшие главное участие в борьбе со Стюартами и посейчас еще образующие позвоночник „великой либеральной партии“.

Между тем, из Англии материализм перешел во Францию, где он застал другую материалистическую школу философии, вышедшую из картезианства, с которой он и слился.

И во Франции материализм вначале оставался исключительно аристократической доктриной. Скоро, однако, обнаружился его революционный характер. Французские материалисты не ограничивали своей критики областью религиозных вопросов: они подвергли также критике все научные традиции, все политические институты своего времени. Чтобы доказать всеобщую приложимость своей теории, они

избрали кратчайший путь: они отважно применили ее ко всем предметам знания в том гигантском труде, от которого они получили свое название—в знаменитой „Encyclopèdie". Так материализм—в форме ли открытого материализма, или в форме деизма—стал мировоззрением всего образованного молодого поколения Франции. Дело дошло до того, что в эпоху великой революции это, пущенное в ход английскими роялистами, учение дало французским республиканцам и террористам теоретическое знамя и помогло им выработать текст „Декларации прав человека".

Великая французская революция была третьим восстанием буржуазии, но первым, совершенно сбросившим с себя религиозное облачение и проведенным до конца открыто на политической почве. Зато оно было также первым, действительно доведенным до конца—до уничтожения одного из противников—аристократии и до полной победы другого—буржуазии.

В Англии непрерывность связи между до-революционными и пореволюционными институтами и компромисс между крупными землевладельцами и капиталистами нашли свое выражение в непрерывности действия судебных процендентов и в почтительном сохранении феодальных юридических форм. Во Франции, напротив, революция окончательно порвала с традициями прошлого, уничтожила последние остатки феодализма и в Code civil мастерски приспособила к новым капиталистическим отношениям старое римское право, это почти совершенное выражение юридических отношений, возникших на той ступени развития, которую Маркс обозначает, как „товарное производство",—до того мастерски, что этот революционный свод французских законов еще теперь служит для всех стран, не исключая и Англии, образцом при всякой реформе права собственности.

При этом, однако, не следует забывать одного: если английское право выражает экономические отношения капиталистического общества варварским феодальным языком, который так же мало соответствует выражаемой им вещи, как английская орфография английскому произношению (vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinopole,—пишется Лондон, а произносится Константинополь,—сказал один француз), то это самое английское право все же является единственным, сохранившим во всей чистоте и перенесшим в Америку и колонии лучшую часть той личной свободы, того местного самоуправления, той гарантии от всяких внешних посягательств, исключая лишь посягательства со стороны суда,—словом, лучшую часть всех тех старогерманских вольностей, которые погибли на континенте при абсолютной монархии и до сих пор еще нигде в полной мере не завоеваны вновь.

Но вернемся к нашему английскому буржуа. Французская революция дала ему прекрасный случай при помощи континентальных монархий подорвать морскую торговлю Франции, присоединить к

Англии французские колонии и подавить последние притязания Франции на морское соперничество. Это послужило первым основанием для борьбы английского буржуа с французской революцией. Вторым основанием было то, что ему совсем не по душе пришлись методы этой революции: не только ее „достойный проклятья“ терроризм, но и самая ее попытка довести господство буржуазии до крайних пределов. Разве может английский буржуа приняться за что-нибудь без своей аристократии, давшей ему манеры, изобретающей для него моды, поставляющей ему офицеров для армии—этой охранительницы порядка у себя дома, и для флота—этого завоевателя новых колониальных владений и рынков? Конечно, было и прогрессивное меньшинство буржуазии, люди, интересы которых не очень выиграли от компромисса; это меньшинство, состоявшее из менее состоятельных слоев среднего класса, симпатизировало революции, но оно не имело силы в парламенте.

Таким обоазом, чем более материализм становился символом веры французской революции, тем крепче богобоязненный английский буржуа держался за свою религию. И разве эпоха террора в Париже не показала, что получается, когда у народа отнята его религия? Чем больше материализм распространялся из Франции в соседние страны, усиливаясь родственными ему течениями—особенно немецкой философией,—чем больше материализм и, вообще, свободомыслие становились на континенте необходимым признаком образованного человека, тем все упрямее английский средний класс держался за свои разнообразные религиозные верования, которые, несмотря на все различия, были безусловно христианскими религиозными верованиями.

В то время, как во Франции революция обеспечила политический триумф буржуазии, в Англии—Уатт, Аркрайт, Картрайт и другие произвели промышленную революцию, совершенно переместившую центр тяжести экономического могущества. Богатства буржуазии стали теперь расти бесконечно быстрее, чем богатства земельной аристократии. Внутри самой буржуазии финансовая аристократия, банкиры и т. п. стали все более отступать на задний план перед фабрикантами. Компромисс 1689 г., даже после постепенно последовавших изменений его в пользу буржуазии, перестал соответствовать взаимным отношениям договорившихся сторон. Характер этих сторон значительно изменился: буржуазия 1830 года сильно отличалась от буржуазии предыдущего столетия. Оставшаяся еще у аристократии политическая власть, которой она пользовалась против притязаний новой промышленной буржуазии, стала несовместимой с новыми экономическими интересами. Новая борьба против аристократии стала необходимой, и эта борьба могла кончиться только победой новой экономической силы.

Под влиянием французской революции 1830 года прежде всего был проведен, несмотря на все сопротивления, акт об избирательной

реформе, создавший для буржуазии официально признанное могущественное положение в парламенте. Затем последовала отмена хлебных законов, раз навсегда установившая господство интересов буржуазии —именно, наиболее деятельной ее части—фабрикантов—над интересами земельной аристократии. Это было величайшей победой буржуазии, но зато и последней, одержанной ею исключительно в ее собственных интересах. Все свои дальнейшие триумфы она вынуждена была делить с новой социальной силой, действовавшей вначале в союзе с буржуазией, но затем ставшей ее соперницей.

Промышленная революция создала класс крупных фабрикантов, но она же создала гораздо более многочисленный класс фабричных рабочих. Этот класс все увеличивался численно по мере того, как промышленная революция захватывала одну отрасль производства за другой. Но вместе с его числом выросла и его сила, и это сказалось уже в 1824 году, когда он заставил упрямый парламент отменить законы против свободы коалиций. Во время агитации за избирательную реформу рабочие составляли радикальное крыло партии реформы; но когда актом 1832 года рабочие были лишены избирательных прав, они об'единили свои требования в народной партии (people's charter) и образовали, в противоположность большой буржуазной партии противников хлебных законов, свою независимую чартистскую партию, которая была *первой рабочей партией* нашего времени.

Затем разыгрались континентальные революции февраля и марта 1848 г., в которых рабочие играли такую значительную роль и где они, по крайней мере, в Париже, выступили с такими требованиями, которые были решительно недопустимы с точки зрения капиталистического общества. И тогда-то наступила всеобщая реакция: сначала поражение чартистов 10-го апреля 1848 г., затем, в июне того же года, разгром парижского рабочего восстания; потом неудачи 49 года в Италии, Венгрии, южной Германии; наконец, победа Луи-Бонапарта над Парижем 2-го декабря 1851 года. Так, по крайней мере на некоторое время, был уничтожен страшный призрак рабочих требований, но— какою ценою! И если английский буржуа еще раньше был убежден в необходимости держать простой народ в религиозной узде, то насколько острее должен был он почувствовать эту необходимость после всего им пережитого! И, ничуть не смущаясь насмешками своих континентальных коллег, он продолжал из года в год тратить тысячи и десятки тысяч в целях евангелизации низших слоев народа. Недовольный своими собственными религиозными аппаратами, он обратился к брату Ионафану, величайшему в то время организатору религиозных предприятий, и стал импортировать из Америки ревивализм и тому подобный религиозный товар; в конце он даже взял себе опасного защитника—„Армию Спасения“, вновь оживившую способ пропаганды первых христиан: она обращается к бедным, как к избранным, ведет

на свой религиозный лад борьбу с капитализмом и культивирует таким образом элементы древне-христианской классовой борьбы, которые в один прекрасный день могут оказаться весьма фатальными для богатых, выкладывающих теперь на это дело свои кровные денежки.

Можно признать за закон исторического развития, что ни в одной европейской стране буржуазия не может—по крайней мере, на более продолжительное время — в такой исключительной мере захватить в свои руки политическую власть, в какой ею владела феодальная аристократия в средние века. Даже во Франции, где феодализм был так основательно искоренен, вся буржуазия, как единый класс, обладала властью лишь на протяжении коротких периодов. При Луи-Филиппе от 1830 до 1849 г. господствовала только небольшая часть буржуазии, так как высокий имущественный ценз совершенно лишал большую часть ее избирательного права. Во второй Республике господствовала, правда, вся буржуазия, но всего только 3 года; ее неспособность к власти проложила дорогу для Второй Империи. И лишь теперь, при Третьей Республике, буржуазия, как целое, стоит уже целых 20 лет *) у кормила правления, но при этом она уже теперь обнаруживает отрадные признаки разложения. Долголетнее господство буржуазии было до сих пор возможным только в таких странах, как Америка, где никогда не существовало феодализма и где общество с самого начала стояло на буржуазной почве. И даже во Франции и Америке в дверь буржуазии уже громко стучится ее наследник—рабочий.

В Англии буржуазия никогда не пользовалась нераздельным господством. Даже после победы 1832 г. в руках аристократии осталось почти исключительное обладание всеми высшими правительственными постами. Покорность, с какою богатый средний класс мирился с этим явлением, оставалась для меня непостижимой, пока в один прекрасный день крупный либеральный фабрикант В. А. Форстер не произнес речи, в которой заклинал молодых людей Бредфорда, ради их собственных успехов в жизни, изучать французский язык, причем рассказал, в каком глупом положении он очутился однажды, когда, ставши государственным министром, был приглашен в одно общество, в котором французский язык был по меньшей мере так же необходим, как английский. И, действительно, тогдашние английские буржуа были в среднем совершенно невежественными выскочками и волей-неволей должны были предоставить аристократии все те высшие государственные посты, для которых требовались еще иные качества, кроме островной ограниченности и островной спеси, приправленных коммерческой хитростью **). Еще и теперь бесконечные газетные дебаты о „Midl

*) Статья эта написана Энгельсом в 1892 году.

*Примеч. перев.*

**) Даже в коммерческих делах эта национально-шовинистская спесь—скверный советник. До самого последнего времени средний английский фабрикант считал унизительным для англичанина употреблять какое-нибудь другое наречие, кроме своего собственного, и до известной степени гордил

class education“ *) показывают, что английский средний класс все еще не совсем считает себя пригодным для хорошего воспитания и все стремится к чему-нибудь поскромнее.

Итак, даже после отмены хлебных законов казалось само собой понятным, что люди, одержавшие победу,—все эти Кобдены, Брайты, Форстеры и т. д.,—остались вне всякого участия в официальном правительстве, пока наконец, спустя 20 лет, новая реформа не открыла им двери министерства. Но и до сих пор еще английская буржуазия так глубоко пропитана сознанием своего более низкого общественного положения, что она на свои собственные и народные средства содержит привилегированную касту тунеядцев, на обязанности которой лежит достойным образом представлять нацию во всех торжественных случаях, и что она считает себя удостоенной высшей чести, когда какой-нибудь буржуа признается заслуживающим принятия в эту замкнутую корпорацию, сфабрикованную, в конце-концов, самою же буржуазией.

Не успел еще промышленный и коммерческий средний класс окончательно отнять политическую власть у земельной аристократии, как на сцену выступил новый конкурент—рабочий класс.

Реакция, наступившая после чартистского движения и континентальных революций, и к тому еще невиданный рост английской индустрии между 1848 и 1868 гг. (приписываемый обыкновенно исключительно свободной торговле, но на самом деле об‘ясняемый колоссальным ростом числа железных дорог, океанских пароходов и, вообще, средств передвижения) вновь привели рабочих к либерализму,—и, как в до-чартистское время, они образовали его радикальное крыло. Скоро, однако, требования со стороны рабочих избирательного права стали непреодолимыми; в то время, как враги, вожаки либералов, нерешительно торговались, Дизраэли показал свое превосходство над ними; он использовал благоприятный для ториев момент и ввел в городских округах избирательную систему, включавшую всех занимавших отдельную квартиру, и вместе с тем изменил самые округа. Вслед за

тем, что эти „бедняги“ иностранцы селятся в Англии, избавляя его, таким образом, от труда вывозить свои товары за-границу. При этом не замечал, что эти иностранцы, большей частью немцы, забирают, таким образом, в свои руки большую часть английской внешней торговли, как по вывозу, так и по ввозу, и что непосредственные торговые сношения англичан с заграницей начинают постепенно ограничиваться пределами колоний Китая, Соединенных Штатов и Южной Америки. Еще меньше замечал он, что эти немцы торгуют за-границей с немцами же, покрывшими с течением времени весь мир целою сетью торговых колоний. Когда же лет сорок тому назад Германия серьезно принялась за производство предметов вывоза, она нашла в этих колониях готовое орудие, сослужившее ей большую службу в деле превращения ее в такое короткое время из страны, вывозящей хлеб, в промышленную страну первого ранга. Наконец, лет 10 тому назад английского фабриканта обуял страх, и он запросил своих посланников и консулов, как это случилось, что он не может уже удержать всех своих клиентов. Единогласный ответ был таков: 1) вы не изучаете языка ваших клиентов, а желаете, чтобы они говорили на вашем языке, и 2) вы совершенно не стараетесь удовлетворить потребностям, привычкам и вкусам ваших клиентов, а желаете, чтобы они усвоили ваши, английские.

*) Дебаты о постановке образования в средней школе.

этим последвало введение тайного голосования (the ballot); затем в 1884 г. избирательные права были распространены и на округа графств, причем самые округа были заново распределены и хоть несколько уравнены. Благодаря всему этому, сила рабочего класса на выборах так возрасла, что теперь в 150—200 округах рабочие составляют большинство избирателей. Но нет лучшей школы почтительного отношения к традиции, чем парламентская система. Если средний класс глядел благоговейно и почтительно на группу, прозванную в шутку Джоном Маннерсом—„нашим старым дворянством", то массса рабочих с неменьшим почтением смотрела тогда на так называемый „благородный класс"—буржуазию. И, действительно, лет 15 тому назад английский рабочий был образцовым рабочим; его почтительное внимание к положению своего работодателя, его самообуздание и кротость в собственных запросах изливали целительный бальзам на раны наших немецких катедер-социалистов, полученные ими от неискоренимых коммунистических и революционных тенденций их родного немецкого рабочего.

Однако, английские буржуа были деловыми людьми и несравненно более дальнозоркими, чем немецкие профессора. Только против собственной воли они делились своей властью с рабочими. Во время чартизма они хорошо изучили, на что способен народ, этот puer robustus sed malitiosus. С этого времени большая часть требований народной партии была им насильно навязана и вошла в законы страны. И теперь более, чем когда-либо, нужно было держать народ в узде посредством морали; но первым и самым важным средством морального влияния на массы осталась—религия. Отсюда—это главенство попов в школьном управлении, отсюда—все растущее самообложение буржуазии в пользу всевозможных сортов религиозной демагогии, начиная от ритуальностей и кончая „Армией Спасения".

И тогда-то настал триумф британского респектабельного филистерства над свободомыслием и религиозным индифферентизмом континентального буржуа. Рабочие Франции и Германии прониклись духом мятежа. Они повально были заражены социализмом, и при этом, по весьма понятным соображениям, отнюдь не пылали особенной любовью к законности тех средств, с помощью которых они надеялись завоевать господство. Puer robustus, действительно, становился день-ото-дня все более malitiosus. Что же оставалось делать немецкой и французской буржуазии для своего спасения, как не выбросить втихомолку свое свободомыслие, совсем на подобие развязного франта, который, когда его все более и более начинает одолевать морская болезнь, бросает дымящуюся сигару, которой он раньше хвастливо щеголял у борта корабля. Один за другим былые насмешники стали превращаться в весьма благочестивые создания; они стали отзываться с почтением о церкви, ее учениях и обрядах и даже сами принялись их проделывать,

поскольку, понятно, нельзя было их обойти. Французские буржуа стали отказываться по пятницам от мяса, а немецкие—терпеливо потели на своих церковных сидениях, выслушивая до конца бесконечные протестантские проповеди. Со своим материализмом они попали в беду, и последним и единственным средством спасения общества от полной гибели стал лозунг: „Религия должна быть поддержана в народе!“ К несчастью своему, они это открыли лишь после того, как сделали все, что было в человеческих силах, чтобы навсегда разрушить религию. И тогда-то наступило время, когда английский буржуа мог, в свою очередь, посмеяться над ними и крикнуть им: „Глупцы! это я мог бы вам сказать еще 200 лет тому назад!“

Все же я опасаюсь, что ни религиозная придурковатость английской буржуазии, ни post festum последовавшее покаяние континентальной не остановят подымающегося могучего пролетариатского потока. Традиция—великий тормоз, она—сила исторической инерции. Но в то же время она только пассивна, и потому должна уступить. Точно так же и религия не может служить долговечным оплотом для капиталистического общества. Раз наши юридические, философские и религиозные представления являются близкими или отдаленными отростками господствующих в данном обществе экономических отношений, то эти представления не могут надолго удержаться после того, как экономические отношения коренным образом изменились. Или мы должны поверить в сверх-естественное откровение, или же признать, что никакие религиозные проповеди не в силах поддержать распадающееся общество.

И, действительно, и в Англии рабочие вновь пришли в движение. Несомненно, они скованы еще всякого рода традициями: буржуазными традициями—сюда, напр., относится широко распространенный предрассудок, будто возможны только две партии: консервативная и либеральная, и будто рабочий класс должен искать свое спасение только в широкой либеральной партии; рабочими предрассудками, унаследованными со времени первых робких попыток самостоятельной деятельности—сюда, напр., относится исключение из многих старых trades unions всех тех рабочих, которые не отбыли определенного времени ученичества, чем каждый такой союз, в сущности, сам себе воспитывает собственных штрейкбрехеров. И все-таки, несмотря на все это, английский рабочий класс двигается вперед, о чем сам профессор Брентано вынужден был огорченно сообщить своим собратьям. Рабочий класс, как все в Англии, двигается медленными, отмеренными шагами: здесь—с нерешительностью, там—с нередко бесплодными попытками; местами—с чрезмерно осмотрительной недоверчивостью к *слову* „социализм“, проникаясь в то же время *сущностью* его; но он двигается вперед, и это движение охватывает один слой рабочих за другим. Теперь оно разбудило „необученных“ рабочих лондонского Ист-Энда,

спавших мертвым сном, и мы все видели, какой мощный толчек дали ему эти новые силы. И если поступь английского рабочего не соответствует нетерпению многих, то они не должны забывать, что именно рабочий класс сохранил в себе лучшие стороны английского национального характера и что всякий шаг вперед, сделанный в Англии уже, никогда не пропадает даром. И если сыновья старых чартистов, по изложенным выше причинам, не дали нам всего, что мы могли от них ожидать, то все позволяет думать, что внуки окажутся достойными потомками своих дедов.

Однако, победа рабочего класса Европы зависит не от одной Англии. Она может быть обеспечена лишь взаимодействием, по крайней мере Англии, Франции и Германии. В двух последних странах рабочее движение значительно опередило английское. В Германии оно даже отстоит на вполне измеримом расстоянии от победы. Успех, достигнутый там за последние 25 лет, не имеет себе равного. Он растет со все ускоряющейся быстротой. И если немецкая буржуазия доказала, как сильно страдает она отсутствием политической способности, дисциплины, мужества и энергии, то немецкий рабочий класс показал, что всеми этими качествами он обладает в богатой мере. Почти четыреста лет тому назад Германия была исходным пунктом первых великих восстаний среднего класса Европы; не возможно ли при теперешнем положении вещей, что Германия станет также ареной первой великой победы европейского пролетариата?

---

## К. КАУТСКИЙ.

### Бернштейн и материалистическое понимание истории.

Дать подробный критический разбор книги Бернштейна—это значит написать большую книгу: столь многочисленны затрагиваемые ею вопросы. В будущем, быть может, и явится необходимость взяться за такой труд. Но даже, если мы ограничимся критикой только главнейших положений Бернштейна, то и тогда мы будем иметь перед собой задачу, разрешение которой грозит выйти из рамок журнальной статьи. Поэтому я разделил свою критику на отдельные части и свои соображения по более практическим вопросам, по вопросам программы и тактики, напечатал в газете „Vorvärts". Здесь же (в „Neue Zeit") я предполагаю касаться лишь более академических вопросов метода и теории, отношения Бернштейна к материалистическому пониманию истории, к диалектике и к теории стоимости. Но и эти, на первый взгляд, чисто академические вопросы приведут нас к актуальным и практическим выводам. Пусть поэтому читатель не боится того, что мы целиком погрузимся в абстракции.

Бернштейн вполне правильно находит, что „никто не станет спорить, что главнейшей частью фундамента марксизма, так сказать, основным законом, проникающим всю систему Маркса, является его специфическая *историческая теория*, носящая название материалистического понимания истории. Всякое ограничение этой теории отражажается на взаимном отношении остальных частей системы Маркса. В виду этого каждое исследование правильности марксовой системы должно исходить из вопроса о том, верна ли и насколько верна эта теория.

„Вопрос о правильности материалистического понимания истории есть вопрос о *степени* исторической необходимости. Быть материалистом значит прежде всего признавать необходимость всего совершающегося... Таким образом материалист—это кальвинист без Бога" *).

Марксистское понимание истории в своей первоначальной форме, которую мы находим в предисловии к „Критике политической экономии", также было детерминистично, то-есть оно исходило из положения о необходимости всего совершающегося в мире социальном, как и во

*) Все цитаты без указания источника взяты из книги Бернштейна: „Предпосылки социализма и задачи социал-демократии".

*Прим. перев.*

всем остальном мире. Однако, утверждает Бернштейн, позже в „Капитале“, „Анти-Дюринге“ и, наконец, в некоторых письмах Энгельса, относящихся к началу 90-х годов, этот взгляд подвергся ограничениям.

„В настоящее время мы находим материалистическое понимание истории не в том виде, какой ему первоначально придали его творцы. У них самих совершило оно свое развитие, и сами творцы потом ограничили абсолютное его значение... Основная идея теории не теряет от этого в единстве, но зато сама теория выигрывает в научности. Благодаря этим дополнениям она впервые, действительно, становится теорией научного об'яснения истории... В качестве научной основы социалистической теории, материалистическое понимание истории годится лишь с приведенными выше дополнениями, и все выводы, при которых не обращено или недостаточно обращено внимания на указанное взаимодействие материальных и идеологических сил, должны быть соответственно исправлены,—все равно, делаются ли эти выводы самими творцами теории, или другими лицами...

„Философский или естественный научный материализм детерминистичен, марксистское же понимание истории не детерминистично; материальной основе жизни народов оно не приписывает безусловно определяющего влияния на формы этой жизни“.

Таков в главнейших чертах взгляд Бернштейна на материалистическое понимание истории.

Если мы станем его ближе рассматривать, то нам прежде всего бросится в глаза, что Бернштейн сваливает в одну кучу два вопроса, которые необходимо строго разделить: во-первых, вопрос о том, как Маркс и Энгельс понимали исторический процесс, и, во-вторых, вопрос о правильности этого их понимания. Он утверждает, что Маркс и Энгельс лишь вначале были детерминистами в истории, впоследствии же перестали быть таковыми,—*следовательно*, детерминистическое понимание истории ошибочно и ненаучно. Если бы даже посылки были верны, я бы все же решительно оспаривал такой вывод.

Правильно ли и насколько правильно материалистическое понимание истории—этот вопрос должен быть разрешен не на основании писем и статей Маркса и Энгельса, а только на основании анализа самой истории. Как ни уничтожающе отзывается Бернштейн об „удобном словечке“—*схоластика*, я совершенно согласен с Лафаргом, когда он называет схоластикой манеру дискуссировать вопрос о правильности материалистического понимания истории в пустом пространстве вместо того, чтобы проверить ее на конкретных исторических исследованиях. Такого же взгляда держались и Маркс и Энгельс, что не только мне лично известно из частных бесед с последним, но что доказывается также тем странным на первый взгляд фактом, что оба они очень редко и лишь кратко говорили о своей теории, но большую часть своей жизни потратили на применение ее к исследованию действительности.

Не менее замечателен другой факт, а именно, что те марксисты, которые, следуя их примеру, занимались материалистическим исследованием истории, никогда не расходились ни между собой, ни со своими учителями в определении того, что следует понимать под историческим материализмом. Не в том, конечно, смысле, чтобы каждый из нас безусловно соглашался с выводами других—даже многие выводы Энгельса и Маркса оказываются в настоящее время несостоятельными. Но среди историков марксовой школы нет споров о том, что все их исследования подтверждают историческую теорию, изложенную Марксом в упомянутом предисловии к „Критике политической экономии". Только не-историки оспаривают научный характер этой теории.

„Но,—говорит Бернштейн,—впоследствии Маркс и Энгельс стали на другую точку зрения и ограничили свою теорию, придав ей тем самым более научный характер".

И тут Бернштейн сваливает в одну кучу два вопроса, которые имеют, правда, много точек соприкосновения, но которые необходимо строго разделять, если не хотят вместо ясного ответа получить расплывчатый. Бернштейн совершенно ошибочно ставит знак равенства между детерминизмом и той теорией, которая признает, что состояние общества определяется развитием производительных сил. Прежде всего, ошибочно его утверждение, что быть материалистом значит признавать необходимость всего совершающегося. Конечно, материалист признает, что все совершается в силу необходимости, другими словами, что все явления нашего опыта подчинены закону причинности,—но, ведь, это признают и многие идеалисты. Поэтому, если даже согласиться с Бернштейном, что Маркс и Энгельс впоследствии ограничили определяющую силу производственных отношений и отвели идеям самостоятельную роль, то это отнюдь еще не значит, что их историческая теория потеряла свой детерминистический характер.

Возьмем для примера историческую теорию Бокля, который достаточно далек от марксизма. Бокль не имел еще никакого представления о том, что каждой общественной формации соответствуют свои особые экономические законы; он стоял еще на почве либеральной экономии, которой законы развитого товарного производства казались естественными законами всякого хозяйства; в истории он видел только два фактора—природу и дух, и основной пружиной исторического процесса он считал духовное развитие, прогресс нашего знания. Если под этим разуметь прогресс в области открытий и изобретений, то теория Бокля логически приводит к марксизму. Однако, стать на этот путь Боклю помешала его либеральная точка зрения, для которой законы господствующего способа производства представлялись естественными законами. С этой точки зрения общественный прогресс заключается в том, чтобы, все с большей ясностью

познавая естественные законы общественного развития, устроить общество сообразно этим вечным истинам.

Историческая теория Бокля совершенно отлична от теории Маркса, и, однако, она тоже решительно признает необходимость всего совершающегося.

Итак, мы должны провести резкую грань между утверждением Бернштейна, будто Маркс и Энгельс, в конце концов, отказались от исторического детерминизма, и тем его утверждением, будто впоследствии они стали приписывать экономическому фактору менее важную роль в историческом развитии.

Но из положений Бернштейна вытекает еще одно следствие. По определению Бернштейна, материалист,—это детерминист. Марксистское понимание истории,—говорит он,—вначале было детерминистическим, но затем освободилось от детерминизма. Но ведь Маркс и Энгельс до конца своей жизни оставались материалистами. Не значит ли это, что с точки зрения Бернштейна они вначале были последовательными мыслителями, а потом стали непоследовательными?

Этот переход от последовательности к непоследовательности является, конечно, в глазах Бернштейна переходом к более высокой научности, и он требует, чтобы мы приняли марксистскую теорию в ее непоследовательной, а не в ее последовательной форме.

Но что такое наука? Познание *необходимой* закономерной связи явлений. Явления, которые отличаются такой сложностью, что нет еще возможности отыскать их необходимую связь, так что мы видим в них только господство случая и произвола, такие явление лежат вне сферы науки. Прогресс науки заключается в ограничении царства случая и произвола, в распространении на него законов познанной необходимости. Великое деяние Маркса и Энгельса в том и состоит, что они более успешно, чем их предшественники, присоединили область исторического исследования к царству необходимости и тем подняли историю на степень науки. И вот приходит Бернштейн и заявляет, что их научная заслуга заключается в том, что они изгнали детерминизм из истории!

Особенно странным при этом является то обстоятельство, что Маркс и Энгельс сами никогда и не узнали о таком коренном перевороте, совершившемся в их мышлении. По словам самого Бернштейна, материалистическое понимание истории образует фундамент всей системы,—и вот из этого фундамента Маркс и Энгельс в ходе своего развития удаляют самую существенную его часть, детерминизм, и при этом до конца дней своих продолжают думать, что исповедуют ту же самую историческую теорию. В своем письме к Конраду Шмидту от 27-го октября 1890 г.—на это письмо ссылается и Бернштейн—Энгельс указывает „на 18-ое брюмера“, написанное в 1852 г., как на образец материалистического об‘яснения истории.

Какие убедительные доказательства необходимо было здесь привести, чтобы заставить нас признать, что марксистское понимание истории не детерминистично! А что дает нам Бернштейн?—*Ничего, абсолютно ничего.*

Или таким доказательством должна считаться ссылка Бернштейна на предисловие к „Капиталу"? Маркс говорит там о „естественных законах капиталистического производства", но тут же, по мнению Бернштейна, оговаривается, что „дело идет об этих проявляющихся и действующих *с железной необходимостью* „*тенденциях*". Бернштейн ухватывается за это слово „тенденция" и говорит: „Туда, где только-что говорилось о *законе*, вместо этого определенного понятия, проникает другое, очень гибкое: *тенденция*. А на следующей странице мы находим так часто цитируемое место, что общество может „сокращать и смягчать родовые муки естественных фаз развития".

Итак, „тенденция" кажется Бернштейну более гибкой, чем „закон", хотя бы то была тенденция, проявляющаяся и действующая с железной необходимостью. Но что иное означает в приведенном контексте слово „тенденция", как не закон, проявление которого задерживается или видоизменяется действием других законов? Планеты, вследствие силы тяготения, имеют тенденцию упасть на солнце, но действие закона тяготения уничтожается действием закона центробежной силы, который сообщает планетам тенденцию удаляться от солнца. Разве оба эти закона теряют значение железных законов природы оттого, что в этом случае они выступают лишь как тенденции?

Но разве общество не может сокращать и смягчать родовые муки естественных фаз развития? Конечно, может,—но каким путем? Только поняв *необходимость* этих фаз. И это понимание не есть нечто произвольное: оно зависит от свойств нашего интеллекта, от степени развития наших орудий исследования, от среды, определяющей нашу точку зрения.

Я не могу ни в чем открыть тут хотя бы малейшее смягчение или ограничение детерминизма. Не смешивает ли уж Бернштейн детерминистический принцип с механическим? Разумеется, социальное развитие никогда не совершается *механически*, а всегда представляет собою продукт деятельности и стремлений людей, одаренных сознанием; оно не совершается также по определенному, раз навсегда установленному *шаблону*. Но что это доказывает против присущего этому развитию характера *необходимости?*

Таким образом, пока Бернштейн не приведет более убедительных доказательств, мы будем считать его утверждение, будто марксистское понимание истории не детерминистично, *безусловно ошибочным.*

С только-что рассмотренным вопросом Бернштейн смешивает действительно связанный с ним вопрос о роли идей в историческом процессе. Развитие марксистского понимания истории, как утверждает

Бернштейн, выразилось, прежде всего, в сужении той роли, которую Маркс и Энгельс первоначально отвели в истории экономическому фактору. Но и в этом я не могу согласиться с Бернштейном: Энгельс также ничего не знал об этом развитии, в противном случае он не указал бы в 1890 году без всяких оговорок на „18-ое брюмера", как на образец материалистического об‘яснения истории. И тут Бернштейну не остается ничего другого, как из отдельных цитат вычитать нужное ему толкование хода развития Маркса и Энгельса.

Он начинает с предисловия к „Критике политической экономии". Там говорится: „Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процесс жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, но, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание". К этому месту Бернштейн делает, между прочим, замечание, что „во втором из цитированных предложений „сознание" и "бытие" противопоставляются так резко, что легко, сделать тот вывод, что люди рассматриваются только как живые агенты исторической силы, веления которой они исполняют бессознательно и против воли.

„Гораздо более условной является зависимость людей от производственных отношений в изложении сущности исторического материализма, данном Энгельсом еще при жизни Карла Маркса и с его согласия в полемическом сочинении против Дюринга. Там говорится, что *„конечные причины* всех общественных перемен и политических переворотов" следует искать не в умах людей, а в „изменениях способа производства и обмена". Но *конечные* причины заключают в себе содействующие причины другого рода"... и т. д. Но что в самом деле говорит Энгельс в приведенном выше месте? Он устанавливает, „что экономическая структура общества всякий раз образует реальную основу, которою в конечном счете может быть об‘яснена вся надстройка правовых и политических учреждений, равно как и религиозных, философских и всяких иных представлений, господствующих в данный исторический период. Таким образом идеализм был изгнан из своего последнего убежища—из истории, которая получила материалистическое об‘яснение, и был найден путь для об‘яснения сознания людей из их бытия вместо того, чтобы попрежнему об‘яснять бытие людей из их сознания".

Если сравнить это место из „Анти-Дюринга" с процитированным выше предисловием к „Zur Kritik", то окажется, что оба они *почти дословно* говорят одно и то же. У Энгельса мы даже находим целиком то положение, что бытие обусловливает сознание, и хотя Бернштейн утверждает, что Энгельс придает зависимости людей от производственных отношений „гораздо более условный" характер, ибо у Маркса способ производства *обусловливает* социальный процесс жизни, тогда как у Энгельса он только *об‘ясняет* его *в конечном счете*,—я все же

олжен открыто сознаться, что не в состоянии отыскать какую-нибудь азницу между обоими текстами.

„В своих более поздних трудах",—продолжает Бернштейн,—„Энельс ещё более ограничил определяющее значение производственных тношений. Особенно это заметно в двух письмах, напечатанных в ктябре 1895 г. в „Socialistisher Academiker"; одно из них относится к 890 г., другое—к 1894 г. В этих письмах „правовые формы", полиические, юридические, философские теории, религиозные воззрения догматы перечисляются в качестве факторов, влияющих на ход истоической борьбы и во многих случаях *преимущественно* определяющих е форму". „Существуют, следовательно,—говорится там далее,—бесисленные, перекрещивающиеся между собою силы, бесконечная группа араллелограммов сил, равнодействующей которых является историеское событие, которое само опять может быть рассматриваемо как родукт *силы, действующей в целом бессознательно и безвольно*".

Чем этот взгляд Энгельса отличается от изложенного в предисловии „Zur Kritik", из которого, по мнению Берштейна, „легко сделать тот ывод, что люди рассматриваются только как живые агенты историеской силы, веления которой они исполняют *бессознательно и против оли*"?

А что касается того, что теории и догмы определяют *формы* историческoй борьбы, то, ведь, еще Маркс в своем предисловии к „Zur Kritik" указал на то, что „при рассмотрении таких переворотов всегда еобходимо различать материальный, констатируемый с естественноаучной точностью, переворот в экономических условиях производства юридические, политические, религиозные, эстетические и философкие, короче говоря, идеологические формы, в которых люди сознают разрешают этот конфликт".

В чем же разница между 1859 г. и 1890 г.?

Мелочная придирчивость Бернштейна является тем более странной, то вывод, который он сам делает из этого мнимого хода развития арксистской теории, далеко не отличается точностью выражений: „Тот,—говорит он,—кто в настоящее время применяет материалистическую теорию истории, обязан применять ее в ее наиболее выработанной, а не в ее первоначальной форме, т.-е. обязан, наряду с развитием и влиянием производительных сил и производственных отношений, *принимать в расчет* правовые и моральные понятия, исторические и религиозные традиции каждой эпохи, влияние географических и прочих естественных факторов, к которым принадлежит также природа самого человека и его духовных способностей". „Принимать в расчет"—более неопределенное выражение трудно и придумать. Всякий, применяющий материалистический метод в об'яснении истории, само-собой разумеется по необходимости должен принимать в расчет все эти факторы: ведь, исследованию и об'яснению именно и подлежит связь между этими

факторами, их взаимное влияние, их пассивная или активная роль. И разве не каждому историку—безразлично, какой, исторической теории он придерживается,—приходится принимать все это в расчет? Спорным является не самое „принимание в расчет“, а выводы, какие отсюда делаются.

Но рассмотрим ближе отдельные факторы, на которые указывает Бернштейн: мы имеем тут, на-ряду с производительными силами и производительными отношениями, правовые и моральные понятия и исторические и религиозные традиции. Но что иное представляют собою традиции даже с точки зрения „более передовой“ формулировки материалистического понимания истории, как не продукт предшествовавших общественных форм, а, следовательно, и предшествовавших способов производства? То же самое относится к правовым и моральным понятиям, поскольку они перешли по традиции, а не возникли из существующей в данный момент общественной формы. Но и влияние естественной среды также представляет собою материальный фактор: Бернштейн сам говорит, что „у доисторических народов окружающая природа является решающей экономической силой“; природа, следовательно, является первобытным экономическим фактором. Таким образом, действующие на поверхности истории факторы, указываемые Бернштейном, при более внимательном рассмотрении могут быть сведены на тот же экономический фактор, и все его разсуждение в сущности сводится к тому, что историю данной эпохи нельзя об‘яснять экономической историей одной только этой эпохи, но что, кроме того, необходимо „принимать в расчет“ все предшествовавшее экономическое развитие вместе со всеми его традициями, начиная с первобытной эпохи. Это совершенно верно, но как-раз так поступали с самого начала Маркс и марксистские историки. Можно даже сказать, что в области исторических исследований марксистское направление является единственным, которое в должной мере принимает в расчет первобытную историю. Что историку-материалисту при каждом его исследовании приходится начинать ab ovo, это один из тех моментов, которые делают материалистическое об‘яснение истории несравненно более трудным, чем всякое другое.

Если Бернштейн хотел сказать, что марксистская теория совершила известное развитие в том смысле, что первоначально она переоценивала непосредственное влияние господствующего в данный момент способа производства и недооценивала влияния предшествовавших способов производства, то это еще имеет кое-что под собой. Действительно, успехи в области исследования первобытной истории, едва только зародившейся ко времени возникновения исторического материализма, оказали значительное влияние на выработку этой теории. Развитие теории в этом смысле, действительно, можно установить, да и сами творцы материалистического понимания истории признали его

(напр., Энгельс в своем первом примечании к последнему изданию „Коммунистического манифеста“).

Напротив, та эволюция, которую Бернштейн заставляет проделать марксистскую теорию, никогда не признавалась ни Марксом, ни Энгельсом: Бернштейн просто логически выводит ее, сравнивая отдельные места из их сочинений, которые, поскольку они содержат ясную формулировку, говорят все одно и то же, поскольку же допускают различное толкование, могут без труда быть истолкованы в одном смысле.

Бернштейновский метод доказательств легче всего охарактеризовать, взяв пример в области естественных наук, где все отношения проще и нагляднее, чем в общественных науках. Предположим, что какой-нибудь естествоиспытатель выставил в своих первых сочинениях положение, что теплота и свет солнца являются в конечном счете источником всей органической жизни на земле. Через несколько лет его запросили, правда ли, что он утверждает, будто рост дерева зависит исключительно от непосредственно получаемого им количества солнечного света и теплоты. На это он, разумеется, отвечает, что нелепо так понимать его теорию, что он прекрасно знает, что свойства семени, почвы, смена влажности и сухости, направление и сила ветров и т. д. тоже оказывают влияние на рост деревьев. И вот приходит комментатор, смешивает *непосредственное* влияние солнца на рост растений с его влиянием в качестве единственного, *в конечном* счете, источника жизни на земле и затем заявляет, что теорию нашего естествоиспытателя следует понимать не в ее первоначальной, односторонней форме, а в ее последней, суженной, но зато гораздо более научной форме. Он при этом совершенно упускает из виду, что в такой форме теория, вообще, перестает носить научный характер, превращаясь в общее место, уже тысячелетия известное каждому крестьянину.

Не в таком резком виде, но подобным же образом обстоит дело с той эволюцией, которую будто бы проделала теория Маркса-Энгельса. Воззрение, признающее определяющую роль в истории не только за правовыми и моральными понятиями, традициями и естественными факторами, но и за способом производства,—такое воззрение вовсе не нуждалось в том, чтобы быть открытым Марксом и Энгельсом, так как оно было хорошо известно уже в XVIII в., что видно из некоторых примеров, имеющихся у меня случайно как-раз под рукой; число их я без труда мог бы значительно увеличить.

Родившийся более 200 лет тому назад Монтескье исследовал уже в „Духе законов“ влияние способа производства на идеологическую надстройку. „Законы,—говорит он в 8-й главе 18-й книги,—находятся в сильной зависимости от того способа, каким различные народы добывают себе пропитание“. И это положение он с большой глубиной

раз‘ясняет в следующих главах не только на примере охотничьих, кочевых и земледельческих народов, но и на примере товарного производства.

Недавно Кампфмейер указал в „Neue Zeit“ на И. Мезера, который уже сильно подчеркивал влияние способа производства на духовную жизнь „Религия горного жителя,—писал он,—отличается от веры пастуха“.

Наконец, для Гегеля совершенно ясно было значение экономического базиса для политической и идеологической надстройки. Так, в своей „Философии истории“ он об‘ясняет свободный феодализм Соединенных Штатов их экономическими отношениями: „Что касается политического строя Сев. Америки, то общая цель там еще не установлена, как нечто прочное в себе, и нет еще на-лицо потребности в прочной связи, ибо действительное государство и действительное правительство возникают лишь тогда, когда есть уже различие сословий, когда богатство и бедность стали заметны, и наступило такое положение, что огромная масса людей не в состоянии уже более удовлетворять обычным способом свои потребности. Но Америке не грозит еще такое состояние, ибо она все еще легко может найти выход в колонизации, и, действительно, масса людей беспрерывно устремляется на равнины Миссисипи... Если бы леса Германии не были истреблены, французская революция, наверное, не наступила бы“.

Таким образом то, что Бернштейн рекомендует нам, как самый зрелый плод мышления Маркса и Энгельса, в действительности представляет собою воззрение, которое они нашли уже готовым, когда еще только начинали мыслить.

В виду всего этого мы должны самым решительным образом высказаться против того изложения хода развития марксистской теории, которое нам дает Бернштейн. Не марксистское, а бернштейновское понимание истории развивалось в указанном им направлении, вместе с тем отдаляясь от марксистского.

Это, разумеется, еще не доказывает, что теория Бернштейна ошибочна.

Бернштейн, если я правильно его понял, подошел очень близко к точке зрения Бельфорта-Бакса. Существенное его отличие от Бакса заключается только в том, что он принимает другую хронологическую последовательность. Оба они в полном согласии признают, что в человеческой истории в одни периоды преобладает влияние идей, в другие —влияние экономических отношений; но в то время, как Бакс считает первобытную эпоху периодом могущества „психологического фактора“, Бернштейн, напротив, полагает, что, именно, в настоящее время экономический фактор все больше теряет свое значение.

„Чем в большей степени,—пишет Бернштейн,—на-ряду с чисто экономическими силами на жизнь общества влияют силы другого рода, тем все больше ослабляется господство того, что мы называ

исторической необходимостью. В этом отношении мы должны различать в современном обществе два крупных течения. С одной стороны, проявляется все растущее понимание законов развития и, именно, экономического развития. Рука об руку с этим процессом идет, отчасти как его причина, но отчасти также как его следствие, все растущая способность направлять экономическое развитие. Подобно физическим силам природы, и экономические силы из властителей человека превращаются в его слуг по мере того, как познается их сущность. Таким образом, теоретически общество противостоит экономическому фактору более свободным, чем когда-либо, и только антагонизм интересов между его элементами—сила частных, групповых интересов—препятствует полному превращению этой теоретической свободы в практическую. Однако, и здесь общий интерес все больше выигрывает в силе относительно интереса частного, и в той степени, как это происходит, и во всех тех областях, где это происходит, прекращается стихийное действие экономических сил. Их развитие предуготовлено и потому совершается быстрее и легче. Отдельные личности и целые народы освобождают таким образом все большую часть своей жизни от влияния необходимости, действующей без—или даже против—их воли.

„Но так как люди придают все больше значения экономическим факторам, то легко могло показаться, что в настоящее время последние играют большую роль, чем прежде. На самом же деле это не так Ошибочный взгляд вызван только тем, что экономический мотив выступает теперь открыто там, где он прежде был скрыт отношениями господства и всякого рода идеологиями. Современное общество много богаче, чем прежние общества, идеологическими формами, не определяемыми больше ни экономикой, ни природой, действующей как экономическая сила.

„Наука, искусства, большая часть социальных отношений зависят в настоящее время от экономии гораздо меньше, чем когда-либо прежде. Или, во избежание недоразумений, скажем, что достигнутый ныне уровень экономического развития предоставляет идеологическим и особенно этическим факторам больше места для самостоятельной деятельности, чем это было прежде. Вследствие этого причинная связь между технико-экономическим развитием и развитием прочих социальных учреждений делается все более посредственной, и вместе с тем естественная необходимость, господствующая в первом, становится все менее определяющей для той формы, которую примет второе.

„Железная необходимость истории испытала, таким образом, ограничение, означающее для практики социал-демократии не понижение, а повышение ее социалистических задач".

Здесь мы, наконец, выбрались из моря общих мест на твердую почву конкретных фактов, на которых только и возможно проверить правильность исторической теории.

Но эти факты, если даже признать соответствующим действительности их описание, данное Бернштейном, очень мало говорят в защиту его теории. Бернштейн утверждает, что в современном обществе проявляется все растущая способность направлять экономическое развитие, что экономические силы из властителей человека все более становятся его слугами, так что теоретически общество противостоит экономическому фактору более свободным, чем когда-либо прежде. Если бы даже все это было так, то что это доказывало бы против материалистического понимания истории (в той его форме, которую Бернштейн считает примитивной)? Бернштейн, очевидно, смешивает здесь *психическую* зависимость от экономических условий—с *экономической* зависимостью. Ведь вопрос заключается в том, определяются ли задачи, которые человечество в данный период ставит себе, и способы их разрешения—материальными условиями, в которых оно живет, или же человечество, действительно, в состоянии ставить себе задачи и разрешать их, исходя из какой-то мистической внутренней потребности. Вопрос этот решается совершенно независимо от того, овладело ли общество производственными отношениями или нет. Но если бы такая зависимость существовала, то и тогда результат должен был бы получиться не такой, как у Бернштейна. Не может, ведь, быть сомнения, что при первобытных формах хозяйства люди в гораздо большей степени господствуют над производственными отношениями, чем при капитализме, что там эти отношения гораздо более просты и ясны, и, следовательно, их легче познать. Крестьянская семья, которая сама производит все, что ей необходимо, держит всецело в своих руках процесс производства, поскольку он зависит от общественных, а не от физических факторов.

Почти так же обстоит дело и на первых стадиях товарного производства. Городской ремесленник в средние века был еще наполовину крестьянином, а поскольку он зависел от определенного круга заказчиков, он имел дело с известными, легко учитываемыми величинами. Дело изменилось с появлением купца и с развитием мирового рынка. Экономические силы становятся уже независимыми от человека и стоящими над ним общественными силами, которые действуют со стихийностью сил природы. Если бы зависимость человека от этих сил была тождественна с его психологической зависимостью от среды, т.-е. с зависимостью сознания от бытия, тогда мы должны были бы отметить возрастание этой зависимости, и значение материалистического об‘яснения истории усилилось бы, а не ослабилось бы, как думает Бернштейн.

Факты эти ему хорошо известны. На чем же основывает он свое утверждение, что человек все больше овладевает экономическими силами в современном обществе? Конечно, в пределах самого этого общества мы можем различить одни периоды, когда экономические силы

совершенно не повинуются человеку, и другие, когда человек думает, что всецело овладел ими: первые—это периоды кризиса, вторые—экономического под'ема. Последние несколько лет мы как-раз и переживаем такой период промышленного под'ема. Неужели же этого достаточно Бернштейну, чтобы вывести отсюда исторический закон для „совеременного общества" и признать для него непригодным материалистическое об'яснение истории? В таком случае его новейшая историческая теория построена на весьма ненадежном фундаменте *).

Но кто это „общество", кто эти „люди", все более подчиняющие себе экономические силы? Крестьяне ли это, ремесленники, мелкие торговцы? Или наемные рабочие? Или, быть может, мелкие капиталисты и юнкера? Все они—в хорошие, как и плохие времена—попадают во все большую зависимость от кучки магнатов капитала, которые и составляют то „общество", то „человечество", которое „противостоит экономическому фактору более свободным, чем когда-либо прежде".

Правда, Бернштейн говорит только о теоретической свободе. Превращению ее в свободу пратическую мешает господствующая противоположность интересов, которая, однако, вытесняется—нота бене: в существующем обществе—„общим интересом", который „все больше выигрывает в силе относильно интереса частного".

Читая это, я не верил своим глазам и тщетно старался отыскать такие факты, которые могли бы служить основанием для такого смелого утверждения. Где, у какого общественного класса можно наблюдать вытеснение классовых интересов общим интересом? У аграриев, которые требуют подачек без конца? У ремесленников и мелких торговцев, которые хотели бы наложить запрещение на всякое рациональное хозяйство? Или у представителей крупной промышленности, которые стремятся путем покровительственных пошлин и картелей установить монопольные цены на свои продукты? Все они домогаются привилегий насчет общих интересов, в данном случае насчет интересов государства и потребителей, все они стараются их *ограбить*. Единстенным классом, отстаивающим общие интересы,—поскольку о них, вообще, можно говорить в обществе, построенном на классовых противоречиях,—является пролетариат, не потому, чтобы пролетарии были более нравственными людьми, а просто потому, что интересы пролетариата совпадают с интересами социального развития и что ему, как самому низшему классу, приходится, в конце-концов, оплачивать стоимость всякой привилегии высших классов. Поскольку, таким образом, растет сила пролетариата, можно, конечно, говорить об усилении „общего интереса". Но не это, ведь, имеет в виду Бернштейн, когда он говорит о преодолении классовых противоречий путем совершенствования разума и этики.

*) Статья была написана Каутским в 1899 г. Вскоре промышленный под'ем в Германии, действительно, сменился кризисом.

Он полагает, что „достигнутый ныне уровень экономического развития предоставляет идеологическим и особенно этическим факторам больше места для самостоятельной деятельности, чем это было прежде". Бернштейн говорит это, чтобы оградить от недоразумений свое положение, что „науки, искусства, большая часть социальных отношений зависят в настоящее время гораздо меньше от экономии, чем когда-либо прежде". Но его положение не становится от этого менее двусмысленным. О какого рода зависимости говорит он здесь? Хочет ли он сказать, что сознание людей в настоящее время менее зависит от их бытия, что среда меньше влияет на душевную жизнь, что в настоящее время люди сами по своему произволу ставят себе задачи и сами по своему произволу изобретают средства для их разрешения? В таком случае его положение представляет собою бездоказательное утверждение того, что он желает доказать. Или, быть может, он хочет сказать, что наука, искусство, этика находятся в настоящее время не в такой *непосредственной* зависимости от *господствующих в данный момент* экономичеких сил? Но разве это не равносильно утверждению, что другие силы, влияющие на них,—природные способности и традиции,—оказывают в настоящее время более сильное влияние, чем прежде,—в настоящее время, когда человек получил большую, чем когда-либо прежде, власть над природой, когда рассовые отличия все более стираются благодаря частым сношениям, когда господствует способ производства, непрестанно революционизирующий все отношения, разрушающий все прежние традици и не дающий на их месте образоваться новым!

Или, может быть, Бернштейн хочет сказать, что в настоящее время интеллигенция меньше зависит от экономически господствующих классов, что она может более самостоятельно проявлять свою деятельность, чем прежде? Но с тех пор, как существуют классовые различия, до самой капиталистической эры образованность всегда была уделом господствующих и имущих классов, она являлась привилегией господствующего положения и обладания имуществом. Интеллигентные элементы либо составляли единственный господствующий класс,—как мы это видим повсюду в начальный период разделения общества на классы, а также в классической Греции,—либо они образовывали, рядом с кастой воинов, особый класс—жреческую касту. Какую власть сумела забрать в свои руки эта интеллигенция—всем известно; кто не знает о мировом господстве средневековой церкви. Только капиталистический способ производства превратил интеллигенцию из класса господствующего в наймитов господствующего класса. Никогда зависимость интеллигенции от экономически-господствующих классов не была так велика, как в настоящее время.

Но как ни противоречит этот факт выставленному Бернштейном положению, мы в нем самом можем найти момент, позволяющий нам истолковать это положение в соответствии с фактами действительности.

Интеллигенция перестала быть господствующим классом. Но она, вообще, перестала представлять собою один сплоченный класс: она состоит из отдельных индивидуумов и групп с самыми различными интересами. Как не раз уже отмечалось, эти интересы соприкасаются отчасти с интересами буржуазии, а отчасти с интересами пролетариата. Благодаря своему образованию, интеллигенция раньше других классов получает способность с более высокой точки зрения рассматривать социальное развитие. Не находясь во власти резко выраженных классовых интересов, действуя часто на основании более глубокого понимания общественных отношений, представители интеллигенции чувствуют себя представителями общего интересса, не зависимого от интереса классового, представителями идей, не зависимых от экономических мотивов.

И так как интеллигенция непрерывно растет, то вместе с нею, повидимому, возрастает значение общего интереса в противоположность интересу классовому, возрастает независимость искусств, наук и этических воззрений от экономических сил. Только толкуя таким образом положения Бернштейна, мы сможем понять их. Но, теряя свой мистический характер, они вместе с тем теряют всякую доказательную силу против исторического материализма. На-ряду с этим нам теперь становится понятным то толкование, какое Бернштейн придает материалистическому пониманию истории.

Благодаря изложенному только-что ходу развития, интеллигентские слои проникаются тем большими симпатиями к пролетариату, чем сильнее рост пролетарского движения угрожает существующему общественному строю, чем больше экономическое положение многочисленных слоев интеллигенции приближается к положению пролетариата, чем острее дает себя чувствовать зависимость от грубого самодурства власть имущих. Но лишь немногие представители интеллигенции переходят прямо в ряды борющегося пролетариата. И ее промежуточное положение между обоими борющимися классами не только мешает ей занять определенную позицию в этой борьбе, но и делает ее, вообще, неспособной к борьбе. „Если интеллигенция,—писал я недавно,—похожа на прежнюю мелкую буржуазию по своей политической неустойчивости, то она отличается от нее своей полной неспособностью к борьбе. Без классового сознания, без организации, без внутренней связи, распадаясь на бесчисленное множество групп и отдельных личностей, постоянно между собою враждующих, не имея экономического базиса, ведя буржуазный образ жизни и не располагая пролетарскими средствами защиты своих интересов,—члены этого нового среднего сословия не в силах проявить хоть какую-нибудь способность к борьбе, не опираясь на другие классы“.

Нет ничего удивительного, что перспектива надвигающейся на нас решительной борьбы между капиталистическим и пролетарским

миром наполняет их сердца ужасом, и, подобно похищенным сабинянкам, они бросаются между обеими борющимися сторонами и заклинают их помириться или, по крайней мере, применять менее вредоносные средства борьбы.

Но откуда взять ту силу, которая должна преодолеть или, по меньшей мере, смягчить резкость противоречий? Отчаявшись найти ее в экономике, они стали искать ее в этике. Независимость от экономических сил и стоящая над ними этика—вот та сила, которая усмирит непокорных, разрешит противоречия в гармонии и заменит борьбу мирным развитием.

Но для такого рода этики нет места в рамках материалистического понимания истории; и потому это последнее является врагом, которого необходимо разбить в первую голову для того, чтобы этика могла вступить в свои права. Характерно, что не историки, а этики—философы и экономисты—об‘являют исторический материализм разбитым,—до того разбитым, что они все в большем числе выступают против него в поход.

Против этого потока, очевидно, не мог устоять и Бернштейн. Но теория исторического материализма кажется ему достаточно гибкой для того, чтобы, признавая правильность этической „критики", все же остаться последователем марксистского понимания истории: он полагает даже, что Маркс и Энгельс проделали ту же эволюцию. Он не видит, что это есть эволюция от последовательного, глубокого и ясного мышления к непоследовательному, плоскому и расплывчатому, что это есть научный регресс как-раз в основном вопросе.

Речь идет здесь не просто об академическом вопросе. Примирение исторической необходимости с нравственной свободой в том смысле, в каком это делает историческая теория Бернштейна, означает для практики социал-демократии компромисс между необходимостью экономического развития и свободой утопизма, компромисс между классовой борьбой и примирением классовых противоречий.

Д-р К. ФОН-КЕЛЛЕС-КРАУЗ.

проф. „Collège des Sciences Sociales“ в Париже и „Université Nouvelle“ в Брюсселе.

## Что такое экономический материализм?

### Доклад четвертому международному социалистическому конгрессу.

Прежде, чем мы перейдем к дискуссии по вопросу о материалистическом понимании истории, поставленному на очередь дня предыдущим конгрессом, необходимо, думается мне, чтобы последователь этого учения изложил его основы и выяснил его действительный смысл. Эта задача возложена на меня. Многие, пожалуй, скажут, что это совершенно излишне: разве наш учитель Карл Маркс не дал еще в 1859 г., в своем предисловии „Zur Kritik“, сжатое и точное изложение своей социальной философии? И разве это его предисловие, столь часто цитируемое и перепечатываемое, не послужило, с одной стороны, исходным пунктом для дальнейшей разработки его теории, а с другой—мишенью для всякого рода критиков?

На это я должен возразить, что данная там формулировка материалистического понимания истории, несмотря на всю глубину, логическую последовательность и точность мысли Маркса, не вполне, однако, соответствует современному состоянию этого учения. Как известно, Маркс воспитался на немецком идеализме; он сделал попытку выпрямить его, поставить его на землю,—чтобы он не стоял более, как у Гегеля, „на голове“,—не отнимая у него, однако, того, что в нем было действительно великого и истинного: его монизма и его революционной диалектики. Но так как Маркс, таким образом, формулировал свою философию, взяв исходным пунктом идеализм, так что она явилась одновременно его дальнейшим развитием и противоположностью, то выражения, употребляемые Марксом, часто имеют чисто условный смысл, который легко приводит к недоразумениям, как это, напр., случилось с противопоставлением „сознания“—„бытию“. Кроме того, указанное предисловие не обнимает всей совокупности идей, составляющих в настоящее время содержание материалистического понимания истории. Энгельс, пользуясь, правда, заметками и указаниями своего друга и учителя, прибавил к социальной философии Маркса новую главу о первобытной истории и тем дал, в предисловии к „Происхождению семьи, собственности и государства“, новый „текст“

для той категории критиков, которых профессор Лабриола довольно зло назвал „филологами“.

Прошло много времени, в течение которого материалистическое понимание истории приобрело все больше последователей, часто применявших эту теорию при составлении монографий и программ, при разрешении разного рода практических и теоретических вопросов— пока самый выдающийся из учеников Маркса, Карл Каутский, не увидел себя вынужденным на-ново изложить и точнее установить основы этого учения, так как критические нападки на него сплошь и рядом основывались на недоразумениях. Поводом послужила полемика, возгоревшаяся между ним и Бельфорт-Баксом в 1896 г.; в этой полемике Каутский изложил, в ряде статей, основы материалистического понимания истории с такой ясностью, что каждый, хоть несколько интересующийся этим вопросом, обязательно должен прочитать эти его статьи. Но Каутский писал их с полемической целью и по случайному поводу, одновременно защищаясь и нападая, и поэтому не все стороны вопроса в них равномерно освещены и с достаточной полнотой развиты. Таким образом мы видим, что до сих пор еще не дано ясного, краткого, но по возможности полного и систематического изложения материалистической или, как я охотнее выразился бы, *моно-экономической* социологии. Такое изложение я и хочу представить вам в виду предстоящей дискуссии, так как никто другой не берет на себя этой задачи. И, не смотря на это как на простой ораторский прием, я попрошу не только вас, но и всех последователей нашего учения, о снисходительном отношении к моему докладу. Ибо трудности, представляемые попыткой такого изложения, действительно велики: чтобы правильно оценить их, необходимо прежде всего обратить внимание на то, что с некоторого времени наше социологическое учение необычайно разрослось. И, действительно, чтобы начертать картину исторического материализма, хотя бы только в его главных чертах, но не отрывая их от целого, недостаточно в настоящее время взять за основу одни только сочинения Маркса и Энгельса; недостаточно даже остановиться на их духовных наследниках—*Каутском, Плеханове, Лабриоле,*—необходимо также обратиться к идеям и сочинениям всех тех марксистов, которые в меньшей степени поработали над возведением нашего здания; но и этого мало: необходимо также принять во внимание всех тех социологов, которые, как *Де-Грееф* и *Лориа,* находятся под марксистским влиянием, не примыкая непосредственно к школе Маркса, или, как *Роджерс, Лакомб* и *Липперт,* пришедших другим путем к тому же основному принципу; необходимо, наконец, использовать сочинения таких людей, которые часто против своего желания содействовали обоснованию нашего учения, как это, по моему мнению, случилось со всей, так называемой, исторической школой. Все эти различные течения могут в своих существенных

чертах образовать однородное целое, ибо все они вытекают из одного и того же источника—из великого социального движения XIX-го века, характерную черту которого составляет всепроникающая экономическая революция.

Но лишь только мы переходим к более детальному изложению, эта однородность, естественно, исчезает. Второстепенные черты, нередко все же имеющие большое значение, оказываются различными не только при переходе от одной группы к другой, но часто также при переходе от одного писателя к другому. Всякое подражание является в то же время новым творчеством, и, таким образом, единство учения неизбежно нарушается вследствие его распространения в разнородной среде; я имею здесь в виду то единство в более узком смысле, которое в любом процитированном „тексте“ позволяет признать целостность и тождество учения. Но отсюда следует, что и мое изложение, несмотря на все старания дать вам только синтетический обзор, будет носить на себе печать индивидуальных воззрений. Когда последователь какого-нибудь учения, желающий по мере сил своих содействовать его развитию, пытается отделить главные и основные черты учения от имеющих только второстепенное значение, то он, естественно, склонен бывает считать свои собственные мысли логически-необходимым выводом из основных принципов учения, выхватывая из этих принципов как-раз то, что может служить предпосылкой для его собственных выводов. Чтобы закончить вводную часть моего доклада, мне остается только обратить ваше внимание на то, что мое изложение, именно вследствие своей сжатости, будет недостаточно популярно, почему я и прошу вашего благосклонного внимания, дабы не натолкнуться во время предстоящей дискуссии на недоразумение, как это, к сожалению, часто случается.

1.

Всю человеческую жизнь можно свести к трем фактам: *человек—природа—общество*. Эту сжатую, а потому неточную формулу необходимо расширить; под указанными факторами мы понимаем: признаки, образующие вид „Homo“, естественную среду каждой данной местности, т.-е. космические, геологические, топографические условия, мир животных и растений и т. д.; наконец, постоянные отношения, существующие между людьми. Человеку приходится добывать себе средства к жизни и защищать свою жизнь от всякого рода опасностей. Эта, именно, необходимость и заставила его вступить в связь с другими людьми,—потому ли, что такая связь, возникнув естественным образом между матерью и детьми, служила человеку защитой в самом нежном возрасте его жизни, превращаясь затем в повелительный инстинкт (в таком случае можно было бы сказать, что жизнь в обществе является естественным состоянием человека); потому ли, что постоянная забота о лучшей организации защиты и более интенсивном производстве связывает между собой, более или менее добровольно, мать, отца

и детей, а в дальнейшем развитии—семьи, племена, народы; потому ли, наконец, что члены развитого общества приходят к сознанию полнейшей невозможности порвать общественные узы и жить вне общества. А одного факта общественной связи достаточно, чтобы в корне изменить отношения между природой и живым существом,—безразлично, будет ли то человек, или животное, ибо общественная связь создает *искусственную среду*, которая становится между людьми и животными и *естественной средой*, видоизменяя влияния этой последней в пользу членов общества.

Но забота о все более интенсивном производстве и все лучшей организации защиты приводит не только к образованию общества, но и к созданию орудий, представляющих собою ничто иное, как те же природные органы человека, только усиленные и лучше приспособленные искусственным путем, но лишь при помощи средств, доставляемых окружающей естественной средой. Так как изолированный и предоставленный своим единичным силам человек не в состоянии достигнуть сколько-нибудь значительного усовершенствования орудий, то мы видим, что уже на очень ранних ступенях развития изготовление орудий тесно связано с обществом, так что оба эти момента—общество и орудия—друг друга обусловливают и вместе образуют единую искусственную среду, защищающую и изолирующую человека от внешней природы. В этом и заключается отличительная особенность человеческого рода. Ибо также у животных мы нередко встречаем орудия, а еще чаще совместную жизнь в обществе, но только у человека орудия получают общественный характер, который до такой степени повышает охраняющую и изолирующую силу искусственной среды, что человек высоко подымается над всем миром живых существ.

Первое замечательное проявление этой силы искусственной среды сказывается в одном только человеку свойственном способе приспособления. У всех животных приспособление к новой естественной среде достигается соответствующим изменением органов, вообще соответствующими органическими изменениями. А если такое изменение не может осуществиться, то животное осуждено на гибель, как только оно попадет в новую среду. Человек, напротив, приспособляется к самой разнообразной среде путем простого *изменения орудий*, и, благодаря этому, природные границы, в которых он может жить, все более расширяются, хотя он сам, т.-е. физический его организм, остается почти неизменным в самых различных условиях места и времени.

Вместо человеческого организма, изменяются орудия под влиянием никогда непрекращающегося стремления к более интенсивной производительности труда. Но изменения эти совершаются быстро и заметно лишь с того момента, как орудия получили общественный характер. Между тем, еще до этого человек в течение многих сотен лет жил на земле посреди разного рода геологических и климатических

переворотов, подвергаясь всем их воздействиям; и, как все животные, он влачил однообразную, всегда себе равную жизнь, без заметных психических изменений, без истории. История человечества, столь краткая и столь богатая содержанием, начинается только с того момента, как орудия производства и защиты стали носить общественный характер. Но за весь период человеческой истории нельзя указать сколько-нибудь заметных изменений ни в окружающей естественной среде, ни в организме человека; единственное, что изменилось в ходе исторического развития,—это общество, и, таким образом, эволюция общества, его история, обусловлена развитием орудий производства. (Орудия защиты мы рассматриваем как простую разновидность орудий производства, по сравнению с которыми их значение все больше падает).

Орудия производства, вместе с естественной средой, обусловливают *способ производства*. Оставляя в стороне самый примитивный способ производства—собирание плодов и кореньев—для которого требуется только обладание природными хватательными и жевательными органами, мы можем сказать, что охота, рыбная ловля, скотоводство, землепашество обусловливаются теми орудиями, которые находятся в распоряжении общества и которые оно применяет к эксплоатации природных богатств.

Говоря об орудиях производства, мы не должны забывать об огне, так как он, будучи добываем искусственно, находится в зависимости от орудий в более узком смысле слова, и даже в том случае, когда он возник естественным путем и только поддерживается людьми, он все же относится к категории орудий, если мы этим словом желаем обозначать все то, чем человек пользуется для усиления и дополнения своих природных органов. Всем, конечно, известно, какую выдающуюся роль играл огонь при возникновении первобытного общества и при развитии различных его форм.

Последующие способы производства, вплоть до современного крупно-машинного, сменяют один другой в зависимости от развития социальной системы орудий, которая все больше разрастается и усложняется под влиянием непрекращающегося стремления к более высокой производительности труда. Влияние естественной среды на способ производства, и, тем самым, на всю общественную жизнь, обратно пропорционально этому развитию, ибо орудия дают обществу возможность, в свою очередь, воздействовать на природу и до известной степени изменять ее. Способ производства и обусловленные им общественные отношения влияют также и на физиологическую жизнь человека, изощряя или притупляя известные чувства, развивая или атрофируя известные органы,—словом, содействуя вырождению или усовершенствованию „расы“; мы не говорим уже о физиологических изменениях, вызываемых в человеческом мозгу разного рода мыслями,

которые ведь тоже представляют собой социальный продукт. И нет ничего невероятного даже в том, что если оправдается теория Шенка, то эти факторы будут когда-нибудь оказывать решающее влияние на пол будущих поколений.

Таким образом, даже изменения в природе и организме человека, с тех пор, как человек имеет свою историю, обусловливается орудиями и способом производства. С того момента, как общественная система орудий дала человеку власть над природой, с того момента, как она образовала как бы мост между человеком и природой, она обусловливает все отношения между ним и природой, ибо она, прежде всего, обусловливает отношения людей между собой и, следовательно, всю социальную жизнь.

2.

Вся общественная жизнь находится в зависимости от способа производства, так как, во-первых, вся волевая и интеллектуальная деятельность людей, в обществе, не исключая и тех ее проявлений, которые мы называем первобытным „искусством“, „философией“ и „религией“, имеет в начале своей целью поддержание жизни и удовлетворение насущных материальных потребностей, а впоследствии, когда материальные и вместе с тем интеллектуальные потребности все разрастаются и усложняются, мы видим, что каждая новая потребность появляется лишь тогда, когда материальное богатство общества это допускает, что составляет отрицательную зависимость; положительная же и гораздо более важная зависимость выражается в том, что каждая из этих новых потребностей может быть удовлетворена только с помощью тех средств, которые дает в распоряжение человека данный способ производства, и лишь в той мере, в какой при этом не страдает и не нарушается, а, напротив, во всех важных случаях еще улучшается удовлетворение главнейших материальных потребностей (по крайней мере, потребностей тех, с которыми в данном обществе считаются). Но ведь ясно, что способ, каким данная потребность может или не может быть удовлетворена, определяет самый характер этой потребности. Другими словами,—если воспользоваться общеупотребительным кратким, но несколько двусмысленным выражением,—мораль, право, политика, религия, искусство, наука, философия—все без исключения возникло и существует на утилитарном основании и потому не может противоречить способу производства, а должно, напротив, приспособляться к нему.

Прежде всего и непосредственно к способу производства приспособляется система разделения (или не-разделения) труда с соответствующей формой руководства работой, обусловливающей с своей стороны распределение и обращение продуктов; затем к нему приспособляется потребление продуктов. А со всей этой *экономической организацией* тесно связаны экономическая мораль и экономическое право,

к которым, в свою очередь, примыкает организация семьи и государства с государственным и семейным правом и моралью. Сущность же морали и права вообще заключается в признании определенных норм со стороны общества и в санкционировании их силой общественной организации, которая возникает „сама собой“, т.-е. путем опыта приспособляется к производству материальных ценностей. Наука, если она не занимается приведением в систему морали, права и других общественных образований, в сущности является только совокупностью знаний, необходимых для производства; и какого бы пышного расцвета, какой бы степени специализации, каких бы высот она впоследствии ни достигла, центральным ее фокусом все же всегда остается производство. Язык, это необходимое средство всякого общественного производства, образует отдел „знания“, чтобы затем перейти в область искусства. Искусство же, с одной стороны, является еще материальным производством и, как таковое, находится в тесной зависимости от орудий, но, с другой стороны, и с более общей точки зрения, его можно назвать „моралью инстинктов“, т.-е. системой поступков и мыслей, усиливающих влияние общественной морали на отдельную личность именно благодаря тому, что они потеряли всякий след своей первоначальной утилитарной основы,—ведь, это и составляет отличительный признак искусства. Религия и философия, имеющие своим предметом общее об‘яснение мира, представляют соединение обоих только-что указанных видов искусства и науки и являются попыткой в одной системе обнять все представления и все императивы, господствующие в данном обществе.

3.

Весь этот комплекс идей мы обыкновенно выражаем терминами: *базис и надстройка*, или *содержание и форма*. Это—образные аллегорические выражения, большинство тех, которыми пользуются все высшие науки. Смотря по тому, берем ли мы аллегорию из области архитектуры, которая лучше выражает статический элемент, или из области геологии, которая отмечает также и динамический момент,—мы можем схематически представить себе общество или в виде здания с многими этажами, подпирающими друг друга, или в виде тела, состоящего из множества отложившихся вокруг некоторого ядра пластов, которые друг к другу приспособляются изнутри кнаружи.

Экономическая категория социальных явлений образует базис для всей социальной надстройки, содержание для всех социальных форм; но и в самой „надстройке“ мораль служит базисом для права, политика, искусство и наука—базисом для философии и т. д.; а, с другой стороны, в экономическом „базисе“ распределение продуктов базирует на их производстве, а самый способ производства—на орудиях. Таким образом каждый этаж в здании социальной жизни представляет базис по отношению к возвышающемуся над ним ряду этажей, так что все социальные явления можно расположить в определенном порядке

соответственно степени их отдаленности от системы орудий производства. Этот порядок различно установлен Энгельсом, Де-Греефом, Лабриолой, Лакомбом,—и много еще остается сделать для его основательного изучения. На мой взгляд, ряд социальных явлений состоит из трех членов: 1) хозяйство; 2) мораль и право (имущественная, семейная и политическая мораль и право),—одним словом, совокупность норм человеческой деятельности (Габриель Тард сказал бы: „социальная телеология“); 3) наука, искусство, религия и философия, нормы мышления, изучение и воспроизведение мира,—другими словами, „социальная логика“.

Как нетрудно заметить, каждый из этих членов включает в себя некоторые части остальных. Одна категория явлений примыкает непосредственно к следующей, которая служит ей основанием, а при посредстве она далее примыкает к нижележащим категориям. Но так как различные звенья этого ряда взаимно переплетаются, то, крайне трудно отметить следы каждого звена во всех остальных. В самом деле, систематизированное право, философия и религия представляют более поздний социальный продукт и имеют своим базисом мораль—с одной стороны, науку и искусство—с другой; прежде, чем выработалось организованное право, должны быть уже на-лицо начатки права науки, созданные материальным производством и зарождающимся искусством; и хотя оба противостоящих хозяйству ряда—теологический и логический—имеют общий исходный пункт—хозяйство, они все же могут развиваться до известной степени независимо один от другого. Таким образом мы приходим к выводу, что порядок, в каком различные категории отложились слой за слоем в последовательной зависимости одна от другой, может, при известных условиях, быть прямо противоположным. Но в централизованных обществах, какие, например, существуют в современных цивилизованных странах, порядок, в котором располагаются социальные явления, повидимому, таков, как я выше указал (его можно было бы даже назвать нормальным порядком), т.-е. философия и религия, искусство и наука в собственном смысле находятся на службе у социальной организации и избегают ослаблять ее, стремясь, напротив, обосновать и укрепить ее.

4.

Если мы теперь исследуем, какую действительную, а не аллегорическую только роль играет социальная форма по отношению к социальному содержанию, то мы увидим, что между ними существует отношение средства к цели. Именно, удовлетворение биологических потребностей является целью хозяйственной деятельности, которая в свою очередь становится одновременно целью и основным условием социальной жизни и вместе с тем ее главнейшей потребностью. Мораль, с одной стороны. является средством для обеспечения правильного функционирования и устойчивости хозяйственной организации, для

устранения всего того, что может нарушать правильный ход производства, распределения и потребления. Право укрепляет мораль; политическая власть обеспечивает применение права—и т. д. Наука, напр., доставляет технические средства для производства, и вместе с тем ее выводы всегда могут служить предпосылками для обоснования существующих норм морали, приспособленных к господствующему способу производства. Но в силу особого свойства психо-физиологической природы человека, средство, первоначально подчиненное цели, с течением времени вытесняет ее из сферы сознания и, наконец, само становится единственной сознательной целью, по отношению к которой действительная цель начинает казаться только средством, имеющим второстепенное значение. Это превращение средства в самоцель особенно легко совершается там, где существует разделение труда и где общество разделено на классы, ибо в таком обществе вся наука в целом, равно как и каждая специальная наука, каждая отрасль политики, искусства и т. д., становится самоцелью для специалистов и для всех питающих к ней особый интерес, и таким образом до известной степени обладает „собственной логикой" развития. Так искусство и наука получают „бескорыстный" характер,—и, вообще, социальная форма на известной ступени развития достигает некоторой независимости от социального содержания. Эта независимость прежде всего выражается в сопротивлении, оказываемом социальной формой— эволюционной и революционной тенденции социального содержания. Социальная форма служит оберегающей и сохраняющей оболочкой, которая задерживает развитие содержания совершенно так же, как замерзание задерживает процесс дальнейшего охлаждения, как кипение задерживает процесс дальнейшего нагревания,—вообще, как, согласно общему закону, продукты какого-нибудь процесса самым фактом своего накопления влияют задерживающим образом на дальнейший ход процесса.

Но мы имеем здесь дело еще с другим основным свойством человеческой природы, которое выражается в постоянном стремлении достигать наибольшего результата при наименьшем напряжении сил. И мы видим, как под влиянием этого стремления к все более интенсивной производительности труда орудия производства постоянно совершенствуются и развиваются количественно и качественно. Так, по крайней мере, обстоит дело, поскольку речь идет об одном и том же обществе, ибо там, где мы в истории встречаем случаи регресса в техническом развитии человечества, они всегда об'ясняются тем, что данное общество было порабощено или истреблено другим, менее развитым обществом. Разумеется, мы говорим здесь только об абсолютном регрессе; потому что в тех случаях, когда мы, напр., констатируем регресс промышленной техники вследствие чрезмерного протекционизма или вследствие политической реакции, не позволяющей рабочим

успешно бороться за повышение заработной платы, мы имеем дело лишь с относительным регрессом; в действительности руководители производства и тут повинуются указанному нами выше закону наименьшей траты сил, но под влиянием социальных условий следствия этого закона не выступают так ясно. К тому же это всегда только исключительные случаи.

Мы сказали, что под влиянием постоянного стремления к более интенсивной производительности труда техническая основа общества непрерывно изменяется и развивается, несмотря на сопротивление, оказываемое формой, и таким образом неизбежно наступает момент, когда форма отстает от развития содержания. Отставание это тем большее, чем выше этаж социальной надстройки, чем отдаленнее от ядра данный социальный пласт: так как каждый этаж играет по отношению к другому, вышележащему, роль базиса, то он отстает в своем развитии тем больше, чем выше он расположен. Мораль отстает от развития техники; точно также и наука; в гражданском и семейном праве, в политике, искусстве, религии и философии мы все чаще находим пережитки, остатки форм, приспособленных к давно исчезнувшим основам. Между тем технический базис беспрерывно развивается, и таким образом наступает момент, когда консервативная оболочка вынуждена поддаться или—лопнуть. Конфликт между содержанием и формой всегда разрешается в пользу содержания; форма приспособляется к новому содержанию либо сама собой, либо—если она для этого недостаточно эластична—путем революционного взрыва.

Этот процесс приспособления, естественно, начинается с той категории социальных явлений, которая образует первую надстройку; затем он захватывает более высокие категории, которые, не имея прямого отношения к удовлетворению материальных потребностей, пользуются большей независимостью. Явления высших категорий обусловливаются и регулируются явлениями базиса лишь при посредстве явлений средних категорий, которые образуют для них своего рода искусственную среду, преломляющую лучи, идущие от базиса. Пережитки в более узком смысле слова, сохраняющиеся особенно долго, представляют собою ранее приспособленные формы; но в новом фазисе развития приспособляющие силы прошли мимо них, не считая их достаточно опасными, будучи всецело заняты своей главной задачей: сломить сопротивление других, более важных форм. Чаще всего мы встречаем также пережитки в категории эстетических и религиозных явлений, но и все другие категории обнаруживают их, правда, не в таком обилии.

Об'ясняется это тем, что процесс приспособления надстройки к развитию базиса не совершается в виде систематического и равномерного изменения.

Всякая перемена в способе производства оказывает свое воздействие не по прямой линии, проходящей через все этажи социального

здания,—напротив, вызванные этой переменой последствия образуют весьма сложную сеть, которая охватывает все этажи, поддерживающие один другой и имеющие между собою многочисленные и разнообразные точки соприкосновения. Таким образом, вполне возможно, что какой-либо пункт социального здания вовсе не затрагивается непосредственно изменением базиса; впоследствии, конечно, это изменение даст себя почувствовать и здесь, но для этого, быть может, понадобятся целые века. Во всяком случае неминуемо должен наступить момент, когда вся надстройка экономически отжившего базиса совершенно исчезнет, если не из архивов, то во всяком случае из практической жизни; но к этому моменту базис проделал уже дальнейшую эволюцию и снова ушел вперед.

5.

Из всего этого уже достаточно ясно, что материалистическое понимание истории отнюдь не рассматривает социальную форму, „идеологию", как простой эпифеномен хозяйственной жизни; и когда для выяснения отношения этой формы к содержанию пользуются примером потока, протекающего под зеркалом, то это совершенно не соответствует смыслу этого учения. Материалистическое понимание истории, напротив, *приписывает форме, на-ряду с относительной независимостью, также способность оказывать обратное влияние на базис.* Мы видели, как эта способность проявляется в консервативной, задерживающей тенденции, форме; но это не единственное ее проявление. Если неприспособленная форма задерживает развитие базиса, то, приспособившись, она, естественно, ускоряет это развитие. Такие случаи мы можем непосредственно наблюдать в революциях. Так, развитие производительных сил отменило цеховые законы и все вообще феодальное право, но только упрочение нового правового порядка освободило окончательно эти производительные силы.

Всякий раз, когда развитие содержания наталкивается на сохранившуюся в виде пережитка форму и вызывает в ней частичное приспособление, эта вновь приспособленная, наново созданная форма самым фактом своего возникновения дает толчек дальнейшему развитию базиса, пока она не окаменеет и не станет снова играть роль тормоза.

Оба процесса, совершающиеся в содержании и форме, находятся во взаимодействии и, в сущности, образуют единый процесс совершенно так же, как при горении свечи растапливание воска поддерживает пламя, которое, в свою очередь, растапливает следующий слой воска. В ходе социального развития причина постоянно становится следствием, а следствие—причиной; в этом и заключается смысл столь знаменитой и столь таинственной для многих диалектики Гегеля и Маркса. Но если мы разложим социальный процесс на его *моменты*, тогда, думается мне, потеряет свой загадочный характер зависимость

надстройки от базиса. Ибо станет понятно, что социальная жизнь составляет нечто единое, что между всеми проявлениями этой жизни существует определенное соотношение, определенная взаимная зависимость; что, поэтому, экономическая эволюция так же мало понятна без соответствующего развития права и философии, как и обратно, и что, вообще, один ряд явлений социальной жизни можно изолировать от остальных только в чистой абстракции. Но когда, тем не менее, с целью научного исследования, чтобы выбраться из ложного круга взаимной зависимости, принимают определенные исходные пункты и с помощью построенной таким образом абстракции классифицируют все социальные явления, тогда не трудно заметить, что все остальные социальные функции опираются на хозяйство; тогда становится ясно, что основной пружиной всей социальной жизни является стремление к возможно большей продуктивности при возможно меньшей трате экономических сил. Это стремление и вызывает к жизни технические открытия, пользуясь уже существующей, полученной по наследству, социальной формой.

Что же касается всех тех открытий, нововведений и подражаний, которые возникают в остальных областях человеческой деятельности, то по отношению к ним мы можем формулировать следующий закон: всякое изменение в базисе вызывает раньше или позже соответствующее изменение или приспособление и в настройке; и хотя, вследствие относительной независимости формы, в ней могут совершаться известные изменения, не зависящие непосредственно от перемен в базисе, однако, такие изменения никогда не возникают, если они не соответствуют состоянию базиса. Поэтому, когда одна страна подражает формам другой, то это возможно лишь потому, что ее экономическая основа подготовлена соответствующим образом, так что подражание только ускоряет ее развитие в направлении, указанном той страной, которая служит образцом.

Кроме такого более общего смысла, диалектика имеет еще другой, специальный. Мы видели, что социальная форма окаменевает, кристаллизуется в господствующие воззрения и догмы. Она не следует непосредственно за незаметно и непрерывно совершающимся развитием хозяйственного, правового и научного базиса. Это развитие становится заметным лишь в тот момент, когда его следствия суммировались и люди очутились лицом к лицу с переворотом; тогда становится ясно, что форма, прежде так хорошо приспособленная к содержанию, теперь стоит к нему в полном противоречии. „Разум становится бессмыслицей, благодеяние—бедствием“. Так мероприятия, охраняющие свободную конкуренцию до тех пор, пока предприятия стоят приблизительно на одинаковом уровне развития, становятся опорами монополии и оковами свободы, как только предприятия, вследствие самой конкуренции, стали неравны между собой. И так как каждая социальная форма,

приспособляясь к содержанию, тем самым способствует дальнейшему его развитию, то мы в праве сказать, что каждая социальная форма стремится перейти в свою противоположность, и это стремление ее же и осуществляется в самом ходе ее нормального функционирования.

Каждая форма хороша и разумна, поскольку она находится в соответствии с содержанием и способствует дальнейшему его развитию,—в противном случае она и не возникла бы; но для каждой без исключения формы наступает момент, когда она перестает соответствовать содержанию. Тогда форма не сразу отбрасывается, а медленно и постепенно приспособляется к новому содержанию путем разного рода компромиссов и противоречий; она уступает шаг за шагом, она насилует свою собственную логику,—пока количество не переходит в качество, пока не наступает момент революционного переворота, суммирующий все компромиссы, разрешающий все противоречия и создающий новую систему. Между тем, социальное развитие начинает снова свою „работу Пенелопы“ и непоколебимо и неудержимо идет дальше своим путем, пока снова не наступит момент, когда форма, явившаяся в результате отрицания прежней формы, в свою очередь, отвергается новым содержанием, воспроизводя таким образом предпоследнюю форму. Так, наприм., в развитии орудий производства был период, когда орудия составляли собственность самих производителей; дальнейшее развитие тех же орудий отделило от них производителя; а на еще более высокой ступени развития должна наступить новая стадия, когда производитель снова овладеет орудиями, но уже не на инвидуальных, а на коллективных началах,—и каждая из этих трех экономически-правовых форм необходима для того, чтобы, при данном состоянии орудий производства, обеспечить возможно большую производительность труда. Из этого примера видно,—а таких примеров можно привести бесконечное множество,—что отрицание отрицания никогда не дает тождественного повторения предыдущей формы, а, напротив, образует слияние, „синтез“ двух антогонистических форм, которые этим синтезом уже безвозвратно устраняются.

6.

Все изложенное нами выше относится ко всем без исключения человеческим обществам. Но из их числа выделяется один тип общества, который отличается специфическими чертами и играет важную роль в истории человечества, так что на нем необходимо подробнее остановиться; я говорю о классовых обществах. В них мы находим такое разделение труда, что одна часть общества все более специализируется в управлении производством, захватывая эту функцию всецело в свои руки и оттесняя от нее другую часть общества. Но управление производством требует свободного распоряжения средствами производства, в результате чего создается право собственности на эти средства: на орудия труда и силы природы. Деление на классы становится заметным

в истории с того момента, как человек вышел из периода аграрного, или, как обыкновенно говорят, первобытного коммунизма, в котором управление производством еще не образует, по крайней мере в начале, особую специальность, и средства производства составляют еще общую собственность. Но уже до первобытного коммунизма человечество прошло целый ряд общественных стадий, в основе которых лежали различные способы производства, как, напр., собирание ягод и кореньев, рыбная ловля, охота (к которой относится также охота на людей, война). И на этих общественных стадиях уже существовало разделение, по крайней мере на два класса, обусловленное главным образом биологическими различиями,—разделение на класс мужчин и класс женщин. Кроме того, здесь начинало уже сказываться также различие между богатыми и бедными, между господами и рабами. Стремление человека к возможно большему личному наслаждению давало себя чувствовать и в период аграрного коммунизма, который, однако, не благоприятствовал его развитию. Это стремление, усиливаемое развитием обмена и войны, уничтожило, наконец, и самый коммунизм, когда он из средства защиты слабого первобытного человечества превратился в помеху для дальнейшего развития той производительности труда, которую он сам же и вызвал к жизни.

Дальнейшее развитие производства, в силу технических условий того времени, могло совершаться только в интересах небольшой части общества и только путем эксплоатации всех остальных его членов; а это вызывало необходимость введения таких учреждений, которые, обладая принудительным характером, могли бы обеспечить устойчивость классовой организации общества. Впоследствии эта организация усложняется: общество остается в основе своей разделенным на два класса—собственников и неимущих, но в каждом из этих классов возникают новые подразделения, которые в свою очередь развиваются в классы; каждый класс характеризуется, прямо или косвенно, той ролью, какую он играет в процессе производства. Классы эти образуют *сословия* или *касты*, если границы их твердо установлены законом.

Со времени исчезновения аграрного коммунизма не существовало ни одного общества, которое бы не было разделено на классы.

Классовые общества являются прямым следствием способа производства, разделения труда и управления работой и, в свою очередь, становятся базисом для всей социальной надстройки; на первом же плане—базисом для распределения продуктов, для экономической морали и экономического права классовое деление общества образует новую искусственную среду, которая оказывает весьма сильное влияние и на самый способ производства; оно образует новую изолирующую оболочку, сквозь которую должна проникнуть социальная форма, чтобы приспособиться к содержанию. Класс, в руках которого главным образом сосредоточены средства производства, устраивает и регулирует

все общество таким образом, чтобы оно обеспечивало прочное существование выгодному для него порядку вещей, и с этою целью он овладевает всеми средствами политической власти. Но экономическое развитие в сторону все большей производительности труда не может быть ничем задержано, и оно подкапывает, медленно и верно, существующий порядок, изменяя его в пользу другого класса, который к тому времени силится подниматься против господствующего класса. Разгорается борьба за политическую власть, которая одна только в состоянии обеспечить своему обладателю право на управление производством и на выгодное для него разделение продуктов; борьба эта распространяется на все области социальной жизни, принуждая господствующий класс к целому ряду уступок и все больше запутывая его в противоречия. Наконец, новый класс, опираясь на новый способ производства, на технический прогресс, одерживает победу и затем уже стремится преобразовать общество соответственно потребностям своего господства и искоренить следы прежнего господства. А затем история начинается сначала.

Таким образом, классовое деление накладывает глубокий отпечаток на все общество, сообщая ему свои характерные черты; а самой характерной его чертой является классовая борьба, и, прежде всего, борьба за политическую власть. Вся надстройка возвышается над этой вулканической, постояно колеблющейся основой. Каждый класс создает свое особое понимание этики, права, науки, искусства, философии и религии,—одним словом, общества и мира. Созданное им мировоззрение стремится обосновать и оправдать—в настоящем, прошедшем или будущем—наиболее выгодный для него способ производства и политический строй. Понятно, это стремление не всегда идет прямо к цели: часто оно проявляется в скрытой форме и идет к своей цели окольным и сложным путем. Тем не менее, все общество носит классовый характер в том смысле, что каждое социальное явление отмечено определенным классовым духом, и развитие общества в каждый данный момент идет по равнодействующей различных классовых тенденций, воздействующих друг на друга под различными углами.

И в отношении приспособления формы к содержанию, общества, разделенные на классы, представляют некоторые особенности, резко отличающие их от обществ другого типа. Вообще, мы должны различать два способа приспособления: либо приспособление совершается самопроизвольно, бессознательно, без ясного представления о цели, либо же—вполне целесообразно, в заранее намеченном направлении. Приспособление первого типа представляет собою неправильное, медленное, постепенное наслаивание различных норм и верований вокруг центрального одра основных потребностей и функций. По прошествии некоторого времени эти наслоения совершенно закрывают ядро и затем сами уже оказывают влияние на следующие пласты

Создается особого рода социальная апперцепция, придающая уже заранее определенное направление человеческому сознанию; а, с другой стороны, путем отрицательного отбора, она как бы закрывает пред людьми, как бы делает для них невидимыми все другие пути и области мышления и деятельности. Этим отбором мыслей и поступков, этой социальной апперцепцией об'ясняется тот факт, что члены какого-нибудь класса совершенно искренно считают себя выше всяких партийных интересов, тогда как в действительности они всегда отстаивают жизненные интересы своей группы. И как-раз эта черта „бескорыстия“, идеальности и внедряет самым прочным образом в души людей интересы общества или одного какого-либо класса. *Таким образом только люди с плоским умом могут захотеть каждый поступок, каждую мысль членов данного общества или класса об'яснять их прямым и сознательным классовым интересом.* Но в обществах, разделенных на классы, такое сознание цели, естественно, проявляется гораздо чаще. Ибо в обществах, не разделенных на классы, приспособление совершается гораздо более самопроизвольно, форма отлагается постепенно без особого противодействия; она, можно сказать, кристаллизуется и растворяется вне сферы социального сознания. Напротив, при наличности классовой борьбы, когда каждый класс вынужден защищать свои интересы против всех других классов, социальная организация неизбежно отличается гораздо более сознательным и, следовательно, „рациональным“ характером. В борьбе апперцепция отвердевает, отверстия сети, сквозь которую должны пройти все ощущения, суживаются, и форма оказывает более сильное сопротивление развитию содержания; отставание формы от содержания легко получает в глазах борющихся классов значение непроходимой пропасти, через которую может перекинуть мост только революция, насильственно подавляющая все ранее господствовавшие стремления и потребности. Вот почему развитие путем противоречий проявляется здесь гораздо резче, чем в обществах, не разделенных на классы, вот почему разрушение старых и образование новых социальных императивов и воззрений представляют здесь резко противоположные, друг друга сменяющие стадии,—настоящие антитезы.

Но вся историческая эпоха классовых обществ, которая характеризуется частной собственностью на орудия производства, сама образует антитезу по отношению к первобытному коммунизму. И как только развитие техники производства достигает такого уровня, что наслаждение высшими материальными и духовными благами становится возможным для всех членов общества, а не только для одной кучки,—деление общества на классы не способствует уже более развитию производительности труда, а, напротив, является тормозом для него. В то же время это развитие вызывает к жизни новый класс, пролетариат, для которого общество без классов, сообща владеющее

орудиями и организующее производство на коллективных началах, является идеалом, диктуемым его насущными интересами. Так совершается диалектический ход истории,—само собою разумеется, той истории, которую мы до сих пор открыли в прошедшем и можем предвидеть в будущем.

7

Из предыдущей главы, между прочим, видно, что экономический материализм связывает социализмом та его отличительная черта, что он является пролетарской теорией общественных явлений и философией социальной революции. Эта черта была с самого начала присуща нашему социологическому учению; и теоретики нашей школы—Энгельс, Лабриола и в особенности Плеханов—подвергали свою теорию испытанию, применяя ее к об'яснению ее собственной генеалогии.

Буржуазия XVIII века была проникнута одновременно материализмом и рационализмом. Материализм и рационализм служили в ее руках могучим орудием для разрушения тех норм, которые защищали против нее феодальный способ производства и феодальные государственные учреждения. Один выдающийся историк философии говорит по этому поводу: „Равенство перед законом природы, равный детерминизм для всех, не исключая и высшего существа,—таков был общий лозунг всех философов материализма, пока 1789-й год не сделал его девизом революции". Точно также и Гольбах, вскрывая тесную связь между социальными стремлениями буржуазии и ее философскими концепциями, говорит: „Вселенная не представляет собою ни абсолютной монархии, как того хочет Дунс Скотт, ни конституционной, как это воображает себе Лейбниц,—а республику". Но, совершая свою революцию, буржуазия верила, что эта революция будет первой и последней; она верила, что обладает обсолютной истиной, что ей удалось, наконец, найти истинное определение неизменной *человеческой природы;* все прошлое она рассматривала как какую-то чудовищную ошибку, как грубое насилие над этой природой. Поэтому ее материализм не был способен об'яснить историю; в лучшем случае он мог обвинять во всем жрецов и государей, но никогда не был в силах выбраться из ложного круга того положения, что „общественное мнение управляет обществом, но воспитание (т.-е. само это общество) вырабатывает общественное мнение".

Контр-революционная школа, задача которой заключалась в защите существующего порядка вещей, т.-е. того порядка, который охраняет местные и классовые привилегии, пыталась оправдать его соображениями социальной пользы. Вот почему эта школа отличалась от революционной своим историческим и реалистическим характером. Одновременно с реставрацией старого режима, фон-Галлер, де-Местр и другие, до Гегеля включительно, „реставрировали" науку. „Все существующее разумно"—гласило их знаменитое изречение; все из-

меняется лишь постепенно, когда перестает быть полезным и тем самым теряет свое право на существование.

У этих мыслителей, как и у всех, участвовавших в реакции против бесплодного рационализма, против абсолютной веры в политические и, вообще, формальные революции, мы находим отдельные истории, т.-е. об'яснения общественных явлений посредством класовой борьбы за материальные интересы. Однако, все их воззрения и идеи тяготеют к одному центральному пункту—к утверждению, что представителем высшей экономической и социальной полезности является феодальное земледелие, которое в области политики находит свое выражение в легитимной монархии, а в области религии—иерархической церкви.

Контр-революционная школа не могла решиться предоставить общество и мир игре их стихийных сил: толчки снизу должны обуздываться и регулироваться руководством сверху. Таким образом школа эта проникнута духом абсолютизма и идеализма. И если Гегель обозначает развитие человечества как диалектическое, естественное и необходимое; если он выводит философию истории из ложного круга материалистов, сводя оба члена противоречия к одной общей и высшей причине; если он вместе с тем отделывается от фикции вечной и неизменной человеческой природы,—то всего этого он достигает лишь тем путем, что в ходе человеческой и мировой истории он видит необходимое подчиненное отражение находящейся в вечном развитии абсолютной идеи, которая в конце концов представляет собою ничто иное, как вне-мировую проекцию интеллектуальной природы человека, деятельности его разума.

Рядом с двумя борющимися классами—буржуазным и феодальным—неудержимо растет третий—пролетариат, который с самого начала не желает примкнуть ни к тому, ни к другому классу, а стремится стать наследником их обоих. На практике и в теории все то, чем оба класса стараются друг друга ослабить, идет прежде всего на пользу пролетариата, мощь которого все возрастает.

Подобно тому, как идеал этого класса соединяет в себе полную свободу и общественную организацию, всеобщее благосостояние и максимальную производительность труда, так и его понимание истории представляет такой счастливый синтез воззрений двух других классов, что его можно сравнить с тем синтезом, при помощи которого Кант примирил воззрения Локка и Лейбница, изгнав их в то же время навсегда из царства науки.

Пролетариату чужд рационализм, ибо он хорошо знает, что высшая мудрость буржуазии часто превращается в безумие, и что, несмотря на все притязания этой буржуазной мудрости на абсолютное значение, она является только выражением определенных экономических интересов и отношений. Кроме того, пролетариат обладает достаточной

силой, чтобы привести в движение колесо исторической диалектики и фактически доказать, как относительны все существующие социальные формы. Но именно поэтому он знает также, что основу существования и развития общества следует искать не вне общества, а в нем самом, в его недрах, в его непрестанном стремлении к все большей продуктивности; под влиянием этого именно стремления развивается весь бесконечный ряд технических изобретений. В этих изобретениях, в технике производства проявляется, конечно, человеческий дух, человеческая природа; но эта природа не содержит в себе ничего вечного, сущность ее постоянно меняется, и притом не по какой-либо сверх-человеческой причине, а просто потому, что потребности, образующие эту „природу“, изменяются по мере—и вследствие самого факта—их удовлетворения. Так внутри самого общества вечно развивается его основной фактор. И для того, чтобы это развитие не остановилось, как того хочет Гегель, для того, чтобы скорее наступил момент, когда существующее становится уже неразумным и должно погибнуть,—философия пролетариата соединяет гегелевскую диалектику с материалистической традицией, бывшей в руках французской буржуазии таким могучим средством революционного освобождения.

Немецкая буржуазия была еще в XVIII в. слишком слаба, чтобы взять из рук французской буржуазии остро отточенное оружие материализма. Ее философы, с Кантом во главе, удовольствовались тем, что приспособили рационализм Руссо к потребностям своего класса, которому в то время не оставалось делать ничего другого, как только протестовать против просвещенного вольтерьяновского деспотизма во имя индивидуальной морали и личного достоинства,—приспособили так, что рационализм превратился в идеализм и метафизику, а впоследствии легко перешел в идеалистическую философию реставрации. Но около средины XIX столетия немецкая буржуазия достаточно окрепла, чтобы начать серьезную борьбу с феодализмом, и тогда она, в свою очередь, обратилась к материализму. Этот переход совершили левые гегельянцы с Фейербахом во главе,—и как-раз в момент слияния материализма с идеализмом появился на свет марксизм—социальная философия пролетариата. Он родился в Германии, в которой рабочее движение еще только готовилось перейти к практической деятельности и которая поэтому представляла более благоприятные условия для выработки великих, всеоб‘емлющих теорий.

Во Франции, напротив, социальная философия всегда уделяла больше внимания реальным потребностям данного момента, и пролетариат гораздо больше занимали конкретные экономические и политические задачи. Однако, утописты, в особенности С.-Симон, которому не чужда была мысль, что проблема взаимодействия социальных факторов разрешается лежащим в их основании развитием техники,—утописты,

как известно, не мало способствовали возникновению марксизма. В этом, на мой взгляд, и кроется причина того, почему позитивизм Огюста Конта до сих пор почти совершенно игнорируется или недооценивается марксистами. Но если исследовать этот позитивизм со стороны его содержания, то нельзя не признать, что при других условиях он мог бы так же хорошо, если не лучше, чем гегельянство, служить источником и подготовительной ступенью для марксизма. Роль Конта во Франции можно сравнить с ролью Гегеля в Германии. Оба они были „великими реставраторами социальной науки“ после революционно-рационалистической бури; но в то время, как Гегель открыто защищал Прусское феодальное государство, Конт ограничился глубоко-почтительным отношением к средневековью, что, однако, не помешало ему признать интеллектуальные успехи и завоевания буржуазии. Испытав на себе влияние С.-Симона, марксизм более не нуждался в помощи Конта, чтобы осуществить высший синтез феодального тезиса с буржуазным антитезисом: его синтез был гораздо последовательнее и революционнее.

Мы не имеем никакого намерения провести здесь параллель между марксизмом и позивитизмом. Когда-нибудь в другой раз я покажу *), что последовательно продуманный и проведенный позитивизм неизбежно должен совпасть с марксизмом; живой пример этого представляет нам де-Грееф. Но дело в том, что Конт, дойдя до известного пункта, повернул назад. Этот противник рационализма был еще так сильно заражен его духом, что, подобно Гегелю, считал свою систему венцом векового развития человеческой мысли, своего рода откровением. Чтобы оградить общество от коммунистических утопий, он обратил свою социальную статику в особого рода консервативную утопию, в основу которой он положил неприкосновенность существующей формы семьи. Для обоснования ее он должен был, по примеру рационалистов и утопистов, признать, что „человеческая природа“, по крайней мере в некоторых отношениях, остается неизменной. Отсюда—враждебность его, полной противоречий, догматическойсистемы к марксизму. Все же мы должны быть благодарны ему за дух позитивного исследования, введенный им в общественные науки и ставший теперь общим достоянием всех социологов; этим духом проникнут и марксизм, который в нем именно черпает силы для своего развития.

Ибо марксизм не догма, как это полагают те, которые его не знают; нельзя даже без оговорок назвать его системой. В действительности он только метод исследования или, лучше сказать, способ понимания социальной жизни с целью ее об‘яснения; поэтому его стихию, без которой он не может жить, составляет современная научная, позитивная атмосфера. В этом пункте марксизм совпадает с позитивной школой в самом широком смысле этого названия. Но он стоит выше эклектицизма

*) См. в настоящем сборнике статью того же автора: „Марксизм и позитивизм“.

этой школы, он не довольствуется простым констатированием взаимодействия и взаимной зависимости всех проявлений социальной жизни, а ведет исследование глубже и открывает тот основной процесс, который вызывает все эти проявления и управляет ими. На практике это различие между обеими школами оказывается не столь большим, так как ни один марксист не может утверждать, что все явления жизни данной страны в данную эпоху могут быть об'яснены всецело хозяйственными отношениями одной только этой страны и одной только этой эпохи. Ни один марксист не станет слишком низко оценивать как значение *аллотопических и аллохронических* *) причин, так и ту почти совершенно независимую роль, какую может сыграть политическая, правовая или религиозная форма, пережившая свое давно исчезнувшее экономическое основание. Но, в сущности, указанное различие остается во всей силе, ибо из *экономического монизма* марксистской социологии следует, что социальная форма, раз она лишилась своего экономического содержания, должна после достаточно большого периода времени бесследно исчезнуть; далее—что социальная природа человека может совершенно измениться вместе с обстоятельствами; что, напр., даже врожденные преступные наклонности представляют только продукт социальных условий, который должен будет исчезнуть, когда преступник будет поставлен в социально-экономическую среду, не благоприятную для развития этих наклонностей; и что, наконец, ничто (кроме совершенно непредвидимых и непринимаемых современной наукой в расчет явлений) не может помешать достижению идеала свободы и равенства, во имя которого пролетариат смело отрицает тысячелетний классовой строй.

8.

Я считаю излишним скрывать свое убеждение, что экономический материализм и социализм тесно связаны мнжду собой. Тем не менее, их можно рассматривать независимо один от другого; более того: каждый из них имеет своих собственных последователей. Мы можем встретить много ученых, которые об'ясняют историю и социальную жизнь экономическими причинами, но менее всего являются социалистами. С другой стороны, мы видим ученых, дружественно настроенных к социализму, видим даже много борцов в социалистических рядах, которые в большей или меньшей степени отвергают материалистическое понимание истории. Это явление об'ясняется тем, что пролетариат граничит и приходит в соприкосновение с другими классами, и на этих границах он наталкивается на другую интеллектуальную среду: с одной стороны, на земледельческий и мелкобуржуазный классы „старого режима“, которые сильно пострадали от революционного рационализма, и потому создали релятивистскую историко-экономическую школу, а с другой--на современную мелкую буржуазию и интеллигенцию.

*) Других мест и других эпох.

Когда пролетариат впервые, в лице немногих своих передовых борцов, достиг классового самосознания, он занял резко враждебную позицию по отношению ко всему капиталистическому обществу и создал доктрину, не приемлемую для всех более или менее господствующих классов этого общества. Но по мере того, как растет его сила, по мере того, как под его давлением социальная форма начинает сгибаться, пролетариат снова вступает в общество, чтобы завоевать его, и другие классы начинают сближаться с ним, начинают итти по тому же пути, что и он, стараясь при этом задержать его поступательное движение. Иногда и сам пролетариат находит нужным итти медленнее, чтобы дать возможность поспевать за собой. Это явление и составляет основу, так называемого, „кризиса социализма“ в области политики, а отзвук этого кризиса в области науки породил „кризис марксистской социологии“. С этой точки зрения становится вполне понятным, что аргументы и возражения глашатаев кризиса не отличаются особенной новизной и не свидетельствуют о правильном понимании основных идей марксизма. „Критики“ занимаются главным образом тем, что отыскивают противоречия в сочинениях основателей нашей школы; они сопоставляют тексты, взвешивают слова, создают настоящую экзегетику. Быть может, такая их деятельность принесет пользу будущим историкам, но до сих пор сторонникам этого метода еще не удалось доказать, что тот, кто загромоздил свою память наибольшим количеством текстов, кто приводил цитаты на всех языках, выставляет также наиболее удачные возражения...

Так, например, слишком уже усердно толкуют о том, что материализм марксистов третирует „идею“, что их „фатализм“ тиранизирует личность. Этот материализм,—говорят некоторые,—осмеливается выводить „идею“ из „факта“, а это—абсурд, преступление против теории познания! И против этого абсурда необходимо выдвинуть „психологическое“ понимание общества. Все это не больше и не меньше, как простое недоразумение. Марксистская социология опирается на психологию не меньше, чем всякая другая; только она не видит в „идее“ и „факте“ две диаметрально противоположные вещи, которых нельзя свести воедино. Как и другие социологические теории, она нисколько не сомневается, что общество состоит из индивидов и что все социальные явления совершаются в индивидах, в их психике. Ведь основной экономический „факт“ марксистской социологии—применение или даже наличность орудия—не менее психологичен, чем любая философская или эстетическая „идея“. Но это только отодвигает вопрос; ведь речь идет о том, чтобы расположить различные психические функции человека в определенном порядке по степени их важности,—и тут-то именно оказывается, что экономическая функция естественно занимает место базиса. Теоретико-познавательная проблема в том виде, в каком она стояла перед философским материализмом,

вовсе не существует для „экономического материализма“. Наша социология имеет дело только с феноменами; она не занимается исследованием отношения между человеческим сознанием и внешним „миром в себе“. Конечно, ее интересует постоянный обмен, совершающийся между человеческим сознанием и миром, понимая и сознание и мир феноменалистически,—обмен, который, ведь, и составляет процесс развития сознания. Но в таком случае теория познания марксизма носит не чисто-логический, а в известном смысле исторический характер.

Таким образом, тот „возврат к Канту“, при помощи которого глашатаи „кризиса“ надеются достигнуть, бог знает, чего, не принесет марксизму, как нам кажется, никакой пользы. Во всяком случае мы придали бы этому „возврату“ несколько иной смысл: *мы социализировали бы критическую точку зрения.* Мы указали бы, что общество, группа и—специально с нашей точки зрения—класс, к которому при надлежит человек, определенным образом подготовляют его сознание, навязывая ему определенный априористический взгляд на общество и мир, от которого он так же мало может отделаться, как от необходимости смотреть сквозь сетчатую оболочку. И отсюда мы вывели бы то заключение, что так как и пролетариату неизбежно присуща некоторая классовая апперцепция, то и его философская система, подобно всем предыдущим системам, имеет лишь относительное и преходящее значение; что когда-нибудь и эта система перестанет быть, т.-е. считаться, истинной, но лишь тогда, когда она будет заменена новой, созданной *бесклассовым* обществом будущего. Вполне естественно, что философия будущего общества, которая вырастет из марксизма, будет иной, в известном отношении даже противоположной марксизму; но каковы будут ее основные черты, об этом мы теперь не можем знать ни по тому, что существует, ни по тому, что существовало. Нельзя даже вовсе представить себе эту будущую систему, ибо ни одно наше представление не может быть свободно от известного классового априоризма.

В этом смысле я допускаю, что может или даже должен наступить кризис марксизма; но для преодоления такого кризиса именно и должны быть применены до их последних выводов принципы экономического материализма.

Я имею тут в виду один пункт, с которым экономический материализм не так легко может разделаться и который тоже служит мотивом для „возврата к Канту“; пункт этот—этического свойства.

Кант, этот *буржуа*, который был уже недоволен окружавшим его обществом, но не имел еще силы вступить с ним в борьбу с целью его изменения,—Кант именно поэтому создал прекраснейший идеал человеческого достоинства, индивидуальной чистоты и нравственности.

Идеал этот стал у Фихте революционным, когда наметился под'ем немецкой буржуазии. Французский рационализм, унаследованный от революции—правда, в менее поэтической, но зато в более практической форме—некоторыми, незатронутыми реставрацией, слоями буржуазии, создал новую формулу „человеческой природы": вечную справедливость и вечное право. Формула эта послужила для указанных слоев буржуазии переходной ступенью к пролетарским требованиям, и эту услугу она оказывает им еще и теперь.

Находясь в крайне затруднительном положении, окруженная со всех сторон обманами и искушениями, мелкая и средняя буржуазия получает в этой формуле прекрасную индивидуальную основу для своего социального идеала,—и она, естественно, боится, как бы материализм не оказал разлагающего влияния на этот идеал. Так, Ф. А. Ланге хочет сохранить „основанный на человеческой природе порядок". Так, гораздо более революционно настроенный Жорес утверждает, что с тех пор, как существует человечество, существует также „протест против бесчеловечного обращения с человеком". И „социальный идеализм" всех этих людей приходит в ужас от „аморального" характера экономического материализма.

Вряд ли нужно защищать от такого упрека то учение, которое говорит, что исторические задачи лишь тогда становятся пред людьми, когда на-лицо уже имеются—часто еще в скрытом состоянии—средства для их разрешения, и которое таким образом устраняет скептицизм и дает непреклонную уверенность при исполнении самых опасных социальных обязанностей,—учение, которое утверждает, что всякое социальное явление совершается в людях и при посредстве людей—и притом всех людей—и тем отнимает даже у самого слабого и ничтожного человека всякое право на бездеятельность и на фаталистический квиетизм.

Первым из этих принципов марксистская этика (которая, несмотря на утверждения противников, все же существует) напоминает этику Канта, но вторым она идет дальше ее. Экономический материализм уделяет серьезное внимание идеалистическому и этическому чувству личности. Он, напр., не желает и не может отрицать, что без сознательности пролетариев, опирающейся прежде всего на сознание собственного достоинства, концентрация капиталов могла бы привести к новому феодализму или к тирании „сверх-человеков". И если идеалисты на это возражают, что необходимые для выработки социалистического идеала чувства справедливости и самопожертвования не могли возникнуть в обществе, где все на протяжении целых веков противоречило этим чувствам; если они указывают на то, что идеал коммунистического общества, который ведет пролетариев вперед и идет впереди современного экономическаго строя, уже по одному тому не мог вырасти в существующем строе,—то какой ответ можем мы им дать?

Или мы вовсе должны тут отказаться от попытки об'яснить социальную форму при помощи содержания, надстройку—при помощи базиса? Не вынуждены ли мы признать дуализм в человеческой природе?

Ничуть не бывало. Проблема возникновения революционного идеала, *который идет впереди развития хозяйственных факторов*, проблема, которая, быть может, образует центральный узел всего кризиса марксизма и которую, насколько мне известно, первым из всех марксистов затронул Каутский (в своей полемике с Бельфорт-Баксом в 1896 г.),—эта проблема, кажется мне, находит свое разрешение, строго соответствующее экономическому материализму, в „законе революционной ретроспекции". Закон этот, формулированный мною на первом социологическом конгрессе в 1894 г., дает научное выражение „отрицанию отрицания" Гегеля, „возвращению к природе" Руссо и Вико и сводится к следующему: источника какого-нибудь воззрения на будущее, как и источника всякой идеи, следует искать в прошлом, в оставшейся в виде пережитка социальной форме. В данном случае, поскольку речь идет о пролетарском идеале, таким источником является первобытный коммунизм. Когда этот коммуиизм был мало-по-малу вытеснен первым классовым обществом, люди горько оплакивали его и, подобно тому, как слезы жемчужницы превращаются в великолепные жемчужины, так человеческая тоска скоро превратилась в идеализированный образ. Различные формы хозяйственного коммунизма, никогда не исчезавшие вполне из истории и всякий раз снова переживавшие процесс разложения, пробудили в человеке эту унаследованную тоску и вызвали в его памяти идеализированный образ, который, под влиянием постоянной примеси элементов каждой данной эпохи, подвергался одному превращению за другим, пока не привел, наконец, к новейшим утопиям, предтечам научного социализма. Параллельно с этим коммунистические моральные инстинкты, наперекор всем преследованиям пустившие глубокие корни в душе народа, развились благодаря борьбе, которую им пришлось выдержать, в то великое и благородное чувство личной независимости и „врожденной" справедливости, которое составит основу будущего общества.

Эта экономическая генеалогия социалистического идеала лишает его права выдавать себя за ничто „абсолютное" и разрушает последний аргумент идеалистического дуализма. Но она доказывает вместе с тем правильность основной мысли марксизма о переживании и новом приспособлении социальной формы. Она дает нам реалистическое применение исторической диалектики и вместе с тем высшую ступень диалектики вообще, ибо мы видим, как социальная форма, отсталая по своей природе, становится предтечей, революционным элементом. Мертвый хватает живого—но лишь для того, чтобы толкнуть его вперед...

Эта генеалогия осуществляет, наконец, единство социальной жизни от ее основания до самой верхушки, от начала до конечного пункта.

Одно и то же веяние проходит через всю человеческую историю,—и на самых высоких вершинах ее она становится вихрем, который сбивает оковы с наших надежд.

Но это веяние и этот вихрь со всеми их переходами имеют свои источники в недрах общества.

---

## МАКС ЦЕТТЕРБАУМ.

### К материалистическому пониманию истории.

Недавно вышедшие „Анналы Социологического Института“ в Париже посвящены всецело теории исторического материализма *).

Они содержат: реферат, прочитанный Келлес-Краузом на последнем конгрессе Института **); вызванную этим рефератом дискуссию, в которой приняли участие Лориа, Ковалевский, Гроппали, Роберти, Вормс и многие другие; специально присланные монографии и отдельные мнения по тому же вопросу, в том числе де-Греефа, Фулье и Тарда; и, наконец, превосходное заключительное слово референта. В воззрениях такого значительного числа социологов очень ярко отражается современное состояние буржуазной социологии и теории истории. В них ясно сказывается отсутствие какой бы то ни было собственной научной концепции, способной дать цельное об'яснение зависимости и хода общественных явлений. Наиболее адэкватная в настоящее время буржуазному представлению теория, именно—биологическая, ни разу не осмелилась выступить, хотя многие признанные представители ее приняли участие в дискуссии. Историческому материализму ученые не могли противопоставить ничего другого, кроме возражений, в продолжение стольких лет слышанных уже несчетное число раз.

Прежде всего выступила группа оппонентов, которые, не будучи вовсе знакомы с разбираемой теорией, полагали, что экономический материализм признает в качестве действительного фактора истории лишь *одно* влечение к еде—„la passion de manger“. К этой группе принадлежат не только Лимузен, Коста, Пелна, но и более известные имена, как Фулье и Тарда. Фулье полагает, что экономический материализм сводит всю историю к преследованию материальной выгоды; но ведь евангелие, напр., не является трактатом о технике, и. т. п., а Тард говорит, что главным образом благородные чувства и идеи творят историю и поддерживают общество, и что „в дальнейшем развитии человечества мозг будет все больше брать перевес над желудком, а не наоборот“. Крауз отвечает им, что, в виду такого, вызванного классовой предубежденностью, непонимания теории, он считает излишним опровергать их взгляды.

---

*) „Annales de l'Institut International de Sociologie“. Tome VIII. Le materialisme historique. Paris, 1902, Giard er Briere.

**) См. предыдущую статью. *Примечание перев.*

Такого рода взгляды, как мне кажется, вытекают из ложного представления, будто экономический материализм видит сущность исторического движения в сознательном стремлении индивидуального человека к экономическому улучшению своего положения, а не—как дело обстоит на самом деле—в обусловленной определенной экономической структурой борьбе целых групп людей, именно, общественных классов, за общественную власть, в борьбе, которая не только выходит за пределы самого полного удовлетворения индивидуального „желудка", но идет даже дальше самого широкого удовлетворения *чисто индивидуальных* высших духовных потребностей; стремление же к индивидуальной выгоде, будет ли это выгода материального или духовного свойства, является только движущей, постоянно и непрерывно действующей, *осью* внутри и в рамках классовой борьбы.

Разумеется, все эти социологи и многие другие из принимавших участие в дискуссии держатся того взгляда, что идеи создали содержание истории из внутренней сущности своей психологической основы. Один только Гроппали в своих замечательных методологических рассуждениях признал себя последователем исторического материализма. Напротив, Ахилл Лориа переделал эту теорию на свой лад. Правда, он обходит молчанием свою специальную теорию об исключительном значении способа присвоения земельной собственности, но возникновение идеологий, как, напр., морали и религии, он выводит чисто рационалистическим путем из сознательной заинтересованности властьимущих, так что в таком виде его теория, действительно, страдает всеми теми недостатками, которые лишь по ошибке приписываются экономическому пониманию истории.

Своеобразную позицию по отношению к нашей теории занимают позитивисты де-Грееф, де-Роберти и Вормс. Главным образом, здесь приходится говорить о длинной „Memoire" де-Греефа. По неумению понять разбираемую теорию, ее следует отнести к самому худшему из того, что когда-либо создало это направление. Де-Грееф на многих страницах полемезирует против *философского* материализма, разбирает понятие материи и тому подобные матафизические темы, чтобы из всего этого сделать вывод о полной несостоятельности *экономического* материализма. В тех пунктах, в которых он признает Маркса правым, он отказывает ему в оригинальности, в остальных же пунктах он подчеркивает лишь то, что ему кажется ложным, и при этом вдается в крайне неверные рассуждения о прибавочной стоимости, о сущности исторических законов, о детерминизме и т. д. Де-Грееф и вместе с ним Вормс высказались в том смысле, что экономика, правда, образует основной факт общественной жизни, но в сфере экономики решающую роль играет процесс обмена, главным образом, вследствие простоты его элементов, а не гораздо более сложный процесс производства. Подобно тому, как содержание социологии составляют высшие

обобщения, получаемые из отдельных социальных наук, расположенных в определенном порядке по степени простоты элементов, так и общество состоит из определенных групп явлений, причинно связанных между собою в том же порядке, что и соответствующие науки. Де-Грееф в своей „Memoire“ не приводит этой классификации явлений, как он ее понимает, но зато Вормс развивает свою классификацию, вполне сходную с устанавливаемой де-Греефом классификацией наук. На экономике возвышается генетика (структура семьи), затем „самопроизвольные общественные отношения“: мораль, религия и искусство, и, наконец, „принудительные общественные отношения“, как право и политика. Де-Роберти, с своей стороны, располагает общественные явления в другом порядке, так как он иначе смотрит на степень их простоты или сложности. Экономика, напр., занимает у него среднее место: ей предшествуют „более простые“ явления.

Все трое—де-Грееф, Вормс и Роберти—определяют действительную об'ективную зависимость на основании чисто внешнего обстоятельства,—на основании того суб'ективного отношения человека к предмету, которое позволяет ему легче постигнуть его. Такого рода установление об'ективных закономерностей истории в зависимости от того, каким способом наш разум постигает явления, может, без сомнения, служить школьным примером необоснованного онтологизма. Такой образчик применения позитивистского метода делает понятным, почему эти позитивисты, несмотря на все свои мнимо-научные формулы, не сделали в своих многочисленных сочинениях и одного плодотворного открытия.

Подводя итоги дискуссии, Крауз говорит, что совершенно ясно, что исторический материализм,—эта революционная теория пролетариата,—с каждым днем все больше завоевывает умы и что уже в настоящее время очень многие буржуазные социологи видят в нем „значительную часть истины“.

Я думаю, что мы не должны обойти молчанием всю эту дискуссию. Во-первых, если одни и те же возражения делаются из года в год в книгах, брошюрах и статьях, то и нам необходимо время от времени вкратце проверять эти возражения. Сюда относится обычное возражение, считающее исторический материализм ложным на том основании, что связанный с ним натур-философский материализм ложен; затем—ссылка на то, что основное положение исторического материализма вовсе, мол, не доказано, что, напротив, всякого рода идеи оказывают на историю, как причинно действующие силы, большее влияние, чем „экономические потребности“. Во-вторых, еще более важным я считаю исправить часть рассуждений Крауза по существу. Начну с менее существенного—с методологических вопросов.

## I. Натур-философский и исторический материализм.

Крауз, вопреки утверждению де-Греефа, отрицает всякую связь между натур-философским и историческим материализмом. По его

мнению, Маркс и Энгельс назвали так свою теорию из оппозиции к нераздельно господствовавшему тогда немецкому умозрению. Экономика, как и остальные исторические образования, возникает из определенных функций человеческой души. В подтверждение своего взгляда Крауз ссылается на то место в „Нищете философии", где Маркс говорит, что „общественные отношения представляют такой же человеческий продукт, как сукно, холст и т. д."

Я совершенно согласен с этим взглядом Крауза; я всегда был того же мнения. На том названии, которое получила наша теория, отразилось влияние чисто суб'ективных причин, созданных условиями времени. В диком опьянении немецкого умозрения,—о многих совершенно серьезных продуктах его творчества мы в настоящее время вряд ли даже можем составить себе представление [1]),—была совершенно забыта всякая трезвая философия, и известный тогда в Германии французский материализм, подчеркивавший методологические основы естествознания, был единственным мировоззрением, открывавшим двери эмпирической науке. В названии исторического материализма, на-ряду с тем фактом, что обычное словоупотребление обозначает экономические отношения, как „материальные", содержится, быть может, еще указание на то, что, подобно тому, как в естествознании дело сводится не к каким-либо умозрениям, а к эмпирическому исследованию материального мира и его свойств, так и в истории действительное познание получается путем исследования экономического, исторически „материального" мира.

В действительности же никакой логической связи между обеими теориями не существует. Исследование имеет тут дело с совершенно разнородными элементами, которые нередко бывает трудно поставить в какое бы то ни было формальное отношение друг к другу, хотя бы даже в отношении противоположности.

### 1. Различие в роде познания.

Натур-философский материализм относится к области философии. А философия, — если угодно, чистая философия, — есть тот род познания, который стремится исследовать, что в конечном счете составляет сущность мира (хотя бы ответ на этот вопрос получился в духе агностицизма) и как осуществляется человеческий опыт. Натур-философский материализм имеет определенный ответ на эти вопросы.

Напротив, исторический материализм относится к области эмпирической науки. Эмпирическая наука, или просто наука, есть тот род познания, который в своих исследованиях принимает опытный мир за

---

[1]) См., напр., исследование Шеллинга о свободе или трактование Гегелем естественно-научных проблем *): не говоря уже о спекулятивных умах рангом ниже, которые создали буквально новую мистическую теологию.

*) Характерные примеры приведены у Риля в „Теории науки и метафизики" (Москва 1888 г. изд. Солдатенкова, стр 142—149).

данное и исследует только его взаимоотношения, зависимости и изменения. Это именно и делает исторический материализм, который говорит лиш о характере зависимости между существующими историческими явлениями.

Он представляет собою эмпирическую теорию, имеющую такое же методологическое значение для социальных наук, какое, напр., имеет теория Ламарка-Дарвина для биологии, или теория тяготения для физики и астрономии,—и, подобно этим теориям, он абстрагирован только от специальной области исследования. О сущности бытия он говорит так же мало, как эти теории, как всякая эмпирическо-научная теория вообще.

### 2. Различие в характере монизма.

Обе теории считаются монистическими. В этом монизме часто усматривают опорный пункт для выставляемого утверждения о существовании между обеими теориями внутренней связи. В действительности, однако, монизм исторического материализма резко отличается от монизма натур-философского материализма, как и вообще от всякого рода философского монизма. Именно, натур-философский материализм утверждает, что *две* различных группы явлений, две конкретности, представляют, в сущности, вечно *единое*. Историческому же материализму вовсе нет никакого дела до утверждаемого тождества физического и психического; он всегда берет только опытную наличность и различное в опыте оставляет различным. Он становится именно на дуалистическую точку зрения обычного опыта, так как ему нет дела до философских определений; он говорит в терминах опыта о „сознании“ в противоположность „бытию“; он рассматривает всякую идеологию, как самостоятельное, хотя исторически и зависимое, образование, и он хочет лишь из единого принципа об‘яснить развитие различных исторических явлений. Его монизм, поэтому, означает лишь признание основной закономерности во всей области истории, разнородные элементы которой признаются различными, тогда как монизм натур-философского материализма признает различные в опыте группы явлений тождественными.

### 3.—Различие в об‘ектах.

Это—решающий пункт вопроса. Предметом философского материализма является „материя“: психическое для него—только свойство материи, в основе своей тождественное с материальным движением. Предметом же нашей теории является человеческое общество. В последнем мы различаем экономику, формы организации, каковы государство, семья и т. д., и, наконец, идеологии, каковы: мораль, религия и т. д. Сущность общества в экономическом, как и в идеологическом отношениях, заключается в определенной совместной деятельности людей. Общество, следовательно, конституируется из отношений,

в которые люди вступают между собою посредством волевых действий. В эти отношения люди вступают в своей целокупности, „с душой и телом“,—и деятельность их в такой же мере „материальна“, как и „духовна“. И в экономике совершенно так же, как в идеологиях, так называемая „материальная“ деятельность стоит под руководством так называемой „духовной“ деятельности. Но *отношение*, ведь, никоим образом не является „материей“ в смысле философского материализма, приравнивающего материю неодушевленному веществу. Вообще, трудно поставить „экономическую структуру“, „материальный базис“ исторического материализма в какое-либо отношение к „материи“ философского материализма, как бы ее ни понимать. И так же мало, как живых, духовно действующих людей, можно рассматривать, как „материю“, и те различные отношения, в которых люди действуют, напр., систему крепостничества или наемного труда—эти „основные материальные“ факты нашей теории. И это относится не только к тому, что производит действие, но и к тому, что создается этим действием. Средства производства, как машины и т. д, затем предметы потребления, скорее являются продуктами человеческого „духа“; а с другой стороны, все идеологические продукты, как статуи, храмы и т. п., следует, с точки зрения натур-философского материализма, рассматривать как материю. Таким образом, ясно, что не существует никакой общей меры, с помощью которой было бы, вообще, возможно сравнивать об‘екты обеих теорий. Совершенно ясно, что речь идет тут о коренным образом различных об‘ектах, способах рассмотрения и задачах познания.

Здесь уместно будет отметить, что марксизм, как теория, имеет тенденцию, по возможности, элиминировать материальное, вещественное, и на его место поставить *процесс*. Так, „материальные блага“ являются для него лишь кристаллизованными продуктами человеческой деятельности. Так, природа, эта основа человеческого производства, оценивается им лишь в процессе, который развивается между нею и человеком при добывании последним средств к жизни. Так основные понятия производственных отношений и производительных сил всегда предполагают человеческие отношения в их постоянных проявлениях и изменениях. Рассмотрение явлений в процессе и через процесс—диалектическое рассмотрение—как-раз и составляет отличительную черту марксизма. А если мы кое-где в марксистской теории наталкиваемся на „материальность“, то этому не приходится удивляться в нашем мире, где материя так распространена. Но отсюда еще никоим образом не следует, что между марксизмом и теорией натур-философского материализма существует логическая или какая бы то ни было иная связь. Если бы из этого факта такая связь вытекала, то мы гораздо скорее должны были бы признать, что всякая другая наука, например, буржуазная политическая экономия всех оттенков (которая, действительно, верит в абсолютное всемогущество веществен-

ных богатств: она приписывает им скрытое свойство быть капиталом, создавать прибавочную стоимость), является продолжением натурфилософского материализма, но только не марксистская теория, которая знает только *целого* человека в его деятельности в общественном процессе, со всеми его телесными и духовными способностями, а не какую-то „материю".

### 4. Различие в характере причинности.

Если, таким образом, об'екты обеих теорий различны, то даже при одинаковом характере причинной зависимости элементов речь могла бы итти только об аналогии. Но, как мне кажется, и этого нет. Натурфилософский материализм признает, что мозг, „материальное", создает деятельность сознания, которое само по-себе лишено содержания, получая его только от внешнего мира. Как может мозг создавать сознание, явление совершенно иного порядка,—этого материалисты не об'ясняют, да и не пытаются об'яснить, в виду невозможности разрешения такой задачи. Если новейшие материалисты признают материю с самого начала одушевленной, то в этом случае не может быть речи о том, что материя производит сознание. Всякая видимость аналогии и поэтому также необходимость какого бы то ни было констатирования или исследования—отпадают тогда сами собой.

Исторический же материализм утверждает, что экономика,—экономическая структура,—определяет общественную надстройку, следовательно, также идеологию, составляющую историческое содержание сознания. При этом, как я уже выше отметил, и в сфере экономики, и в сфере идеологии принимается за данное предполагаемая деятельность мозга,—психическое, как естественно-психологический факт, существование людей, одаренных сознанием и сознательно действующих. Поэтому, как ни велико различие между экономикой и идеологией, по своему материалу, как продукты человеческой—духовной и физической—деятельности, оне тождественны. И поэтому тот способ, каким экономика определяет идеологию, не содержит в себе ничего таинственного, никакого утверждения, лежащего по ту сторону нашего опыта, а представляет лишь эмпирический факт, который мы поняли и часто констатируем. Ведь, вся экономика по самой сущности своей представляет лишь определенное отношение между людьми для удовлетворения их жизненных потребностей. По своему об'ему она охватывает всю совокупность человеческого существования, ибо она приводит человека в непосредственное соприкосновение с природой и определяет возможные линии его жизни и поведения. По своему основному содержанию она придает конкретную форму жизненному процессу находящихся в соответствующем отношении индивидов. Поэтому посредине всей экономики, как центральный, ощущаемый и сознаваемый данными индивидами и потому психический, основной факт, стоит жизнь во всей

полноте стремлений, инстинктов и фактов сознания, в которых она себя ощущает и сознает. Но если экономика придает форму жизненному процессу и определяет возможные линии его развития, то легко понять, каким образом, на основе постоянно действующих жизненных инстинктов, которые можно различно обозначать, как волю к власти, самоутверждение и т. д., в человеке формируется картина мира, адэкватная возможным линиям развития его жизни,—другими словами, каким образом к конкретной форме жизненного процесса, обусловленной экономикой, примыкают идеологии, которые по сущности своей представляют лишь духовное изучение этих конкретных жизненных возможностей. *Таким образом, переход от экономики к идеологии осуществляется естественным образом, в виду психического содержания экономических отношений.*

Итак, мы видим, что и в характере причинности, применяемой обеими теориями, нельзя открыть ничего общего; впрочем, этого следовало ожидать à priori, в виду различия элементов этих теорий.

* *
*

Можно еще в каком угодно направлении проследить мнимую связь между обеими теориями,—при более внимательном анализе мы нигде не сможем установить такой связи просто потому, что речь идет о различных способах и целях познания.

Возникает вопрос, как относились Маркс и Энгельс к разбираемой нами проблеме.

Насколько мне известно, ни Маркс, ни Энгельс не высказались прямо по этому вопросу. Мы знаем, что они, особенно Маркс, мало интересовались чисто-метафизическими вопросами, что они всегда требовали изучения действительности в природе и истории. Никогда они не устанавливали какой-либо связи между своей теорией и натур-философским материализмом,—напротив, они часто устанавливали такую связь с идеалистической немецкой философией. Энгельс приводил свою теорию только в методологическую связь с эмпирическим естествознанием, но отнюдь не с той или иной разновидностью натур-философии и, следовательно, также не с натур-философским материализмом: это видно из Anti-Dühring'а и особенно из его книжки о Фейербахе, в которой он об'являет всякого рода натур-философию излишней, так как результаты эмпирического естествознания сами в состоянии дать нам ясную картину природы в достаточно систематической форме. Того же требует Энгельс и по отношению к истории.

Более глубокое понимание сущности разбираемого вопроса мы получаем, на мой взгляд, только из „Святого семейства", в котором Маркс совершил свой переход от философии к историческому материализму. В целом ряде мест Маркс говорит здесь об экономических категориях, как о предметном отчуждении (gegenständliche Entäusserung)

человека, которое получило затем самостоятельное существование вне его и противостоит ему как отчужденная потенция. Такого же рода отчужденной потенцией Маркс считает и исторические идеологии, как, напр., религию и политику, или формы организации, как государство. Таким образом, Маркс, в „Святом семействе" выступает перед нами как последователь теории „отчуждения" (Entäusserungstheorie).

Теория эта, ставшая в руках Маркса ключом к очень важным открытиям, принадлежит немецкой философии. Действительным ее творцом является Кант. По учению Канта, человек формирует картину мира, определенным образом прилагая к внешнему чувственному материалу чистые воззрения пространства и времени и категории рассудка; поэтому, во внешнем мире мы находим в об'ективированном виде значительную часть нашего собственного существа.

„Рассудок—законодатель природы". По Фихте, уже самый внешний чувственный материал „полагается" человеком. Весь мир становится таким образом отчуждением человека, его абстрактного родового разума.

Это воззрение переходит в тогдашнюю немецкую философию и находит систематическое развитие у Гегеля. Так, напр., в „Святом семействе" Маркс цитирует один из важнейших тезисов гегелевской феноменологии: „Отчуждение самосознания полагает вещность (Dingheit). В этом „отчуждении оно полагает себя, как предмет, или предмет, как себя самого". Фейербах отвергает теорию отчуждения в применении к природе, но удерживает ее в применении к истории. Кроме того, на место самосознания он ставит действительного человека, обладающего сознанием, но все еще в качестве родового существа. Этой теории Фейербах обязан основным содержанием своей философии религии. Религия является для него отчуждением действительного человека: человек создал Бога, а не Бог человека. Затем этой теорией стали щеголять по всем направлениям „истинные социалисты", которые патетически жаловались на „отчуждение" и при этом не могли подняться над общими философскими местами, за что их собственные „отчуждения" и были так осмеяны в „Коммунистическом манифесте".

Маркс также перенял „теорию отчуждения", но он освободил ее от ее философского покрова и воспользовался ею, как средством для конкретного познания. От „Святого семейства" через „Нищету философии" до „Капитала" повсюду встречаем мы эту теорию, в особенно же блестящей форме—в знаменитой главе о фетишизме товаров. В экономических и во всех вещных и идеологических категориях общества Маркс видит продукты человеческой деятельности. Однако, у Маркса эти „отчуждения" человека не являются, как у „истинных социалистов", обнаружениями абстрактной человеческой природы, а лишь проявлениями определенных людей при определенных местных и временных, естественных и исторических условиях. Эти „отчужде-

ния“, следовательно, выступают во всей их действительной реальности и конкретности, как действительные экономические, религиозные и т. п. категории в определенную эпоху, у определенного народа.

Если сама по себе „теория отчуждения“, разумеется, не дает нам еще исторического материализма, то она все же дает нам возможность познакомиться со взглядом Маркса на сущность экономических категорий, государства, права и идеологий. И этот взгляд Маркса делает логически невозможной всякую попытку связать исторический материализм с натур-философским и, напротив, вскрывает перед нами некоторые новые нити, связывающие марксизм с немецкой классической философией.

И вместе с этим разрешается еще один вопрос. Историческому материализму обыкновенно ставят в упрек, что у него нет теоретико-познавательнаго базиса. Основной проблемой теории познания является вопрос об отношении суб‘екта к „чуждому“ для него об‘екту. Отсюда возникает целый ряд проблем: каким путем нам дан об‘ект, как приходим мы к его познанию, что именно познаем мы в нем и т. д. Но если марксистская теория рассматривает все явления, входящие в область социальных наук, как „отчуждения“ человека, как его продукты, то сама собой отпадает вся теоретико-познавательная проблема, так как здесь „об‘ект“—общественные явления—противостоит „суб‘екту“, не как какое-то „чуждое существо“, а как его собственный продукт, необходимым образом обнаруживающий в своей сущности и структуре характер суб‘екта. Таким образом, исторический материализм уже с самого начала построен именно на теоретико-познавательном базисе. И единственный теоретико-познавательный вопрос, который, быть может, стоит еще перед историческим материализмом, это—вопрос методологический: удовлетворяет ли он методологическим требованиям научной теории, или, другими словами, какие условия нашего познания сообщают этой теории ее научную ценность, дают ей уверенность в правильности ее знания?

## II. Почему мы считаем теорию историческаго материализма правильной?

Ахилл Лориа выдвинул на конгрессе против Маркса и Энгельса то возражение, что они не представили никаких доказательств правильности тезисов исторического материализма. На вопрос об основаниях истинности их аксиомы они, по словам Лориа, ограничились ответом: „Изучайте историю,—там вы найдете доказательство правильности нашего тезиса“.

Лориа ошибается. Маркс и Энгельс доказали истинность своей теории и указали путь к плодотворному пользованию ею не только тем, что сами на практике применяли ее; они не раз также теоретически обосновывали ее,—особенно Энгельс, как в общих простых поло-

женияхъ надгробнаго слова Марксу, так и в своих сочинениях о Дюринге и Фейербахе. Верно лишь то, что Маркс и Энгельс не написали об историческом материализме отдельной книги с системой дедуктивно-логических доказательств. Но какая необходимость была в такой книге? Разве она доказала бы то, что требовалось, с большею силой, чем фактическое применение теории Марксом и Энгельсом, чем отдельные их положения в ее защиту? Я сильно в этом сомневаюсь. Собственная попытка Лориа восполнить в своем реферате упущенное Марксом и Энгельсом значительно уступает по силе доказательности отдельным положениям Маркса-Энгельса. Впрочем, логические дедукции, вообще, не могут дать больше того, что уже содержится в доказываемом ими положении,—и истинность такого, добытого изучением конкретного исторического материала, обобщения, каким является наша теория, всегда в конечном счете может быть доказана просто путем применения ее к истории и в истории. Но если истинность содержания всякой эмпирическо-научной теории может быть доказана просто на свойственном ей опытном материале, то все же остается еще открытым вопрос, при каких познавательных условиях вообще возможно в данной области познания придти к истине или к правильной науке. Если мы установили эти условия и нашли, что данная теория им удовлетворяет, то мы вместе с тем поняли строение и элементы этой теории и составили себе суждение о том, возможно ли, и насколько возможно, с помощью данной теории познать истину.

Такого рода методологическое исследование может, поэтому, во многих отношениях быть полезным и для теории исторического материализма.

Задача и сущность науки, всякой науки, вообще, состоит в том, чтобы показать становление (Werden) исследуемых ею явлений в их полном и непрерывном течении, т.-е. в их связи и зависимости. Становление данной связи мы можем понять только с точки зрения обусловленности. Только при допущении, что ставшее (Gewordene) стало таким, как оно есть, лишь при определенных условиях и благодаря этим условиям,—другими словами, только при допущении закона причинности, возможно научное мышление. Исследовать зависимость явлений или применить закон причинности к ряду явлений—понятия тождественные *). Коль-скоро мы познали, что становление определенного явления обусловливается определенной общей зависимостью, то тем самым мы познали типический характер условий этого явления, „закон“ его становления. Тогда мы имеем перед собою определенную закономерность его течения, так что мы можем при определенных

*) Я не могу подробнее останавливаться здесь на таких теориях, как теория Маха и других, которые полагают, что можно вовсе элиминировать понятие причины из естествознания, или на таких, как теория Штаммлера, который в социальных науках, вместо понятия причины, считает исключительно применимым понятие цели.

условиях ожидать наступления определенного состояния. Этим удовлетворяются предварительные требования науки. Но лишь тогда, когда мы поняли, что определенное явление обусловливается определенною зависимостью таким образом, что, согласно нашему познанию, оно *необходимо должно было* стать таким, как оно есть,—лишь тогда мы считаем это явление об'ясненным. Этот элемент „необходимости" в становлении явления составляет существенный признак строгой научности. Такой характер необходимости познание приобретает лишь в том случае, когда обнимаемое им течение явлений мы можем разложить на ряд причин и следствий, так что, путем установления правильной логической последовательности соответствующих элементов, следствие относится к причине, как вывод к своему основанию, ибо формальный характер необходимости присущ только логической форме умозаключения.

Итак, основной целью научного исследования является установление полного причинного ряда, в котором каждый член необходимо должен быть познан, как определенный, „не могущий быть иным" и, следовательно, необходимый результат обусловливающих его предыдущих членов, причем, однако, главный член ряда составляет для данной области познания эмпирически установленную или доказанную предпосылку. В естественных науках, имеющих дело с изменениями вещества и энергии, которые допускают количественное определение, эти методологические требования могут быть во многих отношениях легко выполнены. Ибо количественное определение, т.-е. созданное нашим собственным познавательным аппаратом определение величин, допускает математическую обработку. Этому математическому определению связи явлений, получаемому с помощью функции основания и вывода, естественные науки главным образом и обязаны своей точностью, которая так очаровывает наш интеллект. Иначе обстоит дело с социальными науками. Их предметом служат отношения, эсуществляемые через психическое опосредствование. Даже в области политической экономии, где мы имеем дело с требующей количественного определения категорией ценности, возможность действительно научного познания основана на психическом понимании отношений между совместно действующими факторами. Особенно же при об'яснении становление чисто идеологических содержаний, всякого рода количественное определение невозможно и даже—в отношении к цели познания—излишне. Следовательно, причинный ряд социально-научных явлений пришлось бы составить из отношений, переходящих в психические явления, и из чисто психических явлений. Но, ведь, основное свойство психического состоит в том, что содержание его постигается, непосредственно сознается нашим духом. Поэтому в социальных науках нам всегда должны быть понятны как содержание отдельных членов социально-научного причинного ряда и весь этот ряд в целом,

так и основание того, почему мы необходимым образом должны причинно связывать отдельные его члены.

Форма, в которой осуществляется причинная связь между психическими явлениями, есть мотивация, т.-е. внутреннее определение нашего, проникнутого волей к жизни, духа данными внешними обстоятельствами. Если, таким образом, в естественных науках причинный ряд устанавливается на основании внешней последовательности элементов или на основании внешним образом воспринимаемых общих признаков, то в социальных науках этот ряд по необходимости должен быть выведен из мотивации и вызванных ею волевых актов. Но на основании знакомства с нашей собственной психической жизнью мы знаем, что определенная мотивация при определенных данных обстоятельствах необходимым образом вызывает определенное действие; мы знаем, следовательно, что связи волевого акта с мотивом присущ характер неизбежной последовательности, характер необходимости. Поэтому и психический причинный ряд может быть определен с точностью.

Итак, задачей социальных наук является установление *полного* причинного ряда, в котором, в виду психического характера явлений, было бы *понятным образом* познано, что явления эти в их определенной форме *необходимо должны были* стать такими, какими они стали. Но если бы предметом социальной науки было выяснение мотиваций и действий отдельных индивидов, как таковых, то она, разумеется, вообще не могла бы справиться с своей задачей, и, следовательно, социальная наука вообще не была бы возможна, хотя бы уже потому, что мы не всегда в состоянии точно познать совокупность мотивов, определяющих каждое действие индивида. В действительности же, однако, предметом социальной науки, как уже было отмечено выше, являются *отношения*, как, напр., экономические, правовые и т. д., или *идеологии*, как религия, искусство и т. д., в которых об'ективируются известные *типические* мотивации и волевые акты целых групп, доступные познанию именно вследствие своего типического характера. Поэтому причинный ряд этих об'ективированных явлений необходимо установить таким образом, чтобы каждое из них содержало в себе с достаточным основанием—следовательно, с необходимостью—мотивацию для следующего, примыкающего к нему, явления, которое в свою очередь служило бы с достаточным основанием мотивацией для следующего, и т. д., пока таким образом не будет об'яснено необходимое становление всей данной группы явлений.

Тут возникает вопрос, каким образом причинный ряд становится полным, ибо, ведь, и по отношению к первому условию необходимо поставить вопрос о его собственном основании. А вслед затем возникает вопрос и о характере мотиваций, создающих исторические „об'ективации“.

Теория исторического материализма вполне точно разрешает эти методологические трудности.

Исходным пунктом этой теории служит понятие и факт жизни во всей ее реальности, — следовательно, также во всех ее психических проявлениях. Феномен жизни является для социальной науки предпосылкой; исследование психологическпх причин этого феномена входит не в ее задачу, а в задачу биологии и психологии, откуда социальная наука берет эту предпосылку, как известный всем понятный факт. Но человеческая жизнь не проявляется в обществе, как изолированная, голая, био-психологическая жизнь, а, напротив, воздействуя сама на себя на основе естественных условий, она находит свою непосредственную конкретную форму в тех экономических отношениях, в которые вступают между собою люди, носители жизни. Жизнь, — если рассматривать ее с точки зрения процесса,—означает именно, приспособление внутренних состояний к внешним условиям. Этот процесс приспособления совершается в области жизни во всех формах: как в биологической, напр., при дыхании, еде (как реакции на чувство голода), при поддержании температуры тела и т. д., так и—па более высокой ступени развития—в соответствующем психическом реагировании на опеределенное воздействие среды. Чтобы осуществить это приспособление, чтобы жить, люди вынуждены в рамках данных естественных условий преобразовывать природный материал, „вынуждены производить, а с этой целью—комбинировать свои силы, вступать в определенные отношения друг к другу и, следовательно, создавать производственные отношения“ *). Производственные отношения и все иные обусловленные ими экономические отношения обнимают, поэтому, как определенные отношения между действующими людьми, так и определенную сферу человеческой деятельности,—следовательно, также ту част природы, в которой эта деятельность совершается,—и, наконец, необходимые для этой деятельности и возникающие из нее вспомогательные средства, как орудия и т. п. Приспособление „внутренних состояний“ этой, лишенной собственного содержания, жизпеспособности к внешним условиям совершается при посредстве экономических отношений. Такое приспособление при посредстве экономики мы видим, прежде всего, в изготовлении пищи, в разного рода приспособлениях для поддержания температуры тела, даже при дыхании (устройство жилища) и т. д.; во всех этих случаях экономика становится между внутренним состоянием и просто биологическим приспособлением. На основе экономики, благодаря которой человек стал в непосредственное отношене к природе, он создает себе свои воззрения на природу и мир в целом, соответственно тому отношению к природе, в какое его поставила экономика (ср. воззрения на природу номада, земледельца, горожанина, затем людей,

*) Плеханов, „Neue Zeit“, Jahrgang XXI, Heft 10.

в значительной мере овладевших силами природы, как, напр., при развитой промышленности, и т. д.). Главную роль, однако, играет непосредственное отношение людей друг к другу в экономическом процессе, которое, с точки зрения усиления или ослабления жизни, обусловливает жизненные стремления людей в их отношениях друг к другу, следовательно, их общественные стремления, а также конкретное содержание жизни и определенные жизненные возможности людей (напр, отношение между господином и рабом,—между феодалом и крепостным, — между капиталистом и земельным собственником и т. д.). И в этом непосредственном отношении человека к человеку совершается приспособление „внутренних состояний“ к „внешним условиям“, ибо эти „внутренние состояния“ получают свое содержание и свое направление от характера данного непосредственного отношения человека к человеку. Таким образом, „внутреннее“ жизни или,—назовем его, по самому главному его признаку, несовсем точно „волей к жизни“,—биопсихическая воля к жизни получает свое направление и свое содержание от тех условий, в которых люди добывают себе средства к жизни, т.-е. от экономических условий. Если люди в этих экономических условиях занимают при добывании средств к жизни различное положение, то они образуют различные классы, соответственно одинаковым источникам жизни и, именно, вследствие этой одинаковости. Поэтому, вместе с одинаковостью источников жизни и с вытекающими отсюда возможностями дано также типическое единое направление жизненной воли для членов данного класса.

Таким образом, экономические условия образуют внешнюю структуру жизни общественного человека; они полны жизни, ибо в них выступают люди; и так как различные общественные направления и содержания жизни находят себе единое и адэкватное выражение в различных классах, которые даны вместе с различием положения, занимаемого людьми в этих условиях, то классы оказываются носителями общей, общественной жизни или, выражаясь точнее, общественых жизненных интересов. Это фактическое единство, разлагаемое анализом на жизнь (экономические условия, образующие внешнюю структуру жизни) и классы (как единые носители жизненных направлений, проявляющихся в экономических отношениях), служит, с точки зрения исторического материализма, исходным пунктом социально-научного причинного ряда. Форма, в которой причинность проявляется в этом ряду, есть мотивация. Каждая мотивация, как я уже выше указал, представляет собою внутреннее определение проникнутого жизнью духа внешней причиной в направлении утверждения, сохранения или повышения жизни,—короче говоря, в соответствии с волей к жизни. Мотивации эти переходят в волевые акты и затем находят себе выражение в об‘ективированных образованиях истории, каковы правовые и государственные формы, мораль, религия и т. д. Так как вместе с

классами, как носителями общих жизненных интересов, дана для членов данного класса в их общественной деятельности типическая единая нормировка воли к жизни, то из понятия мотивации, при одинаковой комбинации внешних условий, получается типическая единая классовая мотивация. Вследствие этой общности мотиваций у членов одного и того же класса, все общественные образования, которые в классовом обществе об‘ективируются в форме отношений или идеологий, неизбежно основаны на классовых мотивациях. Поэтому, при социально-научном анализе общественная деятельность и существование воли к жизни проявляется в конкретной форме, как определенная в своих основных возможностях и своем направлении воля членов какого-либо класса,—как классовая воля. Но данный класс является выражением данных экономических отношений. Если, следовательно, воля к жизни получает при посредстве классового отношения свое содержание и свое направление от экономических условий и если она, в свою очередь, определяет содержание и направление каждой мотивации, то экономическая структура,—т.-е. определенным образом оформленная совокупность экономических отношений, в которых, разумеется, проявляют свое действие и конкретные жизненные стремления,—оказывается определяющей силой для каждой общественной мотивации и поэтому также для об‘ективированных волевых актов, вызванных этими мотивациями,—для общественной надстройки.

Но так как жизнь и воля к жизни, как неразрывно связанные с экономическими отношениями, всегда предполагаются экономией, как нечто данное, то обыкновенно не считают нужным особо подчеркивать этот момент, что вызывает бесконечные недоразумения у тех, кто не понял нашей теории.

Итак, человеческий процес жизни получает свою основную общественную форму непосредственно в экономике, а отсюда,—приняв уже определенную форму,— он наполняет своим содержанием все общественные организационные формы и идеологии. Так, напр., люди, жившие в буржуазных производственных отношениях, начиная с шестнадцатого века, могли развивать свою жизнь и использовать свои жизненные возможности только в том случае, когда эти производственные отношения не опутывались суб‘ективными и об‘ективными узами феодализма. Поэтому их воля к жизни получила в экономической сфере стремление к свободе, к беспрепятственному развитию личности, и этим своим содержанием она затем наполнила все области общественной жизни, как идеологии, государство, право и т. д.

Жизнь составляет основу для всех человеческих феноменов,—и определенные жизненные проявления, которые служат к утверждению и сохранению жизни, представляются нам по отношению к жизненной основе,—в силу нашего собственного опыта,—как ее необходимые, в ней содержащиеся следствия, с устранением которых пришлось бы

считать несуществующей и данную волю к жизни, так как жизнь не могла бы утвердить себя. Общественные продукты определенного жизненного процесса представляются нам в своем становлении неизбежными, необходимыми. И в установленном таким образом причинном ряде всякое следствие будет нами познано как необходимо вытекающее из его причины. Но так как основной действующий момент—наполненное общественным содержанием стремление к жизни—проявляется также во всех членах ряда, то, вследствие тождества этого основного момента в обусловливающем и обусловливаемом, всегда можно установить и чисто логический ряд, построенный на категории основания и вывода, а это сообщает уже характер формальной необходимости тому причинному ряду, который был построен на необходимой связи отдельных членов по содержанию.

Если мы рассмотрим этот ряд членов:—1) экономика определяет направление и содержание жизни; 2) определенная в своем содержании и направлении жизнь определяет мотивации, 3) которые об'ективируются в общественных надстройках,—то окажется, что то, что в первом звене было следствием, во втором звене выступает как причина, так что, путем логической операции, первый член первого звена оказывается определяющим моментом для второго члена второго звена; далее обнаруживается тождество основного психического момента в причине, как и в следствии.

Этому ряду членов можно придать еще другое, более узкое выражение: 1) экономика создает классы, 2) классы (входящие в класс люди) создают надстройки—следовательно, экономика определяет надстройки. Во всех этих случаях причинный ряд сам собою принимает форму силлогизма, так что он развертывается по категории основания и вывода, и отдельные члены причинного ряда служат предпосылками для последнего члена, который вытекает из них, как неизбежное следствие, материальная истинность которого устанавливается опытом *). Таким образом, благодаря теории исторического материализма, связь между членами социально-научного причинного ряда получает тот характер материальной и формальной необходимости, которого стремится достичь, но редко достигает научное познание. Оказывается, что исторический материализм, который один только дает нам возможность установить полный и на всем своем протяжении понятный нам социально-научный причинный ряд, удовлетворяет всем методологическим требованиям науки, вообще, и социальной науки—в частности, что он, одним словом, выполняет все условия, при которых возможна социальная наука. В этом лежит методологическое основание того, почему мы считаем правильной теорию исторического материализма.

*) Употребляемые нашей теорией родовые обозначения, как „экономика“ и т. п., выражают конкретные явления, относящиеся к данному роду.

Теперь можно дать более обоснованный ответ на поставленный мною во введении вопрос относительно подчеркивания Марксом и Энгельсом преимущественной важности практического применения их теории к историческому материалу и их пренебрежительного отношения к дедуктивному ее выведению. Маркс и Энгельс стремились дать теории исторического материализма позитивное обоснование; родовые обозначения, как „экономика“, „юридическая надстройка“ и т. д., выражают у них только конкретные феномены, и предметом их теории является, именно, зависимость между этими конкретными феноменами. И в то время, как чисто формальное выведение теории, будет ли оно построено на логической дедукции или нет, уже в силу ее общей формы дает повод к разного рода пустым возражениям, так как многие не в состоянии даже отыскать ее промежуточные члены, —установление связи между конкретными явлениями в духе нашей теории заставляет каждого непосредственно признать ее. Таким образом, практическое применение обеспечивает нашей теории победу. Наконец, само по себе содержание теории исторического материализма, при всей ее внутренней истинности, не имело бы особого значения, если бы она вместе с тем не делала возможной социальную науку, если бы она не бросала яркий свет на конкретный ход общественного развития, т.-е. на *историю*, и если бы она не создавала базис для плодотворной практической общественной деятельности по научным принципам. Таким образом, неизмеримо великое значение нашей теории заключается, именно, в ее практическом применении,—и, главным образом, на практике она и должна оправдать себя. Как-раз одной из величайших заслуг Маркса является то, что свою необычайно богатую, но для разрешения поставленных им себе задач слишком краткую жизнь он посвятил не догматическим рассуждениям, а практическому применению выставленной им теории, чтобы таким образом на практике доказать ее пригодность в качестве научного орудия, в качестве „руководящей нити при изучении истории“ *). Только применяя эту теорию на практике, мы приходим к правильному ее пониманию и постигаем все ее значение.

Если, однако, в результате методологического исследования, хотя бы такого неполного, как представленное мною, мы приходим к выводу, что исторический материализм удовлетворяет всем требованиям научной методологии, то это может все же служить новым доказательством его истинности. Ибо, если нельзя считать теорию правильной на том только основании, что она удовлетворяет методологическим требованиям, то зато, обратно, каждая правильная теория непременно должна быть безупречна и в методологическом отношении.

Напротив, теории, прямо ложные в методологическом отношении, à priori не могут притязать на какое бы то ни было научное значение.

*) „Предисловие“ к „Zur Kritik“.

Это относится, например, к теории рас и к теории людей. Начнем с первой. Не говоря уже о том, что понятие расы до сих пор лишено всякой научной определенности, рассовая теория не в состоянии сколько-нибудь понятным и ясным образом показать, как и почему известные биологические факты обусловливают, как она утверждает, определенные духовные свойства. Если это остается непонятным при всякой попытке определить постоянные признаки расы, то еще более непостижимо то, каким образом и из каких рассовых глубин у одной и той же расы в ходе истории выступают наружу различные, часто прямо противоположные, содержания исторической жизни. Нетрудно видеть, что эта теория, принимая определенное условие за главное, не в состоянии сделать от этого условия ни одного шага в об'яснении социально-научного ряда, не в состоянии сколько-нибудь понятным образом об'яснить связь между членами этого причинного ряда.

Иначе, хотя и не лучше, обстоит дело с другой теорией, согласно которой идеи являются инициативно-определяющей силой истории. Несмотря на то, что идеи (идеологии) возникают исключительно в истории и здесь же исчезают, что оне, следовательно, представляют собою по преимуществу социально-научные явления,—сторонники теории идей не хотят подводить становление этих социально-научных явлений под *социально-научное* об'яснение, не хотят включать их в социально-научный причинный ряд и принимают за предпосылку нечто такое, что безусловно нуждается в социально-научном об'яснении в смысле самой возможности возникновения, так как речь, ведь, идет о явлениях, имеющих специально историческое значение.

Если сказать, что идеи возникают из других, предыдущих идей, то такой ответ может относиться только к тем идеям, которые движутся в рамках и в направлении предыдущих идей. Но как об'яснить возникновение новых рядов идей, новых идеологий, прямо противоположных прежде господствовавшим? На это последователи разбираемой теории отвечают: „Люди творят идеи из собственного разума". По существу эту теорию подверг уничтожающей критике в свое время Каутский. Поэтому я могу ограничиться лишь следующим замечанием: этот ответ в методологическом отношении означает лишь то, что возникновение новых идей и вместе с тем,—в виду предполагаемой силы идей,—нового хода общественного развития зависит не от исторических, а от неизвестных индивидуально-биологических элементов, а это означает отрицание возможности собственной эволюции общественных явлений и вместе с тем отрицание возможности социальной науки вообще, так как не исключена, ведь, возможность того, что каким-либо одаренным людям придет в голову несколько новых идей, и история тотчас примет другое направление.

Уже по этим чисто методологическим основаниям можно избавить себя от труда сравнить в отношении научной ценности теорию исто-

рического материализма с только-что упомянутыми теориями. Интересно, пожалуй, отметить тот исторический курьез, что теория, удовлетворяющая всем точным требованиям научной методологии, имеет своими последователями, главным образом, пролетариев, тогда как профессора университетов исповедуют теории, не только глубоко ошибочные, но и явно издевающиеся над всеми методологическими основоположениями. Доказательством тому может служить и парижский социологический конгресс.

## III. К определению некоторых основных понятий теории исторического материализма.

Теперь мы хотим об'ясниться с нашим другом Келлес-Краузом. Об'яснение это, в виду богатого и глубокого содержания рассуждений Крауза, будет гораздо плодотворнее, чем все те формальные и методологические раз'яснения, необходимость которых, к сожалению, вызывается научной близорукостью и непониманием.

Прежде всего—к вопросу о терминологии. Это, конечно, еще не такая беда, но все же не лишено значения. Ложная терминология с давних пор служит источником недоразумений во всех науках: стоит только придать словам и понятиям автора несколько *иной* смысл, чтобы придти к самым произвольным выводам. Поэтому без особой нужды не следует создавать новой терминологии. Недаром, ведь, Крауз жалуется по этому поводу на Маркса. К сожалению, он сам грешит против этого правила. Пластический, наглядный образ „базиса и надстройки“ он превращает в абстрактно-логическое отношение „содержания и формы“. Недопустимость такой замены прямо бросается в глаза. Понятия „форма“ и „содержание“ представляют собою чисто мысленную связь определенного рода по отношению к *одному и тому же* явлению. Этих абстрактных соотносительных понятий нельзя применять раздельно к определению взаимных отношений *различных* реальных явлений, так как невозможно представить себе „форму“ без „содержания“ или „содержание“ без „формы“. Крауз сам признает за идеологиями относительную независимость и способность оказывать обратное воздействие на базис. Каждая идеология существует сама по себе и, следовательно, имеет свою собственную форму и свое собственное содержание. Как же может в таком случае какая-либо идеология, напр., религия, представлять собою только форму, т.-е. опять-таки нечто без содержания? Далее, „форму“ — для чего? Для искусства и науки, образующих в таком случае ее содержание или форму для содержания—„хозяйство“? Таких вопросов можно поставить еще много. Вот бы было раздолье для усердных критиков нашей теории! В интересах ясности и правильного, не условного употребления терминов, терминология Крауза должна быть отвергнута.

По Марксу основным двигателем и главным определяющим фактором исторического развития являются производительные силы, их ход и их развитие. Поэтому всякое законченное изложение теории исторического материализма необходимо должно точнее определить этот фактор и показать, как он действует. Без надлежащего анализа этого фактора невозможно правильное понимание исторического материализма. Ведь, этот фактор создает способы производства, он преобразовывает их и вместе с ними также всю надстройку,—словом, он составляет primum agens истории.

Многие критики Маркса, в том числе, напр., и Штаммлер, задают вопрос, что же собствено такое эти производительные силы, как их следует определить? Многие прямо упрекают марксизм в том, что он придал этому фактору какой-то мифологический характер. Посмотрим же, какую позицию занял Крауз по отношению к этому основному вопросу.

В одном месте он говорит: „Способы производства следуют один за другим соответственно развитию социальной системы орудий, которая, под влиянием непрекращающегося стремления к более высокой производительности, все больше разрастается и усложняется“.

Итак, способ производства зависит от техники, а эта последняя от „стремления к производительности“. До этого пункта можно согласиться с таким определением.

Если мы, однако, спросим, в чем, в каких элементах заключается это „стремление к производительности“, этот исторический Демиург, откуда он берется, где его источник,—то на это Крауз отвечает нам ниже при разборе другого вопроса: „Мы имеем здесь дело (еще) с (другим) основным свойством человеческой природы, которое выражается в постоянном стремлении достигать наибольшего результата при наименьшем напряжении сил. И мы видим, как, *под влиянием этого свойства*, под влиянием этого стремления ко все более интенсивной производительности труда орудия производства постоянно совершенствуются“.

Вот оно в чем дело! Стремление к производительности, которое создает технику, а через нее и способы производства, оказывается „основным свойством человеческой природы“. Из человеческой природы, следовательно, проистекает всякое историческое изменение, все многообразное содержание истории,

По этому поводу необходимо заметить следующее: совершенно верно, что человек и, вероятно, также животное и каждый, вообще, биологический организм обладают стремлением к достижению жизненных результатов с наименьшей тратой сил; далее верно и то, что это свойство, в качестве постоянного факта, необходимо оказывает свое действие и при развитии производительных сил. Вед, ясно само собой, что все исторические процессы совершаются при посредстве чело-

веческой деятельности, использующей все целесообразные, присущие человеку, свойства и способности. Но этот постоянный фактор деятельности не в состоянии об'яснить нам изменчивой картины исторического становления. Недостаток места заставляет меня отказаться от более подробных доказательств того, что Краузовское „основное свойство человеческой природы"—стремление индивидуального человека к усовершенствованию орудий—не может с достаточным основанием и в единой концепции об'яснить нам исторического становления. И так как я полагаю, что марксово определение этого основного фактора, вопреки мнению Крауза, еще „соответствует современному состоянию нашей доктрины", то я хочу попытаться противопоставить его—психологическому определению Крауза.

Определение это, разумеется, не может быть дано чисто логической дефиницией. Вещи в их неподвижности ничего не создают,—самое большее, что оне могут дать, это—дефиницию для ориентирующегося мышления. Но Маркс рассматривает все вещи в их действии, в их процессе, он рассматривает их генетически или, как он к великому огорчению многих, выражается вместе с Гегелем,—диалектически.

По Марксу человеку присуща производительная сила, или, проще говоря, способность производить. Но эта производительная сила проявляет свою деятельность в зависимости от естественной среды, в применении орудий производства в рамках определенных общественных отношений—производственных отношений, совокупность которых образует общественный процесс труда, или, иначе говоря, способ производства. Поэтому человеческая производительная сила имеет по природе своей общественный характер. Условия ее существования и действия определяются, независимо от человеческой воли, особыми условиями конкретно-опеределенного процесса труда; напр., тот факт, что человеческая производительная сила проявляет себя в форме рабского, крепостного или наемного труда, степень ее производительности, результаты всего построенного на этом базисе процесса труда,—все это не зависит от воли производителя. С точки зрения статической—следовательно, для дефиниции—можно сказать, что общественные производительные силы суть все те производительные силы, которые имеются на-лицо при определенном способе производства и обладают определенной общественно-технической степенью производительности. Но эти производительные силы, как это вытекает уже из самого их понятия, находятся в постоянной деятельности. В этой своей деятельности оне производят определенные экономически-общественные процессы, которым,—так как они вытекают из *определенно* данных условий способа производства,—присущ характер имманентности, и которые поэтому можно назвать „тенденциями" или „законами". Процессы эти могут оказывать на данный способ производства, из которого они возникли, консервирующее или революционизирующее влияние. Маркс

указывает, напр., на консервативный характер индейской общины, обусловленный состоянием производительных сил. Напротив, в способах производства с частной собственностью на средства производства, в виду основного противоречия между *общественным процессом труда* и *частной собственностью* и возникающего отсюда постоянного нарушения общественно-экономического равновесия, всегда неизбежно проявляются революционизирующие тенденции. Нарушение этого равновесия постоянно ведет к повышению на одной стороне производительности, к возможности больше производить или присваивать себе.

Если в каком-нибудь пункте дано повышение производительности, то повышение это, благодаря имманентному характеру процесса, будет становиться все сильнее и непреодолимее, так как оно вытекает из основ неустранимого способа производства.

Вследствие этого, новые—вызывающие повышения производительности—производительные силы и созданные ими в ходе их развития и в целях ускорения этого развития порядки и учреждения приобретают все больше значения и силы, тогда как порядки и учреждения старого способа производства все больше теряют свое значение. Наконец, наступает момент, когда эти последние, как „излишние“ и „вредные“, исчезают или отменяются, а порядки, созданные развитием новых производительных сил, начинают казаться нормальными и общественно-необходимыми, и, следовательно, новый способ производства становится господствующим.

Таков ход общественного развития.

Какое же место занимает в этой схеме *техника?*

„Победоносные“ производительные силы, которые толкают к повышению производительности, оказывают, благодаря своему возрастающему значению для удовлетворения общественных потребностей, все более могучее влияние на класс, являющийся их представителем, и на членов общества вообще, так как все стороны общественной жизни все больше развиваются в их направлении. Поэтому вполне естественно, что производительные силы, прежде всего, создают и развивают соответствующую им технику, как самый могущественный рычаг их собственного дальнейшего развития; что оне, следовательно, в индивидуальном сознании выражаются, прежде всего, в тенденции *усовершенствовать орудия.* В этой связи между производительными силами и человеческой душой и следует искать действительный источник краузовского „стремления“. Итак, по Марксу, не какое-то основное свойство человеческой природы, а созданные определенными, об'ективными производительными силами экономические условия всегда создают адэкватную себе технику. Техника, которая служит самым сильным выражением создавших ее производительных сил, становится могущественнейшим причинным моментом при создании адэкватного им способа производства. А на основании нового способа производства

развиваются новые производительные силы, которые в своем поступательном движении снова создают адэкватную им технику.

Какую незначительную роль играет здесь устанавливаемое Краузом основное стремление человека к усовершенствованию орудий, мы видим из того, что под влиянием об'ективных производительных сил это мнимое основное свойство человеческой природы нередко совершенно исчезает у целых общественных слоев, как мы это можем, напр., наблюдать в современном мелком ремесле или в русском крестьянском хозяйстве, где орудия производства с проникновением капитализма ухудшаются.

Если мы далее спросим,—как это, например, делает профессор Штаммлер,—каковы те определенные, имманентные способу производства процессы, которые определяют его развитие в сторону повышения производительности, то мы должны будем указать на конкретное исследование конкретных процессов исторически-данных способов производства. Из различной конфигурации действительных историко-экономических условий мы получаем в конкретной форме различные процессы и различные их действия. Поэтому эти процессы необходимо исследовать в действительной человеческой истории в их различной форме и проявлениях. И в силу этого конкретного характера процессов, устанавливаемых путем действительного анализа каждого отдельного исторически-данного способа производства,—другими словами, в силу конкретного характера развития производительных сил, этот фактор мыслится, именно, строго-научно, позитивно, а не мифологически, как метафизическая сущность.

Таким образом ясно, что в своем теоретическом обосновании Крауз неправильно определил этот главный фактор истории, этот основной пункт теории, подменив его другим психологическим понятием.

Далее, у Крауза недостаточно выяснено понятие способа производства. То понимание, которого он, повидимому, придерживается, представляется мне ошибочным. Совершенно правильно его утверждение, что способ производства обусловливается развитием орудий производства и естественной средой, но он не дает нам ясного определения того, что собственно представляет собой способ производства. В качестве примеров различных способов производства он приводит охоту, скотоводство, рыбную ловлю, земледелие, „нашу современную крупно-машинную промышленность“. Но это, ведь, способы производства лишь в смысле толкового словаря, а не в смысле марксистской терминологии. Для марксовой концепции истории все перечисленные виды производства являются только техническими основами способа производства. Способ производства, обусловленный указанными Краузом моментами, устанавливается лишь наличностью определенных общественных производственных отношений между людьми. Так, на основе земледелия мы имеем аграрно-коммунистический, античный и

феодальный способы производства. Только *„совокупность* производственных отношений“ образует способ производства. В эту „совокупность“ прежде всего входят экономическо-общественные отношения людей, как они развертываются на основе определенного развития производительных сил.

Для определения последовательности в развитии идеологий Крауз устанавливает следующий трехчленный ряд: 1) хозяйство, 2) мораль и право, 3) наука, искусство, религия и философия. Каждый из этих этажей служит базисом для следующего за ним, и социальное приспособление „формы“ к „содержанию“ начинается с базиса и постепенно проходит через все этажи до самого верхнего. Так устанавливается „степень отдаленности от базиса“ и вместе с тем закономерность в развитии надстроек. Но совершенно неожиданно Крауз разрушает всю свою конструкцию, всю ее „закономерность“. Он заявляет, что „порядок, в котором различные категории отложились слой за слоем в последовательной зависимости друг от друга, может при известных условиях быть прямо-противоположным“. Далее он говорит, что различные члены ряда могут также переплетаться, что иногда социальное приспособление „формы“ к „содержанию“ может перескочить через тот или иной этаж.

Невольно является вопрос: существует ли закономерность в последовательности развития идеологий, или нет? Откуда берется этот неожиданный поворот в закономерности? Об этом мы у Крауза не находим ни единого слова. Он категорически устанавливает „закономерность“, он сам же ее уничтожает—и при этом оставляет нас в полной неизвестности о своих мотивах в том и другом случае.

Такого рода „закономерности“, вообще, не могут быть доказаны дедуктивным путем, а должны быть абстрагированы из действительной истории путем применения определенных эвристических принципов. Хотя фактический материал в *этом* направлении в деталях своих еще недостаточно исследован, все же на основании известного исторического опыта можно утверждать, что порядок изменения надстроек определяется историческим положением борющихся классов. Если какой-либо класс уже достиг власти и соответственно условиям своего существования преобразует общественную жизнь и если при этом те классы, над которыми он господствует, еще слабы,—тогда порядок развития, установленный Краузом, в общем правилен, но лишь „до известной степени“. В различные исторические периоды мы находим различное наслаивание идеологий.

Но в совершенно ином порядке происходит обыкновенно развитие идеологий в те исторические эпохи, которые наполнены энергичной борьбой класса, еще только стремящегося к господству,—в эпохи великой, сознательной классовой борьбы. Мировоззрение адекватное условиям жизни и развития борющегося за власть класса проникает

во все идеологические области, но вопрос о том, какая идеология займет в борьбе руководящее место, всегда решается относительной ролью прежде господствовавших идеологий и конкретными условиями исторической ситуации. В такие эпохи развитие более высоких идеологий как-раз предшествует коренному преобразованию правового строя.

Поэтому-то Краузу пришлось допустить, что члены его „ряда“ могут между собой переплетаться, что порядок их может быть прямо противоположным, но он при этом не указал ни одного момента, который об‘яснил бы этот замечательный каприз истории, отменяющий его „закон“. Я же полагаю, что, вообще, не существует твердо установленной, строгой, одинаковой для всех времен и народов, закономерности в порядке развития идеологий, как того хочет Крауз, что, вообще, не существует, употребляя выражение Маркса, такого „сверхисторического“ закона, которому история была бы подчинена.

По вопросу о происхождении социалистического идеала и о генетическом фундаменте коммунизма Крауз развивает явно ошибочные взгляды. Ему кажется непонятным, „как могли чувства справедливости и самопожертвования возникнуть в таком обществе, где все, на протяжении целых веков, противоречило этим чувствам“, и, следовательно, как может справедливый идеал коммунистического общества быть продуктом капиталистического строя. Возникновение революционного идеала, *предшествующего* экономическому развитию, Крауз считает фактом, и в об‘яснении его он видит основную проблему социализма.

Первый вопрос о возникновении справедливости и т. п. в капиталистическом обществе есть просто вопрос о генеалогии морали в классовом обществе. Нас завело бы это слишком далеко, если бы мы захотели ответить здесь на этот вопрос. Я хочу лишь обратить внимание Крауза на то, что как-раз общество, построенное на частной собственности, нуждается для своего существования и правильного функционирования в такого рода духовных скрепах, именно, вследствие антагонизмов, вытекающих из его экономической основы; что оно в этих целях использует общественные инстинкты, существующие в каждом обществе; наконец, что Крауз в своей статье сам обосновал необходимость существования морали и отметил процесс бессознательного подчинения мыслей и чувств людей определенным общественным влияниям. Но весь этот вопрос, которым Крауз пользуется как предпосылкой для дальнейшего вопроса о возникновении социализма, в сущности праздный. Ибо все эти чувства справедливости и т. д. существовали уже целые тысячелетия, когда о социализме еще, вообще, не могло быть речи.

Итак, как возник социалистический идеал в капиталистическом обществе?

Идеал этот представляется нам суб'ективным отражением в сознании и воле людей тех тенденций к обобществлению условий производства и жизни, которые, вытекая из общественного строя, основанного на свободной конкуренции, вступают с этим строем в конфликт. Если мы уяснили себе, каким образом в недрах общества, основанного на частной собственности, на экономической независимости индивидуума и на свободной конкуренции вырастают и неизбежно все в большей мере должны вырастать обобществление производства, коллективистская организация хозяйственных единиц, тенденция к устранению свободной конкуренции, — то нам также ясно, каким образом этот процесс со всеми его суб'ективными отражениями в человеке необходимо должен был создать социалистический идеал. „Каждая эпоха ставит себе те задачи, которые она в состоянии разрешить". Социалистический идеал в настоящее время является законченным, чистым образом синтеза всех общественных,—отчасти уже сильно развитых,—об'ективных и суб'ективных сил и тенденций, которые уже в настоящее время стремятся к этому синтетическому пункту. Он, следовательно, является суб'ективным коррелатом совершающегося экономического развития.

В качестве революционного идеала, т.-е. в качестве реальной цели класса, выражающего интересы развития производительных сил, социализм *не предшествует*, как думает Крауз, соответствующему экономическому развитию, т.-е. возникновению современного пролетариата. Он появляется *в процессе* и *в ходе* развития.

*После* соответствующего развития он не мог появиться потому, что характерная особенность человека в том и заключается, что *перед* выполнением дела он ставит себе соответствующие цели и задачи. Каким образом это возможно—это вопрос психологии, а не истории, которая берет человека из психологии, как планомерно действующее, умозаключающее существо.

Крауз, без сомнения, не поставил бы себе всех этих вопросов, если бы его не завел на этот ложный путь закон революционной ретроспекции, который он первый ясно формулировал. Я не считаю этот закон сам по себе неправильным. Но мне кажется ошибочным его применение к отысканию источника современного социализма. Крауз полагает, что первобытный коммунизм всегда жил как идеал в воспоминаниях людей, в их тоске, и что теперь он будто бы воскрес под влиянием соотвествующей обстановки. Если, таким образом, Крауз принимает эти воспоминания о первобытном коммунизме за факт сознания, то можно с полной уверенностью сказать, что этого факта никогда не существовало и не существует в сознании, как пролетариев, так и всех других, посвятивших свою жизнь соцализму. Вряд ли найдется десять человек, которые отметили бы в своем сознании этот „источник" социалистического идеала. Крауз во всяком случае

хочет сказать, что идеал первобытного коммунизма жил бессознательно в душе пролетариев прежде, чем он нашел себе сознательное выражение. Трудно бороться с утверждением, что данная форма возникла в области бессознательного. Ибо, в сущности, такое утверждение означает неумение об‘яснить данное явление. И если нам приходится сделать выбор между обычным марксистским об‘яснением, которое я вкратце изложил выше, и допущением бессознательного фактора, то нет сомнения, что разумный человек выберет первое.

Причина того, что в истории встречаются коммунистические тенденции и утопические концепции, заключается, на мой взгляд, не в каких-либо воспоминаниях об аграрном коммунизме, равным образом не в какой-то бессознательной тоске, ведущей свое происхождение от той эпохи, а совсем в другом обстоятельстве.

Существует всего две основных возможности для использования средств производства: на основе частной собственности, или на основе общей собственности. Какие бы различные формы ни вмещались в эти возможности,—третьей возможности того же порядка не существует. Поэтому, если частная собственность на средства производства оказывается проклятием для общества,—а это, главным образом, бывает при крупных переменах и потрясениях в хозяйственном строе,—то мысль, естественно, хватается за вторую возможность, которая со всех сторон встречает себе поддержку в человеческой душе. Прежде всего, процесс труда в обществе носит общественный характер, и, следовательно, частная собственность вступает с ним в противоречие. Далее, самые важные учреждения, как организация безопасности, средств сообщения и т. п., всегда находятся в общественном заведывании. Что же удивительного, если люди начинают смотреть на коллективное обладание средствами производства, как на лучшую, более плодотворную и справедливую общественную форму. Но все эти факты говорят лишь о том, что человек, как существо, живущее в обществе, имеет общественные чувства, которые иногда определяют его поведение. Иначе выражаясь, можно сказать, что социализм совместим с человеческой природой. Однако, эта психологическая истина не может подвинуть нас ни на один шаг в вопросе о возникновении современного революционного социализма. Ибо, несмотря на существование этой психологической основы, частная собственность на средства производства существует на протяжении тысячелетий и, в свою очередь, тоже может быть сведена к координированной психологической основе—к эгоистическим чувствам, которые также живут в человеке. Следовательно, направление, избираемое человеческой душой, лежит не в ее собственном свободном самоопределении, а вне ее—в развитии связанных с нею производительных сил. Если, поэтому, из такого рода психологических фактов реальной, общественно-данной человеческой природы нельзя вывести возникновение общественных идеалов и новых хозяйственных

порядков, то еще меньше их можно вывести из мнимо-существующего бессодержательного идеала давным-давно исчезнувшей экономической эпохи. Идеал этот не существует ни в чьем сознании, и уже, наверно, не в сознании пролетарских масс, которые его исповедуют, ибо в противном случае первобытный коммунизм не представлял бы для них ничего известного и им незачем было бы узнавать о нем впервые только из пропаганды. Напротив, они сами могли бы ознакомить с ним ученых исследователей. Вместо бессознательной тоски, в пролетариях живет стремление к необходимому гармоническому осуществлению требований жизни и производства на основе выше отмеченных общественных чувств,—и солидарность является для них прежде всего экономической необходимостью, на прочной основе которой в них расцветает этическое чувство.

---

## ПОЛЬ ЛАФАРГ.

# Исторический материализм Маркса.

### 1. „Критические" социалисты.

Более полувека тому назад Маркс выступил с новой исторической теорией, которая и легла в основу исторических исследований его и Энгельса. Но историки, социологи и философы проникнуты таким ужасом пред этим демоном коммунизма, который может их скомпрометировать и лишить буржуазной невинности, что они не хотят даже и слышать о его теории: они совершенно игнорируют ее. А многие социалисты, знакомые с ней, не осмеливаются принять ее из боязни, что она вышибет их из привычной колеи буржуазных воззрений, в которых они все еще продолжают коснеть. Вместо того, чтобы испробовать теорию Маркса на практике, они ведут бесконечные дискуссии о ее ценности самой по себе и при этом открывают в ней целый ряд недостатков: она недооценивает значения идеала,—говорят они,—она грубо третирует вечные истины и принципы, она не отводит должного места личности и ее деятельности, она приводит к экономическому фатализму, санкционирующему ничего-неделанье... и т. д. Но что сказали бы все эти „критики" о столяре, который вместо того, чтобы работать молотом, пилой и стругом, стал бы их критиковать? Он долго мог бы ругать их, так как совершенных орудий ведь нет. Такая бесплодная критика может превратиться в полезную только в том случае, когда она основывается на опыте, который лучше, чем все глубокомысленные доказательства, научает вскрывать несовершенства человеческих орудий и исправлять их. Первоначально человек пользовался грубо сделанным каменным молотом и только в процессе пользования этим несовершенным орудием так разработал и всесторонне развил тип молота, что в настоящее время мы встречаем в промышленности более ста различных видов его, отличающихся друг от друга качеством материала, весом и формой.

Идеологи всегда запутываются там, где рабочий человек никогда не потеряется. Левкипп и его ученик Демокрит еще за пятьсот лет до Р. X. ввели для определения структуры материи понятие атома, и вот философы, вместо того, чтобы опытным путем проверить правиль-

ность атомистической гипотезы, ведут более двух тысячелетий длиннейшие дисскуссии об атоме, вечном постоянстве материи, пустом пространстве, изменчивости вещей и т. п... и только в начале XIX столетия химики воспользовались идеей Демокрита для об'яснения структуры тел и газов. В их руках атом, к которому философы не знали, как и подступиться, стал „одним из могущественнейших средств исследования, изобретенных человеческим умом", как недавно заявил один известный ученый. Но в процессе применения это замечательное орудие оказалось все же, в конце-концов, несовершенным. Радиоактивность материи, проявляющаяся в форме „иксовых" и катодных лучей, заставляет физиков разложить атом,—эту мельчайшую, неделимую и непроницаемую частицу материи, на еще более мелкие частицы, однородные во всех атомах и заряженные электричеством. Так что самый маленький атом, атом водорода, состоит из тысячи таких частиц, которые с необычайной быстротой вращаются вокруг центрального ядра, точь-в-точь как земля и планеты вокруг солнца. Атом, таким образом, оказывается как бы солнечной системой в миниатюре. Нельзя привести более разительного примера бесплодности пустых дискуссий и плодотворности опыта. Только *дело* плодотворно, как в материальном, так и в интеллектуальном мире: „в начале было дело",— сказал Гёте.

Экономическое понимание истории есть то новое орудие, которое Маркс дал в руки социалистов и с помощью которого можно внести некоторый порядок в хаос исторических фактов, которых историки, социологи и философы не сумели ни классифицировать, ни об'яснить. Их классовые предрассудки и узость горизонта привели к тому, что монополией на это орудие в настоящее время владеют социалисты, которые, однако, прежде, чем пользоваться им, хотят убедиться, действительно ли оно отличается полным совершенством и дает ключ ко всем проблемам истории. Но они могут так всю свою жизнь вести об этом дискуссии, писать статьи, брошюры, даже целые книги, и все же не подвинутся в этом вопросе ни на один вершок. Люди науки не отличаются такой робостью и полагают, что „на практике не так важно, совершенны ли теории и гипотезы, лишь бы оне приводили нас к результатам, стоящим в соответствии с фактами" *). Физики могут в настоящее время признать, что гипотеза Демокрита ошибочна и недостаточна для об'яснения феномена материи, глубже исследованного за последнее время; но это нисколько не опровергает того факта, что атомистическая гипотеза создала современную химию. Маркс не изложил нам своей исторической теории в форме развертывающейся цепи аксиом, теорем и лемм: она для него—только орудие исследования; поэтому он формулирует ее кратко и сжато, чтобы затем испытать ее на практике. И критиковать ее можно, только оспаривая

*) В. Рюкер. Речь при открытии конгресса естествоиспытателей в Глазго, 1901 г.

результаты, которые она нам дает, напр., опровергая теорию классовой борьбы.

Это, однако, остерегаются делать. Историки и философы считают марксистскую теорию дьявольским орудием исследования, именно, потому, что она привела к открытию этого могущественного двигателя исторического процесса.

### 2. Идеалистическая философия истории.

История представляет собою такой хаос фактов, не поддающихся человеческому контролю, движущихся взад и вперед без заметных оснований, взаимно сталкивающихся, появляющихся и исчезающих,— что легко придти к выводу о полной невозможности классифицировать их и путем распределения по группам установить причины их эволюционного и революционого развития. Неудача, постигшая все попытки систематизировать историю, вызвала у многих мыслителей, как, напр., у Гельмгольца, сомнение „в самой возможности формулировать исторический закон, который получил бы подтверждение в действительности“.

Сомнение это в наше время так широко распространено, что современные мыслители не осмеливаются уже, по примеру философов первой половины XIX столетия, строить великие всеоб‘емлющие исторические системы; впрочем, на это влияет также и то обстоятельство, что современные законы не верят уже в возможность подчинить производительные силы контролю общества. Следует ли, однако, из трудности исторической проблемы и из неудач, постигших всех, кто пытался ее разрешить, вывести заключение, что разрешение ее, вообще, недоступно человеческому уму? Но тогда социальные явления составили бы исключение из всего мира явлений и оказались бы единственными, причины которых невозможно свести в одну логическую систему.

Здравый человеческий рассудок никогда не допускал такой невозможности,—напротив, во все времена люди верили, что все их радостные и горестные переживания входят, как часть в целое, в предустановленный каким-то высшим существом план. „*Человек предполагает, а бог располагает*“,—такова историческая аксиома народной мудрости, не менее верная, чем аксиомы геометрии:—все дело только в том, какое значение придавать слову „бог“.

Античные города имели каждый свое особое *городское божество*, которое охраняло благополучие города и жило в специально посвященном ему храме. Такого же рода божеством был и Iегова Ветхого Завета; израильтяне отвели ему в качестве жилища деревянный ящик, который и назвали ковчегом Завета и в котором перевозили его всякий раз, когда племя переселялось на новое место. Когда два города об‘являли друг другу войну, городские божества принимали участие в борьбе. Библия часто рассказывает о героических подвигах Iеговы,

так близко принимавшего к сердцу войны, которые вел его народ, что он истреблял у его врагов мужчин, женщин, детей и скот.

Римляне, столь же суеверные, сколь и хитрые политики, переносили статую городского божества покоренного города в Капитолий, чтобы оно перестало охранять тот народ, у которого оно уже больше не живет.

Христиане сохраняли те же языческие верования, когда для изгнания языческих богов разрушили их храмы, или когда они просили своего бога даровать им победу в их борьбе против бога языческого мира, против демонов, основателей ереси, и против аллаха, выступившего с полумесяцем против креста *).

Цивилизованные христианские народы все еще остаются верны этой языческой традиции, ибо, молясь все одному и тому же богу, каждый просит его уничтожить противника; они приписывают ему победу и благодарят его за нее. И эта вера в божественное вмешательство в человеческие войны вовсе не симулируется государственными людьми, чтобы удовлетворить грубому суеверию невежественной массы,—нет, они разделяют это суеверие. Так, напр., интимные письма, которые Бисмарк писал своей жене во время войны 1870/71 г., свидетельствуют о его вере в то, что бог только тем и занимается, что думает о нем, его сыне и прусском войске.

На этой вере Боссюэт построил план своей универсальной истории: языческие племена занимаются взаимным истреблением, чтобы подготовить пришествие Иисуса, а христианские народы истребляют друг друга, чтобы возвеличить блеск Франции и славу Людовика XIV. Историческое движение, руководимое Богом, привело к „королю-солнцу". Когда его не стало, мрак покрыл вселенную, и разразилась революция,—это порождение сатаны, как назвал ее Жозеф де-Местр.

Сатана торжествовал победу над Богом, над „родовым божеством" Бурбонов и аристократии. Буржуазия,—класс, мало почитавший Бога, захватила в свои руки власть и гильотинировала короля божьей милостью; проклятые им естественные науки праздновали победу и создали для граждан больше богатств, чем король и знать могли дать своим фаворитам; разум, скованный им по рукам и ногам, призвал его на свой суд,—настало царство Сатаны. Поэты-романтики воспели сатану; он стал великим мучеником и утешителем угнетенных; он символизировал буржуазию, восставшую против аристократии и ее бога. Однако, победительница не осмелилась признать его своим „родовым божеством"; она заделала повреждения, причиненные разумом старому

*) Первые христиане так же твердо верили в существование языческих богов и в их чудаса, как в Иисуса и его чудеса. Тертуллиан в своей „Апологетике" и св. Августин в „Граде Божьем" передают в качестве несомненных фактов, что Эскулап воскрешал мертвых, которых они называют даже по именам, что одна весталка принесла воду из Тибра в решете, а другая тащила на своем поясе целый корабль и т. д.

божеству, и восстановила его в его прежнем достоинстве. Но, потеряв веру в его всемогущество, она окружила его целым штабом полубогов: прогрессом, справедливостью, цивилизацией, гуманностью, свободой, отечеством и т. д., которые призваны охранять благоденствие народов, освободивши их от господства аристократии. Эти новые божества суть идеи, невесомые силы. Гегель сделал попытку свести этот политеизм идей к монотеизму,—идеи, которые так же, как христианский бог, являются копией Анаксагоровского „Nous", создавшего мир для своего развлечения.

Боссюэт и деисты, возведшие бога в ранг сознательного агента истории, приспособили только роль божества к общественному мнению; а свободомыслящие, приписывающие ему вышеуказанные идеи, применяют к истории только ходячее буржуазное воззрение. Каждый буржуа стремится представить дело в таком виде, что вся его частная и общественная деятельность диктуется прогрессом, справедливостью, гуманностью, отечеством и т. д. Чтобы убедиться в этом, стоит только просмотреть рекламы промышленников и купцов, проспекты финансистов, речи политиков.

Идеи прогресса и эволюции—новейшего происхождения: оне являются перенесением в историю человеческой *способности к совершенствованию*, вошедшей в моду в XVIII в. Буржуазия по необходимости должна была рассматривать произведенный ею захват власти как прогресс, аристократия же видела в этом регресс. И так как французская революция произошла сто лет спустя после английской и отношения там, следовательно, были более развитыми, то буржуазия так прочно уселась на месте аристократии, что с тех пор идея прогресса прочно осела в общественном мнении перешедших к буржуазному строю народов. Европейские буржуа стали смотреть на себя, как на уполномоченных представителей прогресса. Их привычки, нравы, частная и общественная мораль, их семейная и социальная организация, промышленность и торговля—были об'явлены прогрессом по сравнению со всем до сих пор существовавшим. В прошлом было только невежество, варварство, несправедливость, неразумие. Наконец,—восклицает Гегель,—в первый раз идея стала господствовать над миром!

Но одного исторического факта, хотя бы даже такого значительного, как захват власти буржуазией, самого по себе недостаточно, чтобы построить на нем теорию прогресса. Боссюэт сделал бога единственным двигателем истории; историки и свободомыслящие философы открыли, что в прошлом прогресс не вел себя как праздное божество. Нет, еще в средние века он подготовлял триумф буржуазии: он организовал и обогатил ее, дал ей интеллектуальную культуру и в то же время ослабил силы аристократии и камень за камнем разрушил крепость католицизма. За идеей прогресса, как ее необходимое следствие, в историю проникла идея эволюции.

Но для буржуазии эволюция существует лишь постольку, поскольку она привела ее к победе. И так как историки могут проследить органический рост буржуазии только на протяжении одного тысячелетия, то они теряют путеводную нить, как только пускаются в лабиринт предшествовавших исторических периодов: там они ограничиваются простым перечислением фактов, не пытаясь даже сгруппировать их в ряд прогрессивного развития. Так как целью прогрессивной эволюции является переход власти в руки буржуазии, то как только цель достигнута, победное шествие прогресса останавливается. Считая переход власти в свои руки единственно прогрессивным моментом в истории, буржуазия, действительно, убеждена, что переход этой власти в руки пролетариата означает социальный регресс, означает возврат к варварству. Так думала и побежденная аристократия. Инстинктивная и бессознательная вера буржуазных масс в остановку прогресса находит себе сознательное и придуманное отражение в трудах буржуазных мыслителей. Гегель и Конт—назову только двух самых известных—об'являют свои философские системы конечным пунктом ряда развития и венцом прогрессивной эволюции мысли. Так, политические и социальные учреждения и философские системы прогрессируют лишь до тех пор, пока не достигнут своей буржуазной формы, а затем прогресс приостанавливается.

Но буржуазия и ее самые образованные представители идут еще дальше в своем стремлении остановить непрерывный ход прогресса: они совершенно закрывают глаза на целый ряд социальных организмов, имеющих важное значение для выяснения действительного характера прогресса. Чтобы доказать, что индивидуальная форма собственности и патриархальная форма семьи не могут измениться, экономисты и этики утверждают, что формы эти существовали во все времена,—и это в то время, когда исследования, произведенные уже более полувека тому назад, ясно показали, что первобытные формы семьи и собственности носили коммунистический характер. Но они этого не знают или делают вид, что не знают.

В течение первых лет XIX столетия, когда буржуазия была еще опьянена своей политической победой и чудесным ростом своего экономического богатства, идеи прогресса и эволюции играли важную роль: философы, историки, романисты и поэты окунали свои произведения в соус непрерывно совершающегося прогресса, который был осмеян одним только—или почти одним только—Фурье. Но к средине этого столетия им пришлось умерить свой энтузиазм: появление пролетариата на политической арене в Англии и Франции вызвал в уме буржуазии некоторое беспокойство относительно вечности ее социального господства,—и прогресс потерял в ее глазах свою привлекательность. В конце-концов, идеи прогресса и эволюции вовсе перестали бы употребляться во фразеологии ее представителей, если бы их не переняли

люди науки. Еще в конце XVIII века эволюционная идея, широко распространенная в буржуазной среде, проникла в область науки, и вот теперь ученые воспользовались этой идеей для об'яснения происхождения вселенной и мира животных и растений. Благодаря им, она получила такое научное значение и такую популярность, что стало уже невозможно отделываться от нее пустыми словами.

Но одно констатирование факта прогрессивного развития буржуазии на протяжении определенного ряда веков так же мало об'ясняет это историческое движение, как мало кривая, описанная падающим камнем, об'ясняет причины его падения. Историки-философы уверяют, что причина этой эволюции лежит в непрерывном влиянии идей, особенно же самой мощной из них—идеи справедливости, которая, как выразился один официально признанный профессор философии, „неизменна и вездесуща, хотя она только постепенно проникает в человеческий дух и в социальную деятельность". Таким образом, буржуазное общество и буржуазная мысль представляют конечные и высшие проявления справедливости, и именно для того, чтобы подняться на такую вершину, почтенная дама — Справедливость—работала так долго в подземельях истории.

Присмотримся же ближе к деятельности этой дамы, чтобы получить некоторое представление об ее характере и нравах.

Господствующий класс об'являет справедливым все то, что служит его экономическим и политическим интересам, а несправедливым—все, что им противоречит. Справедливости, как он ее понимает, приятно, когда удовлетворяются его классовые интересы. Справедливость идет, таким образом, на поводу у классовых интересов буржуазии, которая с бессознательной иронией представляет себе справедливость с повязкой на глазах,—без сомнения, чтобы помешать ей видеть, какие жалкие, низкие интересы она собою прикрывает.

Итак, феодальная и цеховая организация, преграждавшая буржуазии путь к политической власти и тормозившая ее развитие, была несправедлива. И поэтому она была разрушена имманентной справедливостью истории, ибо,—говорят моралисты,—справедливость не могла, сложа руки, смотреть на хищения баронов, которые знали одно только это средство для округления своих владений и для наполнения своих денежных мешков. Но та же почтенная имманентная справедливость защищает своим броненосным кулаком те хищения, которые мирные буржуа совершают в варварских странах Азии, Африки и Океании, не рискуя даже при этом своей собственной шкурой. Впрочем, добродетельной даме не особенно нравится этот род хищений; во имя права она одобряет только экономическую кражу,—ту кражу, которую буржуазия изо дня в день, без всякого насилия, практикует по отношению к наемному труду, и только ее она украшает всеми законными привилегиями. Экономическая кража до того соответствует темпераменту и

рактеру этой дамы, что она с готовностью принимает на себя обязанность сторожевой собаки при капиталистическом богатстве, которое, ведь, составляется из целого ряда столь же законных, сколь и справедливых краж.

Буржуазия, умеющая все устраивать себе на пользу, украшает свой социальный строй громким именем „цивилизация", а свойственный ей способ обращения с живыми существами—не менее громким именем „гуманность". Свои колониальные экспедиции она предпринимает лишь для того, чтобы просветить варварские народы духом цивилизации и улучшить жалкие условия их существования. И эта ее цивилизация и гуманность проявляются в форме отравления алкоголем, принудительного труда, ограбления и истребления туземцев. Но не следует думать, что она оказывает предпочтение варварам,—нет, она осыпает благодеяниями своей цивилизации и гуманности также и рабочий класс в своей собственной стране. Мерой ее цивилизации и гуманности может служить та масса мужчин, женщин и детей, которые, не имея никакой собственности, осуждены на каторжный труд днем и ночью, пока они не выброшены еще на улицу, и которые сотнями и тысячами падают жертвой алкоголизма, туберкулеза и рахита; мерою может также служить рост преступности, рост числа домов для умалишенных, развитие и усовершенствование пенитенциарной системы.

Никогда ни один господствующий класс не претендовал так сильно на приверженность к идеалам, ибо ни один господствующий класс в такой мере не нуждался в том, чтобы прикрывать свои поступки идеалистической болтовней. Это идеологическое шарлатанство является в руках буржуазии самым верным и действительным средством для сохранения ее политического и экономического господства. И, однако, это зияющее противоречие между словом и делом, которое может отрицать только слепой, не мешает историкам и философам считать идеи и принципы единственными двигателями истории живущих в буржуазном строе народов. Такое монументальное заблуждение историков и философов,—вполне искреннее, хотя оно и выходит за пределы дозволенного в интеллектуальном отношении,—служит неоспоримым доказательством громадного влияния идей и принципов и вместе с тем доказательством плутовства буржуазии, которая сумела так их культивировать и эксплоатировать, что они приносят ей солидный барыш.

Финансисты наполняют свои проспекты патриотическими принципами, цивилизаторскими идеями, гуманными чувствами и обещаниями премии в 6—10% для отцов семейств. Это—верная приманка для выуживания денег у простаков. Лессепсу удалось осуществить грандиозную панаму XIX-го века и присвоить себе сбережения более 800.000 бедняков только благодаря тому, что этот „великий француз" обещал

увенчать новою славой Францию, обещал распространить человеческую цивилизацю, обогатить своих современников и т. д. Идеи и принципы представляют настолько верную приманку, что без них не обходится ни одна политическая программа, ни одна финансовая, промышленная, коммерческая реклама, ни одно об'явление о спиртном напитке или аптекарском товаре. Политическое предательство и экономический обман развертывают знамя идей и принципов.

Буржуазная философия истории могла стать только бесвкусным и неудобоваримым педантизмом, ибо буржуазные мыслители не были в состоянии вскрыть шарлатанский характер буржуазной идеологии и понять, что принципы являются для буржуазии только вывеской, за которой она скрывает свои дела. Но их жалкие неудачи отнюдь не доказывают еще, что, вообще, невозможно открыть причины эволюции человеческого общества: открыли, ведь, химики законы группировки атомов в сложных телах.

„Социальный мир,—говорит Вико, отец философии истории,—несомненно, является делом рук человека, из чего следует, что лежащие в основе его принципы можно и даже должно отыскать в изменениях человеческого ума... Поняв это, перестанут удивляться, что философы делали серьезные попытки познать мир природы, который, ведь, создан Богом и познание которого он сохранил только для себя,—и, напротив, не обращались к исследованию социального мира, познание которого доступно человеку, так как человек сам его создал“ *).

Неудачи историков и философов учат нас, что для успешного познания социального мпра необходимо пользоваться другими методами, чем они.

### 3. Исторические законы Вико.

Вико, которого историки, социологи и философы почти не читают, хотя они и наталкиваются в старинных книгах на его „Corsi e Riorsi“ и еще на 2—3 его сочинения, которые так же неверно цитируются, как неверно они изложены,—Вико формулировал в своей „Scienza nuova“ основные законы истории.

Вико выставляет в качестве основного закона эволюции человеческого общества то положение, что все народы, независимо от их этнологического происхождения и географического местожительства, проходят одинаковый исторический путь, так что история данного народа является повторением истории другого народа, достигшего более высокой ступени развития.

Он говорит: „Существует идеальная вечная история, которую проходят истории всех народов, от некоторого состояния дикости, варварства и кровожадности до той ступени, на которой люди начи-

*) Джиамбатиста Вико: „Principi di Scienza nuova“.

нают цивилизоваться“, т.-е. становиться оседлыми, ad addimesticarsi, как выражается Вико (Lib. II, § II, V) *).

Морган, которому Вико, повидимому, вовсе не был известен, принял тот же закон, но в более позитивной и совершенной формулировке. Историческую однородность различных народов, которую неаполитанский философ выводил из того положения, что все народы развиваются по одному предустановленному плану, американский антрополог свел к двум причинам: к духовному сходству людей и к одинаковости препятствий, которые им приходилось преодолевать в своем развитии.— Вико тоже верил в духовное сходство людей.

„В человеческой природе должен быть заложен духовный, общий для всех народов, язык, который единообразно обозначает сущность вещей, играющих деятельную роль в жизни, и для различных отношений вещей он содержит столько же соответствующих выражений. Существование этого языка проявляется в пословицах, в этих жизненных правилах народной мудрости, которые у всех древних и новых народов имеют одинаковое содержание, хотя и выраженное различными способами“ (Degli Elem. XXII) **).

Морган говорит: „Так как человеческий ум у всех индивидов, у всех племен и народов один и тот же, и способности его одинаково ограничены, то он проявляется неизбежным образом в одинаковых формах лишь с незначительными отклонениями. Успехи, которых он достигает в самых отдаленных странах и в самые отдаленные эпохи, образуют звенья одной непрерывной логической цепи взаимносогласующихся результатов опыта“ (II, с. IX). „Подобно постепенным геологическим образованиям, и человеческие племена можно рассматривать в

*) Во времена Вико в итальянском языке, по всей вероятности, еще не существовало глагола: „civilizzare“; во французском языке его впервые стали употреблять в XVIII в. для обозначения прогрессивного движения вверх. Это значение настолько недавнего происхождения, что французская академия приводит в своем словаре слово „civilisation“ впервые в издании 1835 г.—Фурье употреблял его только для обозначения современного буржуазного периода.

**) Аристотель уделял много внимания пословицам; многие древние писатели говорят о составленной им коллекции пословиц, которая, однако, затерялась. О том же упоминает Синезий: „Аристотель,— говорит он,—видит в пословицах остатки философских воззрений прежних эпох. В то время, как сами эти воззрения погибли во время революций, которые людям пришлось пережить, эти остатки сохранились, благодаря своей сжатой и меткой форме. Поэтому пословицы и выраженные в них мысли имеют то же важное значение, что и древнейшая философия, которая оставила их нам и благородную печать которой оне носят, ибо в древние времена истину постигали гораздо глубже, чем в настоящее время“. Как свидетельствует Синезий, в древности господствовало мнение, что человек не прогрессирует, а вырождается. Это воззрение, которое мы встречаем и в греческой мифологии и которое не раз повторяется в „Илиаде“, разделялось также египетскими жрецами, делившими, по словам Геродота, прошедшее время на три эпохи: богов, героев и людей.

С тех пор, как человек вышел из эпохи родового коммунизма, он стал думать, что вырождается, что счастье, земной рай, золотой век лежат в прошлом. Мысль о прогрессе и „способности человека к совершенствованию“ возникла в XVIII в, когда буржуазия приближалась к власти; но, подобно христианству, полное осуществление счастья она приурочивала к небу. Утопический социализм свел счастье обратно на землю. „Рай лежит не за нами, а впереди нас“,—говорит С.-Симон.

их развитии, как ряд отложившихся пластов. Группируя их таким образом, мы ясно видим ход человеческой эволюции от дикого состояния к цивилизации“ (IV, с. I); „ибо ход человеческого развития совершался повсюду почти в одинаковой форме“ (III, с. V) *). Маркс, изучивший ход экономической эволюции, подтверждает мысль Моргана: „Более развитая в промышленном отношении страна,—говорит он в предисловии к „Капиталу“,—показывает стране менее развитой картину ее собственного будущего“.

Таким образом, „идеальная история“, которую, по мнению Вико, должны проделать все без исключения народы, представляет собою не предустановленный каким-то высшим существом божественный план, а чисто человеческий план исторического прогресса, и этот план может быть познан историком, который изучает этапы, пройденные различными народами, сравнивает их между собой и классифицирует их по относительной высоте достигнутого ими развития.

Исследования, которые вот уже полвека непрерывно производятся над дикими племенами, над античными и современными народами, неопровержимо доказали правильность закона Вико. Они показали, что все люди, независимо от их географического и этнологического происхождения, должны были пройти в своем развитии через одинаковые формы семьи, собственности и производства, через одинаковые социальные и политические учреждения. Датские антропологи первые констатировали этот факт и разделили доисторический период на три эпохи, назвав их по материалу, из которого изготовлялись первые орудия,—каменным, бронзовым и железным веками. Истории народов,—безразлично, принадлежат ли они к белой, черной, желтой или красной расе, живут ли они на экваторе или на полюсе,—отличаются одна от другой только тем, что Вико называл „стадией идеальной истории“, или что Морган назвал высотой „исторически отложившегося пласта“, так что,—сохраняя образ Маркса,—можно сказать, что народы, стоящие на более высокой ступени развития, показывают ниже стоящим народам картину их собственного будущего.

И духовная деятельность людей подчиняется законам Вико. Филологи и грамматики нашли, что и образование слов и языков совершалось по тем же законам; этнологи отыскали у различных диких и цивилизованных народов одне и те же сказки, подобно тому, как Вико отыскал у них одне и те же пословицы. Многие этнологи полагают, что эти одинаковые сказки и саги выработаны не отдельно каждым народом, сохраняющим их до сих пор путем устной передачи, а созданы в одном общем центре, откуда и распространились по всей земле. Но это мнение несостоятельно, так как оно противоречит всем наблюдениям над другими, как духовными, так и социальными и материальными продуктами человеческого творчества.

*) Lewis H. Morgan: „Ancient Society“, 1878 г.

История развития идеи души и других возникших из нее идей служит лучшим примером замечательного однообразия в развитии человеческого духа. Идею души можно найти у всех, даже самых диких народов. Чтобы освободиться от души умершего, преследовавшей ум суеверного человека, считали необходимым найти для нее после разложения трупа новое жилище, где она могла бы продолжать свою земную жизнь в таких совершенных и счастливых условиях, что у нее не являлось бы никакого желания вернуться к людям, чтобы мучить их. Достигнув очень сильного развития у диких варварских племен, идея души на более высокой ступени развития стала играть менее значительную роль, создав из себя идею Бога, „Великого Духа“, чтобы на следующей стадии эволюции снова окрепнуть и получить господствующее значение. Пользуясь всеобщим признанием в героическую эпоху, идея души, как свидетельствуют историки, отсутствует у исторических народов, живших вокруг Средиземного моря; за несколько веков до христианской эры она снова появляется и с тех пор продолжает владеть умами до настоящего времени. Историки ограничиваются простым констатированием этого замечательного факта, не пытаясь даже найти ему об‘яснение, которого они, впрочем, и не могли бы отыскать в области своих исследований. Ибо, только применяя исторический метод Маркса, только исследуя изменения, совершающиеся в экономической среде, можно вообще надеяться найти такое об‘яснение. Точно также и ученые, занимавшиеся исследованием первобытных форм семьи, собственности и политических учреждений, не были в состоянии открыть причины их изменений; они дают нам только описательную историю, а, ведь, наука о социальном мире должна не только описывать, но и об‘яснять.

* * *

Вико считает человека, и притом не его добродетели, а его пороки, бессознательной движущей силой исторического развития. Не бескорыстие, великодушие и гуманность, а, напротив, „кровожадность, корыстолюбие и честолюбие,—эти три порока, владеющих человеческим родом, создали армии, торговлю и политические учреждения *(сословия)* и, как дальнейшее следствие,—мужество, богатство и мудрость народов. Таким образом,—эти три порока, которые могли бы вовсе истребить человеческий род, приводят к счастью граждан“. „Не хорошая сторона вещей и учреждений создает движение, а их дурная сторона“,—говорит Маркс.

Этот результат, который Вико особенно подчеркивает, служит в его глазах доказательством „существования божественного провидения, божественного существа, которое с помощью человеческих страстей организует общественный порядок, позволяющий нам жить в человеческом обществе, тогда как в противном случае люди, разделенные своими

частными интересами, жили бы в одиночестве, как звери" (Degli Elem. VII).

Божественное существо, направляющее человеческие страсти,— это новое издание популярного положения: „человек предполагает, а бог располагает". Но кто это божественное существо, кто этот бог, ведущий человека, против его воли, к конечным целям истории?

Народная мудрость и Вико сходятся в том, что человек является движущей силой исторического развития. Но человеческие страсти и потребности не представляют собою неизменных величин, что, впрочем, признает и Вико; в ходе развития оне постоянно претерпевают значительные изменения. Так, например, материнская любовь,—это полученное от животных наследие, без которого человек в диком состоянии не мог бы продолжать своего рода,—материнская любовь в наше цивилизованное время так ослабела, что у матерей из богатых классов она готова совершенно исчезнуть. Эти женщины освобождают себя от забот о ребенке с самого дня его рождения, отдавая его на попечение наемников. А другие так мало чувствуют потребность в материнстве, что дают обет девственности *) (отцовская любовь и половая ревность, которые совершенно не могут существовать у диких и варварских племен,—где господствует полиандрия, где мужу приходится делить благосклонность жены с другими мужчинами и где он, следовательно, не может знать, является ли он отцом ребенка,—напротив, более развиты у цивилизованных народов). У дикарей и варворов, живущих в коммунистическом строе, чувство равенства так сильно развито, что отдельному члену общества не дозволяется обладать даже ничтожнейшим имуществом, которое не принадлежало бы в то время остальным членам общества; и, однако, с тех пор, как у людей господствует частная собственность, бедняки и наемные рабочие принимают свое низшее положение со смирением, как непреложную судьбу.

Мы видим, таким образом, что в ходе развития самые глубокие страсти изменяются, ослабляются и исчезают, в то время, как другие возникают и усиливаются. Не должны ли мы в таком случае искать причины их возникновения и развития в самом человеке? Но это значило бы допустить, что, живя в природе и обществе, он, однако, не подвергается влияниям со стороны окружающей его действительности. Такое допущение не может возникнуть в голове даже самого фантастического идеалиста, ибо и он не осмелился бы утверждать, что несчастная, зарабатывающая себе хлеб проституцией, и нравственная мать семьи обладают одинаковым чувством стыдливости, что кабинетный ученый и банковский чиновник умеют одинаково быстро считать, что землекоп и профессиональный пианист обладают одинаковой лов-

*) У пчел можно наблюдать такое полное исчезновение материнской любви: царица, мать всего рода, умертвила бы своих дочерей, если бы бесполые работницы не спасли их от материнской ярости и не дали бы им возможности, путем соответствующего питания, развить свою половую систему.

костью пальцев. Таким образом, неоспоримо, что среда, в которой живет человек, оказывает на него, помимо его сознания, глубокое влияние в психическом, умственном и моральном отношениях.

## 4. Естественная и искусственная среда.

Среда оказывает не только прямое влияние на функционирующий орган, напр., в случае с пианистом и землекопом—на руку, но и косвенное влияние на все остальные органы. Это влияние на весь организм привело естествоиспытателей к признанию теории Жоффруа Сент-Илера, которую он назвал *„субординацией органов“* и которую Кювье изложил следующим образом: „Каждое органическое существо образует единую замкнутую систему, совокупность частей, друг другу соответствующих и путем взаимодействия стремящихся к одному и тому же конечному результату. Ни одна из этих частей не может измениться, не вызывая изменений также в других частях“ (Речь о переворотах на земной поверхности). Так, напр., форма зубов какого-нибудь животного, привыкавшего в течение многих поколений к новому роду пищи, не может измениться, не вызывая целого ряда других изменений: в челюстях, в мускулах, которые приводят их в движение, в черепной кости, к которой прикреплены мускулы, в мозгу, заключенном в черепе *), в костях и мускулах, поддерживающих голову, в форме и длине кишек,—одним словом, во всех частях его тела. Дарвин утверждает, что скелет некоторых видов шотландской коровы подвергся различным изменениям исключительно в силу привычки пастись на крутых склонах. Естествоиспытатели единодушно признали, что тюлени, киты и т. д. первоначально были земными млекопитающими, но, найдя в море более благоприятные условия питания, поселились в воде. Этот новый образ жизни изменил, следовательно, коренным образом их органы, сведя излишние до положения рудиментарных остатков и, напротив, развив другие и приспособив их к требованиям новой водной стихии. Растения Сахары и других пустынь должны были, чтобы приспособиться к иссохшей среде, ограничить свой рост и свести число своих листьев к двум или четырем; процесс их роста совершается не так, как в нормальных условиях: летом, в период жаров, они приостанавливаются в росте, а растут зимой, в относительно прохладное и влажное время года.

Космическая или *естественная* среда, в которой растения и животные должны приспособиться под страхом смерти, тоже образует, подобно органическим существам, сложную систему без точных границ,

*) Анатомы полагают, что у плотоядных сильное развитие височных мускулов, вследствие оказываемого ими давления на черепную крышку, мешает развитию мозга, так что он относительно мал по сравнению с мозгом тех животных, которые, подобно человеку, имеют малоразвитой жевательный аппарат и слабые височные мускулы. В каком-нибудь отдельном случае возможно, вероятно, путем искусственного ослабления этих мускулов изменить внутреннее строение черепа и увеличить об‘ем мозга.

составными частями которой являются: геологическая формация почвы, ее химический состав, отдаленность места от экватора, высота его над морем, орошающая его водная система, количество атмосферных осадков и солнечной теплоты и, наконец, населяющий его мир животных и растений. Все эти части так тесно переплетаются, что ни одна из них не может измениться, не вызывая изменений также и в остальных. И если изменения в естественной среде не так значительны, как у органических существ, то они все же заметны. Леса, например, оказывают влияние на температуру, на количество атмосферных осадков, на влажность почвы. Дарвин показал, что такие ничтожные животныя, как черви, оказывали существенное влияние на образование почвы; Бертело и немецкие агрономы Гельригель и Вильфарт доказали, что микробы, паразитирующие на корнях легуминоз, делают почву более плодородной. Разводя растения и скот, человек оказывает заметное влияние на естественную среду. Вырубание лесов, начавшееся еще во времена римлян, превратило плодородные местности Азии и Африки в необитаемые пустыни. Растения, животные и люди, подвергаясь в диком состоянии исключительному влиянию среды и не имея иных средств защиты, кроме способности своих органов к приспособлению, должны, в конце-концов, если они в течение целого ряда поколений живут в различной среде, подвергнуться дифференциации, хотя бы они имели одно общее происхождение. Разнородная среда разделяет растения и животных, а также людей на различные расы.

Человек не только изменяет естественную среду, но и создает совершенно новую, *искусственную* или *социальную* среду, которая ограждает его организм от вредных влияний естественной среды или, по крайней мере, значительно их ослабляет. Но эта искусственная среда, в свою очередь, оказывает, подобно естественной среде, влияние на человека, который, таким образом, подвергается действию двоякого рода среды. Различные виды созданной людьми искусственной среды имеют между собою большое сходство, так что люди одновременно подвергаются дифференцирующему влиянию разнородной естественной среды, в которой они живут, и влиянию однородной искусственной среды, которая ведет к уменьшению рассовых различий, порождая одинаковые потребности, одинаковые страсти и одинаковую культуру. В том же направлении действует одинаковость широты и высоты данных местностей и связанная с нею одинаковость флоры и фауны.

Так, искусственная среда стремится об'единить человеческий род, разделенный на расы естественной средой.

Эволюция естественной среды совершается необычайно медленно. Поэтому те виды растений и животных, которые к ней приспособились, оказываются неподвижными.

В искусственной среде, напротив, эволюция совершается со все возрастающей быстротой; именно, поэтому человеческая история, по сравнению с историей животных и растений, носить характер необычайной подвижности и изменчивости.

Искусственная среда совершенно так же, как органическое существо и естественная среда, образует сложную систему, все части которой находятся в таком соответствии и так тесно между собой связаны, что ни одной из них нельзя тронуть, не приведя в сотрясение всех остальных.

У диких народов искусственная среда состоит из весьма немногих частей и отличается крайней простотой, но по мере того, как человек прогрессирует, присоединяя к ней новые составные части или дальше развивая уже существующие, она становится все более сложной. Начиная с исторического периода, искусственную среду составляют—способ производства, социальные, политические и правовые отношения, привычки, нравы и моральные воззрения, общественное мнение и здравый человеческий рассудок, религия, литература, искусство, философия и т. д. и, наконец, сами люди, живущие в обществе. Если бы все эти связанные между собой части были устойчивы и неподвижны или изменялись бы лишь очень медленно, подобно частям естественной среды, тогда искусственная среда, оставаясь всегда в равновесии, не имела бы вовсе истории. Но, в действительности, ее равновесие отличается весьма неустойчивым характером и непрерывно нарушается вследствие изменений, происходящих в одной из частей системы и вызывающих соответствующие реакции в остальных ее частях.

Части органического существа и естественной среды оказывают друг на друга прямое, так сказать, механическое воздействие. Когда, напр., слой плодородной почвы в каком-нибудь месте увеличился, благодаря дождевым червям или по какой-либо другой причине, то на нем, вместо худосочных растений, сможет вырости целый лес, который в свою очередь повлияет на количество атмосферных осадков, благодаря чему водная система в данном месте расширится, благодаря чему... и т. д. Но части искусственной среды могут воздействовать друг на друга только при посредстве человека. Подвергшаяся изменению часть должна прежде всего преобразовать людей в духовном и физическом отношениях, должна побудить их так изменить другие части, чтобы оне достигли того же уровня развития, что и она, ибо только тогда оне не будут задерживать ее дальнейшего развития, находясь с ней в полном соответствии. Нарушенное равновесие между отдельными составными частями искусственной среды нередко может быть восстановлено только путем борьбы между той группой людей, которая заинтересована в данном частичном преобразовании, и всеми остальными членами общества.

Для иллюстрации этой роли человека в процессе изменения составных частей искусственной среды достаточно провести несколько исторических фактов из совсем недавнего прошлого.

Когда промышленность стала пользоваться динамической силой пара, ей понадобились новые транспортные средства для перевозки топлива, сырья и фабрикатов. И вот она внушила заинтересованным промышленным кругам мысль об устройстве вагона на железных рельсах, приводимого в движение силою пара, и эта мысль была во Франции практически осуществлена впервые около 1830 года. Но когда захотели придать этому опыту более широкое применение, то пришлось натолкнуться со всех сторон на весьма сильное сопротивление,— и только по прошествии многих лет новый способ передвижения получил всеобщее признание. Характерно, что также Тьер, этот политический вождь цензовой буржуазии и представитель здравого человеческого рассудка, сильно сопротивлялся введению нового способа передвижения, доказывая невозможность функционирования железных дорог. Но последние опрокинули все разумные доводы и, на-ряду со многими другими невозможными вещами, потребовали преобразования тех отношений собственности, которые служили базисом для социального здания господствовавшей тогда буржуазии. В самом деле, до того времени буржуа занимался промышенностью и торговлей только на свои собственные деньги, в крайнем случае прибегая к помощи немногих друзей и знакомых, которые верили в его честность и удачу. Он распоряжался деньгами и был действительным собственником фабрики или торгового дома. Но железные дороги потребовали таких чудовищных капиталов, что было немыслимо найти их в руках нескольких лиц. И вот тысячи граждан стали доверять свои кровные денежки, которых они никогда не выпускали из рук, таким людям, имен которых они почти не знали, о честности и способностях которых они не имели даже понятия. А раз деньги были отданы, они теряли над ними всякий контроль, не имея даже права собственности на вокзалы, вагоны, локомотивы и т. д., изготовленные на эти деньги. Они получили только право на чистую прибыль, вместо предмета, имеющего об'ем, вес и другие субстанциальные свойства; им взамен денег выдают простой лист бумаги, представляющий фикцию бесконечно маленькой и невесомой частицы действительной собственности. На всем протяжении буржуазного строя собственность никогда не облекалась в такую матафизическую форму. Форма эта, экспроприировавшая собственность (или — „обезличившая“ ее), стояла в таком резком противоречии с прежней формой, которая была привычна буржуазии в течение целого ряда поколений, что в защиту ее выступили только люди, обвиняемые во всяческих преступлениях, известные своим стремлением к ниспровержению существующего общественного строя; только социалисты Фурье и С.-Симон первые оценили процесс

моблизации собственности, благодаря бумажным акциям *). В рядах их учеников мы встречаем промышленников, инженеров, финансистов, участвовавших в революции 1848 г. и помогавших Наполеону совершать государственный переворот. Политическими революциями они пользовались для преобразования экономического мира путем централизации банкового дела, путем легализации новой формы собственности и создания сети французских железных дорог.

Крупное механическое производство, которому приходится из далеких стран добывать себе топливо и сырье и по всему свету рассылать свои фабрикаты, не может допустить раздробления страны на ряд независимых маленьких государств, каждое с особой системой пошлин, законов, мер и весов, монеты, банков и т. д.; крупное производство нуждается для своего развития в существовании об'единенных государств. Италия и Германия выполнили эти требования крупной промышленности только после кровопролитных войн. Тьер и Прудон, у которых так много общих точек соприкосновения, так как они оба выражали интересы мелкой буржуазии,—Тьер и Прудон тоже принадлежали к горячим защитникам независимости государств итальянских князей и папы.

Так как человек создает и изменяет части искусственной среды, то, очевидно, движущей силой истории является именно он, как думают Вико и народная мудрость, а не метафизические существа (справедливость, прогресс, гуманность, отечество и т. д.), как упрямо твердят историки и философы. Эти ложные и полные противоречий представления варьируют от одной исторической эпохи к другой, от одной общественной группы к другой, ибо они служат идейным отражением тех явлений, которые совершаются в различных частях искусственной среды. Так, напр., чиновник, работодатель и рабочий имеют каждый иное представление о справедливости. Социалист понимает под справедливостью—возврат богатств, украденных у рабочих, а капиталист—

*) Фурье в своем „Traitè de l'unite universelle“ подробно перечисляет выгоды, которые данная форма собственности представляет для капиталиста: „Она не подвергается опасности быть украденной или пострадать от огня или даже от землетрясения... Несовершеннолетний никогда не рискует, что его интересы пострадают от плохого управления его имуществом, так как для него управление такое же, как и для всех акционеров... Капиталист, даже если он владеет сотней миллионов, в любой момент может реализовать свое состояние“ и т. д. Она обеспечивает социальный мир, „ибо революционные стремления переходят в любовь к существующему строю, как только человек становится собственником“, а с другой стороны, „бедняк, владеющий даже одним только талером, может получить свою часть в народных акциях, которые разделены на самые маленькие доли. и таким образом может, правда, в бесконечно малом масштабе стать совладельцем всей страны и с полным правом говорить о *наших* дворцах, *наших* магазинах, *наших* драгоценностях“. Наполеон III и его соучастники в государственном перевороте очень сочувствовали этим идеям; они облегчили самым мелким собственникам приобретение государственной ренты, которая была до того монополией одних только богачей; они *демократизировали* государственную ренту, как выразился один из них, дав права покупать ренту на 5 и даже на 1 франк. Этим они думали заинтересовать массы в устойчивости государственного кредита и предупредить политические революции.

сохранение всего того, что награблено у наемного труда, и так как экономическая и политическая власть находится в руках капиталиста, то его представление о справедливости является господствующим и имеет силу закона. Пользуясь тем, что одно и то же слово прикрывает различные представления о справедливости, буржуазия сделала из этой идеи орудие своего господства и обмана.

Та часть социальной среды, в которой протекает деятельность человека, дает ему физическое, интеллектуальное и моральное воспитание. Это воспитание, даваемое обстановкой, которая порождает в его уме определенные идеи и приводит в движение его страсти, носит бессознательный характер; свои действия человек приписывает свободному импульсу своих страстей и мыслей, тогда как в действительности он только поддается влияниям, оказываемым на него частью искусственной среды, которая может воздействовать на другие свои части лишь при посредстве его идей и страстей.

Повинуясь бессознательно косвенному влиянию среды, человек приписывает руководство своими поступками богу или божественному существу.

Какова же наименее неподвижная часть искусственной среды, та часть, которая чаще всего изменяется количественно и качественно и относительно которой легче всего допустить, что она изменяет человека физически, умственно и нравственно?

Маркс отвечает: способ производства.

Под этим Маркс понимает не то, *что* человек производит, а то, *как* он производит. Ткачеством занимались еще в доисторический период, но лишь около ста лет тому назад стали ткать при помощи машин. Машинное производство составляет отличительную черту современной промышленности. Мы имеем чрезвычайно наглядный пример его непреодолимой стихийной силы, способной преобразовать социальные, экономические, политические и правовые условия жизни народа; введение машинного производства превратило Японию на протяжении одного поколения из средневекового феодального государства в конституционно-капиталистическое.

Такое могучее влияние способ производства приобретает благодаря различным причинам. Производство привлекает к себе прямо или косвенно энергию огромного большинства народа, и только незначительное меньшинство проявляет свою деятельность в других частях искусственной среды. Но и это меньшинство, чтобы добыть себе средства к материальному и интеллектуальному существованию, вынуждено интересоваться производством. В результате все люди испытывают влияние способа производства на их духовную и физическую жизнь, и лишь самое значительное число людей подчиняется влиянию других частей среды. Но так как отдельные составные части искусственной среды воздействуют при посредстве человека друг на друга,

то та часть, которая наиболее способна привести в колебание всю систему, будет оказывать влияние на большинство людей.

В искусственной среде дикаря способ производства играет сравнительно второстепенную роль, но значение его у цивилизованных народов все возрастает по мере того, как человек все больше познает и подчиняет себе силы природы. Этот процесс подчинения природы начался еще в до-исторический период с переходом от каменных орудий к бронзовым и железным.

Способ производства играет такую выдающуюся роль не только потому, что в производство вовлечена огромная масса людей, но еще и потому, что в него вовлечены „три фурии частного интереса“ (Маркс), три великих порока, которые Вико считал пружинами истории—жестокосердие, корыстолюбие и честолюбие.

Способ производства так быстро прогрессирует, что участвующие в производстве люди вынуждены постоянно преобразовать другие части среды, чтобы удержать их на уровне развития способа производства. Сопротивление, на которое они при этом наталкиваются, непрерывно создает экономические и политические конфликты.

Итак, когда хотят открыть основные причины исторического движения, необходимо искать их в способе производства материальной жизни, которому, по выражению Маркса, подчинено все вообще развитие социальной, политической и духовной жизни человечества.

---

# Я. ШТЕРН.

## Экономический и натур-философский материализм.

*Натур философский* материализм, представителями которого были: в древней Греции—Демокрит и его школа, в XVIII столетии—энциклопедисты, в новейшее время—Карл Фогт, Людвиг Бюхнер и др.,—и *экономический* или *исторический* материализм Маркса и Энгельса, несмотря на сходство названий, представляют, однако, две совершенно различных теории и относятся к разным областям.

В то время, как натур-философский материализм занимается об‘яснением *природы,* специально останавливаясь на отношении духа к материи,—задачей экономического материализма является об‘яснение человеческой *истории,* ее явлений и процессов.

Хотя об экономическом материализме писалось очень много, но до сих пор еще не разработан с достаточной ясностью вопрос об отношении его к натур-философскому материализму. Обыкновенно молчаливо принимают, что между обеими теориями существует тесная связь, что экономический материализм держится на натур-философском.

Без сомнения, *историческая* связь между обеими теориями существует, так как экономический материализм развился из натур-философского. Но есть ли между ними *логическая* связь? Является ли натур-философский материализм действительно необходимой предпосылкой экономического?

Сущность натур-философского материализма сводится к следующему: *материя* есть абсолютное, вечно сущее бытие, все же *духовное* (психическое: ощущение, чувства, воля, мышление) является лишь продуктом ее. Материя обладает бесконечным множеством сил („материя и сила“), которые все можно свести на движение; последнее также вечно. Под влиянием взаимодействия различных сил, в сложных живых организмах возникает духовная жизнь, исчезающая с разложением этих сил. Все явления, в том числе и человеческие желания и поступки, подчинены закону причинности и обусловлены материальными причинами.

Это мировоззрение стоит в самом резком противоречии к религиозно-церковному, спиритуалистическому учению о боге, душе и свободе воли.

Совершенно ясно, что и экономический материализм имеет своей необходимой предпосылкой признание зависимости всех явлений,

включая сюда и человеческую жизнь, от имманентных причин, другими словами, признание естественной закономерности всего сущего и совершающегося. Лишь после того, как случай и произвол были изгнаны из исторического процесса, можно было взяться за отыскание движущей силы этого процесса и найти ее в материальных условиях.

Но натур-философский материализм вовсе не единственная система, включающая в себя закономерность всех явлений. Да он вовсе и не является основателем этого, так называемого, механического мировоззрения: таковым скорее следует считать *спинозизм*, который дает совершенно другое решение основной проблемы натур-философского материализма об отношении духа к материи.

Спинозовский „*монизм*“ так же диаметрально противоположен церковному спиритуализму, как и натур-философский материализм,— ведь, он с самого начала выступил против картезианского дуализма, совпадающего с церковным мировоззрением,—*но в отличие от этого материализма он не видит в духовных (психологических) явлениях продукта материи.*

С точки зрения спинозовского монизма, мышление и протяжение, дух и материя, психическое и физическое не представляют собою различных субстанций (как учил Декарт); точно также психическое не представляет собою явления второго порядка (как учит материализм), но оба они—две стороны, два „аттрибута“ *единой* субстанции, вечной, бесконечной субстанции, „абсолюта“, как выражается позднейшая философия. *Психический и физический ряд протекают параллельно.* Каждая вещь имеет материальную и духовную сторону, *так что и неорганический мир обладает психическими качествами;* каждый атом „одушевлен“, конечно, в различной степени („omnia—sc. individua—quamvis diversis gradibus—animata sunt“. Spinoza, Ethica, p. II, prop. XIII, schol).

Учение об одушевленности материи было еще до Спинозы выставлено Джиордано Бруно, но только у Спинозы оно получило *теоретико-познавательную* обосновку. (Кстати замечу, что спинозовская система представляет собою не „догматическое“ умозрение, как полагает ходячая школьная философия, а логический результат глубокого анализа содержания сознания и, следовательно, строгого „критицизма“, родоначальником которого совершенно ошибочно считают Канта).

Я не могу более подробно останавливаться на значении учения о субстанции и ее аттрибутах (которые с точки зрения теории познания не исчерпываются двумя, доступными человеческому разуму; отсюда infinita attributa), так как я сейчас исследую только вопрос об отношении экономического материализма к натур-философскому.

Эта *теория психо-физического параллелизма*, впервые получившая гносеологическую—или, если угодно, „умозрительную“—обосновку у Спинозы, нашла себе твердую эмпирическую опору в результатах

новейших физиологических исследований и, благодаря этому, стала приобретать себе все больше сторонников в мире ученых. Ведь, можно уже считать твердо установленным наукой, что каждому психическому явлению соответствует физическое, и наоборот.

Так, например, Вильгельм Вундт в своих лекциях о душе животных и человека, опровергнув прежнюю гипотезу о душе и доказав неразрывную связь душевных явлений с телом, пишет (в конце 57-й лекции): „Не должны ли мы принять и обратно, что физические явления можно мыслить только в связи с психическими? Если правильно наше утверждение, что физические и психические явления сами по себе тождественны и оказываются различными только для методов нашего наблюдения, то на этот вопрос безусловно следует ответить утвердительно“. Вундт полагает, что хотя это и метафизическое предположение, поскольку оно выходит за пределы опытного наблюдения, но „от всех предыдущих гипотез оно существенно отличается тем, что строго придерживается опыта и представляет собою даже ничто иное, как необходимый вывод из опыта“.

Оба аттрибута никоим образом не должны рассматриваться как два процесса, протекающие рядом и с одинаковым темпом, напр., как два зубчатых колеса, вращающихся вокруг одной и той же оси,—нет, здесь перед нами *один* процесс, двояким образом воспринимаемый человеческим сознанием: материально и духовно, физически и психически. Так, напр., голод, если рассматривать его материально, представляет собой недостаток в определенных веществах, а рассматриваемый психически, представляет чувство неудовольствия; насыщение—материально представляет восполнение дефицита в организме, а психически—чувство удовольствия. Но человеческому интеллекту непосредственно доступна только психическая сторона его собственной индивидуальности; в других индивидуумах и вещах он замечает одни только материальные процессы, и притом лишь более грубые из них (напр., не колебания атомов и молекул, играющие такую важную роль в физических и химических процессах); даже материальные коррелаты своих собственных психических состояний он знает лишь в самой незначительной части. Этим об'ясняется тот факт, что наблюдение и исследование идут в одном случае материальным путем, в другом—психическим, смотря по тому, какая сторона—материальная или психическая—им более доступна, хотя с материальным всегда неизменно связано психическое, а с психическим—материальное.

Натур-философский материализм, поскольку он об'являет дух явлением второго порядка, продуктом материальных сил—короче говоря, фогт-бюхнеровский материализм—оказывается при более внимательном рассмотрении совершенно недостаточной и притом довольно поверхностной теорией. Он основывается на неправильном применении категории причинности, так как, в виду специфического отличия в нашем

сознании психических феноменов от физических, между материальной силой и духовным качеством недостает связующего звена. Совершенно непонятно, каким образом в животной клеточке, deus ex machina, появляется ощущение (основной психический элемент); напротив, необходимо принять, что и неорганическому миру свойственно—конечно, минимальное и простое—психическое качество, которое, однако, по мере поднятия по лестнице живых существ, все более усложняется и повышается. Но тогда и самое понятие „протяжения" или „материи" сводится к особой форме мышления и оказывается просто комплексом представлений.

Натур-философский материализм, хотя он и стоит на короткой ноге с современным естествознанием, все же примыкает еще в существенном к старому и устаревшему метафизическому направлению в философии. Новейшая философия отказалась от вредного вмешательства в дела опытного естествознания и от разрешения вопросов, выходящих за ее горизонт; она нашла свою специальную область в *теории познания*, и в этой области она впервые станет тем, чем когда-то считала себя: наукой наук, ибо всякое знание, даже опытное, лучше всего развивается, когда уверенно идет по указанному теорией познания пути. Философия, как теория познания, сама является опытной, точной наукой, наукой о мышлении, его формах и законах. По этому пути движется и экономический материализм, который со спинозовским монизмом гармонирует по меньшей мере так же хорошо, как с натур-философским материализмом. Более того: обычное сближение экономического материализма с натур-философским не раз затрудняло правильное понимание первого, не раз вызывало недоразумение, у которых при свете монизма заранее отнята была бы всякая почва.

---

# Проф. К ФОН-КЕЛЛЕС-КРАУЗ.

## Марксизм и позитивизм.

### I.

Тот факт, что теория экономического материализма нередко подвергается критике с позитивистской точки зрения и что ученики Огюста Конта не выказывают особого расположения к этой новой марксистской социологии,—этот факт может, пожалуй, с первого взгляда показаться странным, но если ближе к нему приглядеться, он становится вполне понятным. Ведь, сам Огюст Конт со свойственной ему необычайной проницательностью заметил: „Что̀ мы заменяем, то мы разрушаем“. И вот, на пути позитивизма к победе, на его пути к завоеванию всех областей современного мышления, марксистская социология является первым и единственным противником, умеющим пользоваться тем же орудием, что и он, умеющим опираться на те же принципы и удовлетворять те же насущные потребности,—и притом гораздо более совершенным способом. Как наследник позитивизма, марксизм неизбежно является его врагом: здесь мы снова находим простое применение контовского афоризма, вполне соответствующего революционному духу гегелевской диалектики.

Однако, это враждебное отношение нередко заходит слишком далеко. Один выдающийся писатель марксистской школы не поколебался назвать Конта выродившимся и реакционным учеником гениального Сен-Симона,—выражение, составляющее резкий контраст с тем глубоким почтением, какое марксисты выказывают к другому реакционеру—Гегелю, которого они никогда не ругают, довольствуясь тем, что перешагнули через него. А между тем, разве Конт во Франции не играет в философской реставрации, характеризующей средину XIX века, той же роли, какую Гегель играл в Германии, и разве его философия содержит меньше элементов, способных путем диалектического развития превратиться в революционные? Этим именно вопросом мы сейчас и займемся. Но к каким бы результатам мы ни пришли, одно можно считать твердо установленным: что марксизм непосредственно ничем не обязан контизму, так как последний не играл роли в генеалогии марксизма ни как целое, ни в отдельных своих частях. Конечно, марксизм—вполне позитивная социология, но он почерпнул позитивизм и исторический реализм, эти столь противоположные

статическому рационализму и формально-политическому мышлению XVIII века элементы, непосредственно из сен-симонистского источника, и подверг их дальнейшему развитию совершенно независимо, с таким же правом, как и сам контизм, но при этом он прибавил к ним еще два важных момента: монизм и революционную диалектику. И в том, и в другом пункте марксизм поступил безусловно последовательно: это было духовным завещанием гегелевской философии, которая сама, в свою очередь, была наследницей и в то же время венцом всего немецкого идеализма.

Таким образом, марксизм не является детищем контизма и никогда не хотел считаться им. Он забыл даже то, что в сущности они—братья, т.-е. дети одного отца, хотя и рожденные различными матерями и в различные моменты развития окружающей среды.

Действительно, в последователях Конта марксисты имели родственные себе элементы, из которых некоторые, образовавшие, по аналогии с гегельянской левой, крайнюю левую позитивизма, в дальнейшем весьма близко подошли к марксизму. Самым значительным и известным из них является *Гилльом де-Грееф*, автор „Transformisme social"; я могу назвать еще другого, вполне заслуживающего этого: *Болеслава Лимановского*, Нестора польской социологии и вместе с тем польского социализма. Если примеры этого рода встречаются довольно редко, то лишь потому, что число тех, которые называют себя еще позитивистами-контистами в полном смысле этого слова, само не очень велико; такие контисты составляют скорее своего рода ортодоксальную церковь, очень мало способную жить и развиваться. Но вместо них „контовская философия живет еще и развивается как-раз у тех, которые ведут с ними борьбу", как это удачно отметил Levy Bruhl,—и общая научная атмосфера, которую эта философия создала и „которую мы вдыхаем подобно воздуху, не замечая ее", особенно благоприятна для развития и распространения экономического монизма и материалистического понимания истории.

Прежде всего, одним из важнейших элементов этой позитивной атмосферы является строгий социальный детерминизм и согласная во всех пунктах с марксизмом концепция отношений между личностью и обществом, а также роли отдельных личностей в ходе развития человечества. Известно изречение Конта, что человечество об'ясняет людей, а не люди—человечество. Индивидуальный человек для него—абстракция, ибо все, что есть в человеке интеллектуального и морального, получено им от общества, так как социальное состояние—в форме семьи—было с самого начала естественным состоянием человека. Мы—люди лишь постольку, поскольку составляем часть человечества. В действиях и мыслях каждого из нас выражается совокупность действий окружающего нас общества в прошлом и настоящем. Сама наука, этот венец человеческой деятельности, составляет коллективный

продукт человечества, плод совместной работы всех людей, народа в целом. Таким образом, Конт, в противовес аристократическим рационалистам, воскрешает прекрасную и плодотворную традицию *Вико* *), который в этом пункте, как и во многих других, был его предшественником. Мысль Конта „о глубоком тождестве между учеными и деятельной массой“ соответствует „открытию“ неаполитанского философа, что „действительным Гомером“ был народ. Точно также своей блестящей теорией языка и искусства, как продуктов и нераздельной собственности всего народа в целом, он продолжает дела творца „Scienza nuova“; он совершенствует и модернизирует его, являясь провозвестником демократического искусства, которое должно приблизиться к социальной жизни, и таким образом он дает экономическому монизму ценный источник аргументов против всех, которые, с целью разрушить единый и целостный коллективный характер социальной эволюции, стараются преувеличить роль индивидуальных „изобретений“ и даже прихотей в этих областях, мало еще исследованных с монистической точки зрения и именно потому излюбленных теми людьми, которые заявляют, что тут личность свободна от всякого закона.

Но, не разделяя веры Вико в божественное провидение, руководящее человечеством, Конт мог лучше, чем он, понять эту роль индивидуальной деятельности,—и он определил ее совершенно так, как ее определяют марксисты. Он говорит, что личность может успешно действовать только в направлении „прогресса“, в направлении всей эволюции общества; что великие личности только кажутся вождями общества, в действительности же они лишь первые подчинены той коллективной эволюции, которая незаметно выдвигает каждую новую проблему, но в ясном виде ставит ее перед сознанием людей лишь в тот момент, когда даны уже также элементы и способ решения, и что, вообще, „человек может изменить со статической точки зрения только интенсивность социальных феноменов, а с динамической—только их скорость“.

Однако, ограничивая таким образом значение и самую возможность индивидуальной деятельности, Конт отнюдь не хотел ее отрицать; напротив, он с одинаковой силой подчеркивал обе стороны приведенного нами выше положения, что ход развития общества выражается в индивидах и посредством индивидов. Личность является лишь точкой пересечения социальных сил, но силы эти могут действовать лишь на индивидов и в индивидах, где оне сталкиваются с равнодействующими других социальных сил. Если весь мировой порядок представляет, согласно контовскому пониманию закона природы, „способную к видоизменениям фатальность“, то и общество, которое более сложно и, следовательно, менее совершенно, должно и может быть изменяемо,

*) О Вико ср. George Sorel: Was man von Vico lernt?—Socialistische Monatshefte, 1898 г., стр. 270 и след.

и притом только посредством деятельности индивидов. Отсюда вытекает весьма устойчивая, положительная и идеалистическая мораль, которая отвергает индетерминизм, но вместе с тем также фатализм и квиетизм, которая презирает эгоистов, этих „производителей навоза“, не меньше, чем идеалист Мицкевич в своей знаменитой романтической оде, обращенной к молодежи,—мораль, которая заставляет человека жертвовать всей своей жизнью для будущих поколений, которая так же прекрасна, как и прочна, так же научна, как и поэтична, подобно морали стоицизма и социализма, двух других реалистических учений, которые на первый взгляд кажутся сухими и мрачными. Читая апологии материалистического понимания истории в том виде, в каком оне впервые писались Энгельсом и затем учениками Маркса, никогда не находившимися под непосредственным влиянием Конта, как, напр., Мерингом и особенно Каутским, мы находим, поскольку речь идет о так называемом фатализме, анти-индивидуализме и аморализме или иммморализме этой теории, мысли, абсолютно тождественные с мыслями Конта.

Впрочем, такое сходство существует не только между контизмом и марксизмом. Правда, между обеими этими теориями в данном пункте существует не только общая аналогия, но и почти полное тождество, простирающееся даже на терминологию; но идея социального детерминизма, т.-е. зависимости индивидуальных поступков от коллективных законов, и даже идея личной и идеалистической морали, которая отнюдь не из‘ята из сферы действия детерминизма, а, напротив, именно им обусловлена,—эти идеи в настоящее время почти единогласно приняты не только всеми социологами, но и большим числом историков. Среди последних, правда, осталось еще немало таких, которые чувствуют к ним антипатию. Эти историки, даже в том случае, если они проникнуты научным и позитивным духом, странным образом полагают, что дух этот заключается в том, чтобы, избегая всяких обобщений, держаться отдельных конкретных фактов и отрицать существование исторических законов. Закончил ведь не так давно один знаменитый историк *), проникнутый „либеральным, светским, демократическим и западным“ духом, свою историю современной Европы следующим поразительным выводом: „Революция 1830 года была делом группы неизвестных республиканцев, воспользовавшихся неопытностью Карла X; революция 1848 года была делом нескольких демократических и социалистических агитаторов, которым помогло неожиданное малодушие Луи-Филиппа; война 1870 года была личным делом Бисмарка, подготовленным личной политикой Наполеона III. Для этих трех непредвиденных событий мы не можем найти ни одной общей причины в интеллектуальном, политическом и экономическом состоянии европейского континента. Политическую эволюцию современной Европы определили три случая“.

*) Профессор Сеньобос.

Эта нелюбовь к обобщениям, эта склонность к преувеличению роли отдельных личностей—сами по себе далеко не индивидуальные и не случайные явления: они лишь следствия инстинктивного опасения, как бы в результате обобщений, на основании установленных законов, не пришлось признать господствующего значения фактора, вся деятельность которого неудержимо толкает к революционному будущему; они направлены специально против марксистского экономизма и материалистического понимания истории. И в настоящее время в борьбе против исторического индетерминизма авангардное место занимает уже не контизм, а марксизм, который, как мы увидим, нередко бывает даже вынужден призвать позитивизм и его последователей к порядку, внушить им решительное и полное почтение к детерминистическому принципу и противодействовать почти фатальной тенденции, противоречащей этому принципу, которая состоит в том, что контисты помещают центр тяжести в интеллектуальной верхушке общества—в людях, отмеченных Провидением.

Чтобы убедиться в этом основном противоречии контизма, мы обратимся к еще более тесной и специальной аналогии между экономическим монизмом и контизмом: именно, к классификации социальных явлений в определенное число лежащих как бы друг над другом слоев по степени их *убывающей общности и возрастающей сложности*. Справедливо, конечно,—и мы сразу же хотим это отметить,—что у Конта эта классификация нашла себе строгое и законченное применение только к одной определенной категории социальных явлений,—к наукам, тогда как в социалистической школе, кроме Энгельса, установившего совершенно независимо от Конта ряд социальных явлений, члены которого последовательно друг друга обусловливают, выступил еще один ученый систематик, пришедший с крайней позитивистской левой,—де-Грееф, который развил и точнее определил этот ряд, взяв за исходный пункт тот же контовский критерий убывающей общности и возрастающей сложности, чтобы отсюда вывести последовательную зависимость высшего феномена от низшего в таком порядке: явления экономические, генетические, эстетические, интеллектуальные, моральные, юридические, политические. Порядок членов, следующих за экономикой, является не столь существенным, и нет вовсе необходимости всем марксистам принять непременно тот порядок, который установил де-Грееф; сам я предложил другой порядок *). Но особенно интересной и поразительной является устанавливаемая таким образом прямая аналогия между контовской и марксистской концепцией; де-Грееф без труда мог перейти от одной к другой, и, расширяя таким образом позитивистскую идею, он имел полное право утверждать, что он отнюдь ей не изменяет.

---

*) Экономика; мораль и право; собственность; семья; государство; наука, искусство, философия, религия. (См. в наст. сборн. статью того же авт.: „Что такое экономич. материализм? (*Прим. перев.*).

Понятие общности, лежащее в основе классификации наук, не носит у Конта чисто логического характера, а скорее может быть сведено к отношению зависимости: каждая наука может развиваться и достигнуть „позитивной стадии“, т.-е. стать действительной наукой, лишь в тот момент, когда этого потребует развитие предшествующей науки, которая отличается более общим и менее сложным характером. С этой точки зрения Конт рассматривал все социальные и даже все, вообще, космические явления, среди которых наиболее тонкие, т.-е. наиболее сложные, подчинены у него в отношении условий их существования более грубым или, проще говоря, более общим явлениям.

Правда, когда речь идет об интеллектуальных проявлениях человечества, он подчиняет их нашему „организму“ (organisation) и нашему „положению“ (situation), т.-е., с одной стороны, непосредственно биологическим явлениям, а с другой—фазе развития наук, которую мы проходим, и зависящему от этого уровню цивилизации: как все философы XVIII века, основатель позитивизма не замечает еще той основной роли, которую играют орудия проиизводства, становясь между биологической средой и человеком и образуя кристаллизационный пункт для всей цивилизации. Но, несмотря на это, Конт в некоторых местах отмечает тесную связь, существующую между наукой, даже самой высшей, и основными потребностями человеческой жизни. Противники экономического материализма, как на единственный аргумент, призванный накрыть его, так сказать, на месте преступления и тем самым защитить „благородную независимость“ интеллектуальной деятельности человека от его „грубых нападок“, ссылаются на прирожденное, естественное, свойственное человеку любопытство, на зародыши не-экономических, не-производительных отношений, которые должны были возникнуть между человеком и природой с самого начала существования человечества. Конт же, напротив, считает это „прирожденное любопытство“ одним из наших вторичных и позже возникших влечений, которое при зарождении науки могло играть лишь незначительную роль по сравнению с утилитарными функциями охоты, войны,—вообще, по сравнению с „основным стремлением избежать страданий и смерти“, что, как нетрудно видеть, абсолютно тождественно с „заботой о жизни“ Липперта и с „производством потребительных стоимостей“ марксистов. В отдельных случаях Конт вполне определенно говорит, что математика, например, возникла из искусства измерять, которое применялось, главным образом, к размежеванию полей; он признает,—хотя и не выражается, именно, этими словами,—что алхимия была первой попыткой создать науку, применимую к производству и призванную удовлетворить новые экономические потребности, впервые в то время возникшие. И, вообще, далекий от того, чтобы верить в олимпийскую недоступность науки, Конт всегда признавал ее зависимость от необходимых потребностей человеческой жизни и всегда видел источник

ее в соответствующем искусстве. Правда, наряду с этим Конт утверждает, что наука, будучи утилитарной по своему происхождению и своей цели, может, однако, развиваться, только забывая по возможности это утилитарное происхождение и эту утилитарную цель, т.-е. становясь „чистой“ наукой и самодовлеющей целью; и он ссылается на тот разительный пример, что без высших и самых бескорыстных спекуляций геометров в космической механике было бы невозможно управлять кораблями в открытом море. Но считать эту мысль Конта противоречащей или чуждой экономическому материализму можно только при отсутствии знакомства с сочинениями писателей, рассмотревших беспристрастно этот вопрос. Уже Энгельс признал необходимую независимость, достигаемую наукой. Польский социолог И. К. Потоцкий, находившийся под сильным влиянием марксизма, формулировал, исходя из синтеза идей Спенсера и Гюйо, эстетическую теорию, всецело проникнутую тем же духом. По этой теории, происхождение и тенденция искусства всегда носят утилитарный и социальный характер, но самое искусство в действительности начинается лишь с того момента, когда исчезает всякое сознание определенного утилитарного элемента, когда искусство становится самоцелью.

Вообще, один из важнейших тезисов экономического материализма гласит, что социально-научная, эстетическая, юридическая, политическая и т. д. „форма“, определяемая социальным, в конечном счете —экономическим содержанием, раз возникши, получает известную независимость, рамки которой тем шире, чем более отдалена от базиса данная форма, т.-е. чем больше число промежуточных членов, посредством которых она определяется. Благодаря этой приобретенной независимости, социальная надстройка сопротивляется некоторое время преобразующему влиянию базиса и в свою очередь, как бы она ни была отделена и, повидимому, индиферентна, оказывает воздействие на явления базиса. Так, по мнению Конта, высшая из всех наук—социология могла возникнуть только на определенной стадии развития биологии, причем, однако, раз возникши, социология завершила и одна только и могла завершить биологию: так, по учению марксистской социологии, экономическое развитие обусловливает политические и юридические формы, но, раз возникновение нового права достаточно подготовлено развитием производства, только провозглашение и систематизация этого нового права в состоянии вызвать дальнейшую экономическую эволюцию. Мы видим таким образом,—чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно из новейших писателей прочитать сочинения Лабриолы и Абрамовского или даже только внимательно проштудировать „Нищету философии“ Маркса,—что марксисты не только признают единство социальной эволюции и социальной жизни и попеременную зависимость всех классов социальных феноменов друг от друга, но и подчеркивают это с такой силой, которая по меньшей мере

равна контовской, если не больше ее, так как Конт, ведь, думал, что господствующий фактор, т.-е. интеллектуальная эволюция, была бы в сущности понятна и без всех остальных факторов, и что самые общие феномены оказывают влияние на все остальные, не подвергаясь с своей стороны их влиянию.

Марксисты, начиная с самого Маркса, непрестанно подчеркивают существование внутренней связи между всеми общественными явлениями, но, в отличие от позитивистов и всех других социологов, они проводят свой монизм последовательно до конца. Именно, они устанавливают также единство основного двигателя общества, т.-е. то господствующее направление, которое социальная эволюция получает от развития орудий и способов производства и к которому в конечном счете могут быть сведены все социальные движения. И когда позитивисты на это возражают, что при переходе от каждой ступени феноменов к следующей происходит „обогащение реального", требующее своих собственных законов; что различия между ступенями феноменов носят качественный характер, а качественные различия, вопреки мнению гегельянцев, нельзя разложить на количественные; что, следовательно, мы не можем *свести* (réduire) высшие феномены к низшим, а в лучшем случае можем только *выразить* (traduire) одни через другие; что, наконец, экономический материализм делает ту же грубую ошибку, что и вульгарный материализм, желающий об'яснить интеллектуальные функции „телесными",—когда позитивисты делают все эти возражения, мы отвечаем: нисколько не отрицая законности и полезности специальных законов для каждой ступени феноменов и не вмешиваясь также в настоящий момент в ту борьбу, которая ведется вокруг абстрактного вопроса гегелевской диалектики, и уже совсем не заботясь о том упреке, который делается *психологическому* материализму,—мы заявляем, что все это не имеет никакого отношения к разбираемому вопросу, так как *все* социальные феномены—безразлично, будут ли то экономические, философские или эстетические—в равной мере носят *психический* характер и, следовательно, сводимы друг к другу; и, кроме того, мы должны еще отметить, что в *практике* социологических исследований *свести* политическую или религиозную надстройку к экономическому базису означает решительно то же самое, что—*выразить* экономическое изменение посредством изменения в надстройке.

И на практике сам Огюст Конт, поскольку речь идет о роли экономического фактора в *конкретной* диалектике социальной эволюции, высказывал такие мысли, которые всецело согласуются с марксистскими воззрениями. Когда он, напр., рисует нам великую социальную эволюцию, разложившую средневековый строй и подготовившую современное общество, то, как ученик Сен-Симона, он прекрасно понимает, что процесс этот начался в экономической области, и он говорит, что

экономическая эволюция необходимым образом предшествует эстетической и научной, что организация современного общества имела экономический базис и что, именно, в этом базисе кроется характернейшее отличие этого общества от всех других. Он говрит, что критические теории могут появиться лишь тогда, когда фактическое разложение старого дошло уже до известной точки, и что, вообще, теории могут возникнуть, проявиться и завоевать себе влияние лишь в том случае, когда для этого имеется благоприятная социальная почва. Он понимает, что смысл существования этих теорий, напр., теории абсолютного индивидуального права, заключается в том, что оне служат оружием для тех элементов, которые под гнетом экономических условий стремятся к разложению старого порядка,—другими словами, он почти признает классовый характер теорий, а равно и то, что оне необходимо должны исчезнуть, коль-скоро данная фаза эволюции пройдена. Тем не менее,—учил он,—не только теории, но и все, вообще, социальные учреждения и силы способны оказывать сопротивление: оне имеют тенденцию продолжать существовать „и за пределами той функции, которую им определил общий ход человеческого духа"; или, как говорят марксисты, оне имеют тенденцию продолжать существовать в виде пережитков за пределами своей социальной полезности и своего соответствия экономическому базису. Благодаря этому, неизбежны революции. Конт, вообще, признает необходимость и законность революции. Конечно, он—реалист; благодаря принципу „условий существования", он знает, что все необходимое вместе с тем неизбежно, и что все случившееся, все существующее, именно, потому, что оно не было избегнуто, вместе с тем необходимо,—идея, соответствующая у Конта гегелевской формуле: „Все действительное разумно". Однако, из факта существования чего-либо для Конта не всегда вытекает его конечное совершенство, и он предостерегает против смешения „научного понятия естественным образом возникшего состояния—с систематической апологией всякого существующего порядка". Напротив, „конкретную диалектику интеллектуальной истории человечества" он видит в том, что каждая стадия, которую она проходит, прежде, чем достигнет чисто позитивной стадии (которая составляет исключение),—следовательно, как первобытно теологическая, так и промежуточные метафизические стадии,—носит уже в себе самой зародыши собственного разложения, заключает в себе внутреннее противоречие, которого не может допустить главный двигатель этого процесса—основная потребность человека в единстве, его непрестанное стремление к „законченной логической связи"; современем грядущая фаза развития уничтожает это противоречие. Короче говоря, Конт признает, „что настоящее наполнено прошлым и беременно будущим, и что, следовательно, существуют лишь относительные, временные истины, которые, путем длительного процесса искажения их смысла, путем „транспозиций" мало-

по-малу перестают быть истинами по отношению к общим условиям окружающего общества и заменяются другими истинами, которые постепенно развертываются в своем развитии. Все это поразительным образом напоминает, даже по способу выражения, те идеи, которые Маркс и Энгельс заимствовали у гегелевской философии и которые затем были специально развиты и точнее определены Каутским.

Этот характер глубокой и всепроникающей диалектики, общий у позитивизма с экономическим материализмом, послужил также основанием к тому, что эти теории услышали со стороны контианцев одинаковый упрек в отсутствии у них гносеологического обоснования, в игнорировании ими критической проблемы об отношении суб‘екта к об‘екту. И на этот упрек каждая из них дает почти тождественный гордый ответ: αὐταρκοῦμεν—мы сами себе удовлетворяем. Что касается позитивизма, то, напр., Lévy Bruhl ясно показал, насколько несправедлив этот упрек, основанный на неправильной оценке основного духа философии Огюста Конта. Невозможность приписать познающему суб‘екту интуитивному „Я“ какие бы то ни было, даже самые элементарные свойства, которые дали бы нам возможность отличить его от познаваемого об‘екта,—другими словами, тот факт, что суб‘ект, как таковой, абсолютно ускользает от нашей способности наблюдать и определять, доказан у Конта такими аргументами, которые мы находим также у молодого марсистского философа Эдуарда Абрамовского, который, однако, насколько мне известно, очень мало находился под непосредственным влиянием позитивистской философии *).

Точно также и относительность науки основана у Конта не на признании „вещи в себе“, „непознаваемого“, как у Канта и его учеников,—словом, не на „логических“, априорных и неизменных границах человеческого познания,—напротив, Конт убежден, что мы можем знать все, что нам, действительно, надо знать и что за пределами нашей познавательной способности остаются лишь вещи, не представляющие для нас абсолютно никакого интереса, остаются лишь такие проблемы, которые в действительности не существуют. Ибо в основе каждой проблемы, которая становится перед нами, необходимо лежит нечто, так или иначе влияющее на наше существование, и единственно при посредстве этого влияния данная вещь получает для нас значение действительно существующей. Мы познаем, следовательно, весь об‘ект сообразно тому, как он, действительно, обнаруживается, и самый способ, которым мы его познаем, определен проявлениями об‘екта в границах нашего существования: об‘ект дается нам не иллюзорной интроспекцией абстрактного суб‘екта, а интеллектуальной об‘ективной историей человечества,—этого конкретного „универсального суб‘екта“. И особенно замечательно то, что марксист Лабриола, который так сурово относится к Огюсту Конту, становится на ту же точку зрения

*) Ср. E. Abramowski: „Bases psychologiques de la Sociologie“ Paris, 1897.

и прибегает почти к тем же выражениям, когда ему приходится защищать Маркса и Энгельса от того же упрека, бросаемого им в лицо глашатаями „кризиса марксизма“ и „возврата к Канту“. Он говорит: „Все познаваемое может быть познано, и все познаваемое будет, в бесконечное время, познано; а то, что в сфере познания выходит за пределы познаваемого, нас вовсе не интересует... Мы постепенно узнаем то, что нам необходимо знать... Знание нам необходимо, поскольку оно дает нам знание действительности,—и лишь путем чистого воображения можно допустить, что дух наш признает абсолютное различие между „познаваемым“ и „непознаваемым в себе“, другими словами, что он признает „непознаваемое“—т.-е. то, что я обозначаю, как „непознаваемое—действительно существующим“ *).

Аналогичными аргументами пользуется Плеханов против социалиста-неокантианца Конрада Шмидта. Лабриола в высшей степени верно и удачно характеризует „философию, которую содержит экономический материализм“, эту *философию практики*, как *тенденцию к монизму*,—„причем слово *„тенденция“* выражает приспособление духа к убеждению, что все может быть понятно, как генезис; более того—что *все доступное пониманию есть только генезис*, и что всякий генезис с большим или меньшим приближением обладает признаками непрерывности“. Без сомнения, этот „генетический метод, неразрывно связанный с вещами“, проведен у ученика Маркса гораздо смелее и последовательнее, чем у Конта. Здесь сказывается влияние гегелевской философии, „поставленной на ноги“; но, в сущности, обе теории проникнуты тождественным диалектическим духом, и я снова повторяю—сходство между ними в данном вопросе прямо поразительное.

Однако, на этом сходство и кончается: дальше этого тенденция к монизму у Конта не идет, и, именно, потому, что он неожиданно останавливает колесо диалектики.

## II.

Теперь мы перейдем к целому ряду противоречий, возникающих у Конта при оценке роли интеллектуального фактора,—противоречий, по своей форме и природе аналогичных тем, которые мы уже обнаружили в другом случае, при разборе проблемы изобретений и нововведений, у другого основателя школы, у глубокого и оригинального мыслителя идеалиста, Габриеля Тарда **).

Мы видели, что, по Конту, экономическая эволюция должна предшествовать научной и эстетической и, следовательно, также эволюции учреждений, так как, с другой стороны, по Конту, политика основана на морали, а эта последняя—на философии. Но в других местах, где он подробнее останавливается на этих принципах, он вдруг

*) Ср. A. Labriola „Socialisme et philosophie“. Paris 1900.

**) Ср. Annales de l'Institut international de sociologie; II т. стр. 327—328.

заявляет, что учреждения зависят от нравов, а нравы в свою очередь от веры (les croyances); что разрешение социального вопроса предполагает предварительное установление новой философии, и что, вообще, интеллектуальная эволюция дает „руководящую нить“ для философии истории, образуя самый важный фактор, от которого зависят все остальные, тогда как сам он был бы, в сущности, понятен и без остальных факторов. Каждый, знакомый с учением Конта, знает, какой проницательностью отличаются его идеи о происхождении человечества, о первичной связи между наукой и удовлетворением жизненных потребностей, о естественном образовании языка. Как и последователи Маркса, Конт занимается великим вопросом о границе между животным царством и человечеством. Указывая на то, что высшие организмы могут в общем лучше сопротивляться изменению внешних условий, а, в частности, человек—несравненно лучше, чем животныя; констатируя чрезвычайное и неожиданное „обогащение реального“, или, как выражается Вейзегрюн *), неожиданное и в своем роде единственное превращение количественных различий в качественные, совершившиеся при переходе от животного состояния к человеческому; ставя себе основной вопрос: почему такому незначительнолу различию в органах соответствует столь важное различие в функциях,—Конт вступает в тот самый круг идей, который впоследствии развил Плеханов **), дав в высшей степени стройное и в то же время глубокое и простое решение проблемы. Именно, Плеханов рассматривает орудие производства (и защиты), как искусственное удлинение естественных органов, как удивительно пластическую и способную к усовершенствованию оболочку, которая защищает человеческий организм от непосредственного воздействия естественной среды, которая известным образом изменяет и преобразует эту среду, приспособляя ее к человеку,—что почти совершенно освобождает последнего от необходимости приспособляться к среде путем биологических изменений. Мы должны сказать, что Конт был очень близок к этому решению проблемы: так, —правда, в другой связи и с другою целью,—он отметил то, что мы считаем специфическим признаком человеческого вида—социальный характер орудий. Если бы он пошел дальше по тому же пути и принял это решение за основу социологии, тогда его идеи о решающем характере, получаемом интеллектуальными функциями специально у человека, который, таким образом, освобождается от исключительного господства животных и органических функций, не пришли бы в противоречие с монистическим детерминизмом. Они в этом отношении, как и в вопросе о диалектике, совпали бы с той идеей Маркса, которую раньше других развил Энгельс и которая затем была принята всеми марксистскими материалистами—именно, с той идеей, что в

*) Ср. Dr. Paul Weisegrün „Die Entwickelungsgesetze der Menscheit“ Leipzig, 1888.
**) Ср. G. Plechanow: „Beiträge zur Geschichte des Materialismus“. Stuttgart, 1896.

будущем обществе, когда окончательно установится сознательное господство общества над его производительными силами, закончится также „предварительная история человечества“, и человек, освобожденный от власти вещей, некоторым образом перейдет „из царства необходимости в царство свободы“. Но, именно, здесь, в самом основном вопросе, философия Огюста Конта отклоняется от действительно-позитивного пути и становится, так сказать, на голову: по Канту, решительный шаг в сторону перехода от животного состояния к человеческому был сделан не тогда, когда первые орудия были изготовлены обществом, а тогда, когда разум человека перешел от фетишизма к поклонению звездам. С нашей точки зрения, создание первых орудий было тем моментом, который, действительно, поставил человека вне и выше всего животного царства; с точки зрения Конта таким моментом является—первое „великое сотворение богов“. И, следовательно, религия является для него существенным базисом всякого человеческого общества: и весь цикл истории человечества движется не между организационными формами производства—первобытным коммунизмом и великим коммунизмом будущего,—а между первобытной, естественной и окончательной, „доказанной религией“.

*Окончательной*—вот где лежит тайна всех противоречий, и здесь мы снова видим то основное сходство, которое Конт имеет с Гегелем. Каждому из этих великих мыслителей необходимо было нечто окончательное, для каждого из них диалектика истории, применимая только к прошлому, должна была прекратить свое дальнейшее движение в определенном пункте, который они рассматривали как высшую точку восходящей линии: для одного таким конечным пунктом была прусская монархия, обоснованная Гегелем, для другого—позитивная религия, доказанная Контом. Конт, этот безжалостный критик традиционных теорий, признававший законность революций, не колеблется самым ясным образом заявить, что раз только общество организовано с помощью позитивной религии, эта организация и эта религия должны быть незыблемы. Правда, оне должны быть введены после свободного испытания и обстоятельной дискуссии, на основании общего согласия, но это согласие никогда уже более не может быть взято обратно. Более того, это предварительное испытание производится не всем народом, а только компетентными людьми, которым остальные, будучи убеждены в своей некомпетентности, добровольно передают свое суверенное право обсуждения. Позитивизм призван положить конец „раз‘едающей дискуссии“, непрерывным возмущением индивидуального разума, разрушившего уже столько социальных систем. Правительство, призванное охранять души, как материальные интересы членов общества, должно заботиться о поддержании порядка, чтобы, установив раз-навсегда гармонию, не допускать никакой внутренней борьбы.

Эту организационную обязанность Конт хочет уже в настоящее время возложить на правительство. Со всей силой своей критики обрушивается он на буржуазных экономистов, которые страданиям народа умеют противопоставить только „безжалостный педантизм“ своей догмы невмешательства, так явно выражающей их узкие интересы. В этом пункте, благодаря резко отрицательному отношению к плутократии и к анархическому состоянию, в котором находится современное общество, Конт приближается к социализму. И кто знает, не стал ли бы он в настоящее время, когда социализм давно уже отбросил мысль о возможности путем революции *в один момент* уничтожить господство собственности и изменить все связанные с этим социальные условия, — мысль, против которой Конт боролся во имя позитивного способа мышления, — кто знает, не стал ли бы он в настоящее время, по крайней мере, социалистом „новой методы“, как многие другие, которые были проникнуты его духом!.. Во всяком случае, во всех социалистах он должен вызывать чувство симпатии и уважения за ту проницательность, с которой он разоблачил душу буржуазии, эксплоатирующей пролетариат, предсказав даже ее отпадение от вольтерьянства и примирение с католической догмой, „этим действительным фундаментом защищаемого ею социального строя“.

Тем не менее, весьма крупные различия отделяют Конта от социализма. Выросший в идеях Бональда и де-Местра, он не пошел в своей реакции против недостаточности и несовершенства буржуазной дезорганизаторской и чисто-формальной революции так далеко, как Сен-Симон. Он не стремился завершить ее последовательным развитием ее организаторских и положительных моментов, а довольствовался тем, что, с одной стороны, обвинял буржуазный строй общества прежде всего и главным образом—за его неустойчивость, за то неопределенное и шаткое положение, в каком он держит тело и—что еще важнее—душу пролетариев, а с другой—восхищался средневековьем и хотел восстановить принцип средневекового порядка, но без теологии. И хотя он стремился урегулировать пользование правом частной собственности, видя в последней, подобно Фоме Аквинскому, только социальную функцию, а не естественное, абсолютное право, — он все же энергично защищал собственность против „безумных сектантов“ коммунизма.

В защиту частной собственности и права наследования он выступил, главным образом, потому, что всей душой цеплялся за неприкосновенность буржуазной семьи; здесь яснее всего видна та печать буржуазного класса, которая лежит на всей его системе. Поддержание буржуазной семьи—вот та предвзятая идея, которая служит бессознательным кристаллизационным пунктом для всей его системы, та утилитарная основа системы, которая все время, пока она забыта и лежит вне поля зрения автора, позволяет ему развить те свои положения,

которые создают эстетическую красоту позитивной философии; но все время она невидимо присутствует и на каком-нибудь перекрестке вдруг снова появляется, мешая—даже ценою противоречий—мысли Конта, считающей себя свободной, пуститься по скользкому пути опасных выводов.

Да, ценою противоречий. Ибо Огюст Конт, установивший в принципе всеобщую эволюцию общества, никогда даже не поставил себе вопроса об эволюции семьи *). Соответственно той роли, которую он под влиянием своих чувств,—т.-е. под влиянием чувств своего класса,—отводит женщине (женщина призвана служить моральной руководительницей мужчины во всем, что касается чувства, но никогда не должна пытаться достигнуть равного с ним положения в области интеллектуальной деятельности), Конт считал мелко-буржуазную форму семьи в том виде, как она существовала в его эпоху, не изменившись сколько-нибудь заметно на протяжении столетий, естественным, неизменным и неприкосновенным базисом всякого общества. Он выступает не только против идеи свободной любви, как ее проповедывали коммунистические секты, Фурье и Анфантена, но и против идеи развода.

Чтобы оправдать такую неподвижность столь важного социального фактора, необходимо было допустить, что фактор этот соответствует некоторым неизменным основным свойствам человека, как такового; необходимо было признать „основную природу" человека. Конт так и делает. Сцепление глубоких и интимных чувств и стремлений, полученных им от той среды, в которой он жил, бессознательно руководило его мыслью и внушило ему такие основоположения его возвышенной систематической философии, такие „абсолютно беспристрастные основоположения", как, напр., „полную согласованность между статической и догматической точками зрения". Согласованность эта

*) Я знаю, что верные последователи Конта найдут это утверждение неправильным. Они возразят, что Конту было известно существование полигамии, и что он допускал изменения и улучшения в современном браке. Да, в браке, но не в семье,—ответим мы на это,—и далеко не случайно употребляет он, именно, первое из этих выражений в том месте „Cours de la philosophie positive" (IV т., изд 1893 г., стр 454), где он говорит о „неизбежных модификациях". И подобно тому, как он не хотел допустить, что „безумные секты могут нападать на семью в *ее двойной необходимой основе: праве наследования и браке*" (стр 104), так и в прошлом он абсолютно не представлял себе семью без „необходимого и неизменного господства мужского пола": именно в этом он видел характерную черту, отличающую человека от животных (стр. 459; Système de politique positive, II т. стр. 182). Границы идеи эволюции семьи у Огюста Конта мы находим в следующем месте: „Основной дух института семьи заключается в том неизбежном *естественном* подчинении женщины мужчине, неизгладимый характер которого *в различных формах воспроизводят* все периоды цивилизации и которое новая политическая философия сумеет *окончательно* оградить от всех опасных анархических покушений" (Système de la philosophie positive IV т. стр. 455) Ясно, что это не есть эволюция в истинном смысле слова, ибо она исключает коммунистические или свободные, матриархальные или феминистские формы, существование которых современная этнология доказала по отношению к прошлому человечества, а научный социализм предвидит в будущем; и уже во время Конта эти формы предчувствовали те самые утописты, на которых он так сильно нападал.

требует, чтобы вся эволюция человека могла быть об‘яснена из его первоначальной конституции, чтобы она развертывалась, как кривая линия, которая implicite вся уже содержится в выражающем ее уравнении, чтобы на всем протяжении истории человечества не произошло ничего абсолютно нового, ничего такого, что не существовало бы уже потенциально „в основной природе“ человека. И благодаря этому требованию чисто логической симметрии, которая приводит к целому ряду не менее логических следствий, устойчивость идеальной семьи была еще более обеспечена; она была, действительно, застрахована от всяких случайностей, от всякого неожиданного нападения.

С другой стороны, когда речь идет об охране такой ценности, можно ли признать ее зависимость от самых „грубых“ явлений социальной жизни,—от экономических явлений, от перемены в орудиях и способах производства, в распределении богатства и т. д.? О грубости этих явлений свидетельствует их непрерывное, безостановочное развитие, которое основано на постоянно-действующей тенденции к достижению все большей продуктивности, и которое в то же время является „слепым“ развитием. Никогда нельзя знать, что вынесет это развитие на поверхность, какие опустошения произведут ее, большею частью „раз‘едающие“, последствия,—и вполне понятно, что такое развитие приводит в замешательство и внушает бессознательный страх.

Иное дело—эволюция „высшего“ интеллектуального фактора,—особенно, если ее рассматривать вне определяющей деятельности экономического фактора: здесь можно предвидеть все, что произойдет, чего можно ожидать и чего следует избежать, так как здесь мы имеем, ведь, дело только с хронологическим, более или менее, произвольным развитием логического и раз-навсегда установленного понятия „человеческой природы“. „Интеллектуальный“ фактор всегда выполняет то, к чему он обязался, к чему его обязали. И поэтому охотнее доверяют, хотя бы только в иллюзии, его ясному и определенному конечному направлению, а не мятежным глубоким волнам экономического океана, ту ладью эволюции, которая призвана везти неприкосновенную святая святых... И всякий раз, когда мы наталкиваемся на неизменное и рационалистическое понятие человеческой природы, хотя бы то были только нео-катианские категории рассудка, мы можем быть уверены, что там в основе имеется более или менее консервативный, предвзятый интерес в сохранении социального строя или, по крайней мере, морали, что там имеется забота об „основанном на природе человека порядке“ (Ф. А. Ланге) или—о „вечной справедливости“. И всегда в таких случаях,—безразлично, идет ли речь об идеалисте Фихте или о позитивисте Конте, или даже в известном отношении о революционере Жоресе, который видит в истории „всерастущий протест человека против нечеловеческого обращения с человеком“,—реальная история будет дедуктивно „исправляться“ на

основании тех или иных соображений о „человеческой природе“. Так и Конт полагает, что исторический метод в социологии подлежит контролю позитивной теории человеческой природы, хотя он сам же уверял, что история не может быть выведена дедуктивным путем.

Но ирония судьбы идет еще гораздо дальше. Lèvy-Bruhl удачно показал, что по мере того, как человечество из об‘екта изучения, каким оно первоначально было для Конта, становится для него об‘ектом любви и культа, социальная статика незаметно приобретает характер картины будущего человечества; она даже носит заглавие: Traité abstrait de Lordre humain. Определение поднятия „человеческой природы“ роковым образом приводит Конта, этого непримиримого противника всех утопистов, к созданию собственной утопии...

Только марксистская социология, которая понимает человеческую природу в абсолютно и исключительно динамическом смысле, которая стоит на той точке зрения, что человеческая природа безостановочно творит и изменяет себя уже в силу процесса обмена между человеком и средой,—процесса обмена, заключающегося в удовлетворении человеческих потребностей,—только марксистская социология дает нам возможность избегнуть противоречий, только она доводит позитивизм последовательно до конца даже против самого Огюста Конта.

Подведем итоги. Аналогии и различия между позитивизмом и марксизмом в общем и целом вытекают из одного общего источника. Исходным пунктом обеих теорий служит общая реакция XIX века против рационализма,—реакция, выражающая недовольство известных классов экономическими результатами буржуазной революции. Но в то же время, как в этом концерте Бональды, де-Местры, Галлеры и др. являются представителями аграриев, Конт представляет производительную мелкую буржуазию, а марксизм—промышленный пролетариат. Эти три класса занимают три различные позиции и представляют нам три последовательные ступени ретроспекции, стремящейся стать революционной. Первый класс всецело очарован средневековьем и стремится к почти полной его реставрации; второй класс (и вместе с ним Конт, признававший себя интеллектуальным сыном двух совершенно различных отцов—де-Местра и Кондорсе) связывает с мечтой об устойчивости средневековья известную сумму завоеваний буржуазной революции и стремится задержать социальную эволюцию, развернувшуюся под влиянием этой революции, на таком пункте, где он, как класс, может лучше всего устроиться. Наконец, пролетариат, который уже в силу своего положения отрицает весь буржуазный строй, отрицает также оба предыдущих строя, подготовивших капитализм,—рабское и феодальное хозяйство,—и его ретроспекция идет глубже рабочей и социальной организации средневековья: она проникает до свободы и равенства античного или первобытного коммунизма, в то же время связывая с ними все завоевания настоящего. Конт, если

позволительно так выразиться, удалился от простого традиционализма на четверть окружности; марксизм удалился еще на одну четверть и стал, таким образом, на противоположном полюсе. Он—руководящая мысль пролетариата. И так как пролетариат является единственным элементом, совершенно отрицающим классовое общество, и притом на основании деятельности основных движущих сил самого этого общества, то он является также единственным классом, социальная философия которого может быть бесстрашно и бесжалостно монистической.

---

# КАРЛ КАУТСКИЙ.

## Три кризиса марксизма.

Когда 14 марта 1883 года Карл Маркс навсегда закрыл свои глаза, марксизм решительно шествовал вперед, но он был еще далек от того, чтобы покорить себе весь международный социализм. За несколько лет до того марксизм,—мы говорим здесь о теоретическом и практическом влиянии марксовского учения,—пережил свой второй кризис. Первый кризис разразился одновременно с контр-революцией после 1848 года.

И в марксизме периоды расцвета сменялись периодами кризиса, преодолев которые, он постоянно завоевывал новую почву.

Сороковые годы были временем быстрого роста социалистической мысли и самостоятельности рабочего класса в Западной Европе. Но так же быстро расло влияние Маркса и Энгельса на самые развитые части пролетариата. Международный союз коммунистов всецело принял в 1847 году их точку зрения и об'явил „Коммунистический манифест“ своей программой. И когда в 1848 году вспыхнула революция, главным органом революционной Германии стала выходившая под редакцией Маркса „Новая Рейнская Газета“.

Іюньская резня положила конец этому развитию. Реакция повсюду восторжествовала,—и в той же мере, в какой успех революционного движения особенно благоприятствовал марксизму, упадок революции нанес ему жестокий удар. Марксизм не только потерял свои публицистические органы в Германии, не только пережил полный разгром своих организаций со стороны полиции и юстиции, но даже сама демократия отвернулась от него и стала систематически зажимать ему рот, как в Германии, так и в изгнании.

С глубоким презрением отнесся Маркс к эмигрантским дрязгам и занялся изготовлением нового оружия для того грядущего под'ема в социалистическом движении, в наступлении которого он ни на один момент не сомневался даже в самые мрачные дни реакции.

И этот под'ем пришел к началу шестидесятых годов. Тогда начался второй период в развитии марксизма.

Шире и сильнее, чем до революции, разлилось повсюду рабочее движение. Для развития своей деятельности оно нуждалось в просвещении и организации. Маркс дал ему то и другое. Он не был осно-

вателем „Интернационала“, который, вообще, не был делом рук отдельного человека, но он сумел собрать воедино все разнородные силы „Интернационала“ и направить их в одно общее русло, благодаря чему международное пролетарское движение приобрело такую силу, какой оно не достигло бы без него.

А спустя несколько лет после основания „Интернационала“ он, обнародовав „Капитал“, дал человечеству глубочайшее из всех существовавших до тех пор пониманий хозяйственного механизма современного общества.

Промежуточные годы 1864—1870 были годами гордости для марксизма, который опять шел от победы к победе, все больше завоевывая доверие рабочего класса, но в то же время все больше возбуждая злобную враждебность со стороны господствующих классов.

Но вот произошло восстание и поражение Парижской Коммуны, и это поражение стало таким же поворотным пунктом для „Интернационала“, как июньская резня для революционной демократии 1848 года. Оно привело в движение всю ярость господствующих классов против этой, возбуждавшей всеобщий страх, организации и против ее руководителя. Организация же ответила на удвоенную и утроенную ярость нападения не более тесным сплочением своих рядов, а расколом, междоусобной войной, носившей гораздо более злобный и разрушительный характер, чем раздоры среди демократической эмиграции после 1848 года.

Маркс, как уже было замечено, сумел с большим искусством и терпимостью сплотить разнородные элементы „Интернационала“—прудонистов и бланкистов романских стран, английских трэд-юнионистов,— но согласовать их деятельность становилось все труднее. Последние конгрессы „Интернационала“ перед 1870 годом обнаружили уже большие разногласия, особенно по аграрному вопросу, в котором мелкобуржуазные прудонисты, поклонники крестьянского хозяйства и частной собственности на землю, противостояли сторонникам сельского хозяйства, располагающего всеми средствами новейшей техники и новейшего знания, и сторонникам общей собственности на землю.

Победоносное движение вперед удерживало еще противоположные элементы вместе. Препятствия, созданные поражением Коммуны, способствовали проявлению враждебного отношения со стороны всех немарксистских элементов, выступивших с целым рядом упреков и обвинений.

Эти враждебные Марксу элементы сплотил Бакунин, но совсем не с той целью, что Маркс, не для общей положительной работы, а лишь для того, чтобы окончательно порвать все еще соединявшие их узы. Бакунину удалось разрушить марксовский Интернационал, но ему не удалось создать на его месте другого. После Гаагского конгресса в 1872 году „Интернационал“ распался.

Марксизм вступил тогда во второй период своего упадка. Во Франции все рабочее движение было убито, в других романских странах господствовал анархизм, английские трэд-юнионы послушно следовали за буржуазными партиями, в Германии боролись еще лассальянцы и эйзенахцы, в Австрии движение превратилось из ярко пылающей соломы в кучу золы, в которой едва тлелось еще несколько искр.

И „Капитал“ Маркса, великое его произведение, от которого он ожидал революции в умах, остался незамеченным.

Так, первая половина семидесятых годов принесла Марксу и Энгельсу столько же разочарований, сколько успехов им принесла вторая половина шестидесятых годов.

Поворот в сторону нового расцвета пришел на этот раз не из Франции и не из Англии, а из Германии. Германская социал-демократия осталась незатронутой всеобщим упадком, наступившим в рабочем движении с поражением Коммуны и с распадением Интернационала. В 1874 году она одержала блестящую победу на выборах, которая вызвала против нее в Пруссии эру преследований, но это повело лишь к тому, что враждующие братья нашли друг друга (в 1875 г.). С тех пор наша партия непрерывно развивалась, и даже закон против социалистов не оказал значительного влияния на ее рост.

Вскоре затем марксизм стал оживать и во Франции, вытесняя узкий трэд-юнионизм; в 1876 году была основана „Egalité“, которую редактировал Жюль-Гэд совместно с Лафаргом, Девилем и другими, а в 1879 г., на конгрессе в Марселе, была конституирована марксистская рабочая партия.

В Бельгии рабочие тоже стали во второй половине семидесятых годов приходить в движение, и если не теоретически, то практически они все же становились на точку зрения германской социал-демократии. Основанная в 1879 году социалистическая партия Бельгии есть партия классовой борьбы, которая стремится к завоеванию политической власти для освобождения рабочего народа; но это, ведь, и составляет характерную черту практического марксизма.

Около того же времени проснулось также и голландское рабочее движение из той спячки, в которую оно впало после Гаагского конгресса,—и социал-демократический союз в Амстердаме принял программу немецкой социал-демократии.

В Дании, к концу семидесятых годов, наметился также значительный под'ем социал-демократии.

Маркс дожил и до пробуждения марксовского социализма в Англии и также,—что особенно его воодушевляло,—до славной геройской борьбы, которую русские революционеры вели к концу семидесятых и к началу восьмидесятых годов против абсолютизма; он с воодушевлением следил за их борьбой и помогал им, где только мог, советами и личными связями.

Но пробуждение социал-демократического революционного движения и то влияние, которое имел на него Маркс, сломали, наконец, также и лед профессорской системы полного замалчивания. Ученые начали критиковать „Капитал“ и „научно опровергать“ его. Но большего и не требовалось для того, чтобы труд Маркса стал известен и широко распространил свое влияние на умы.

С этого времени влияние Маркса расло в той же мере, как и попытки его „опровержения“.

Но все-таки, когда Маркс умер, нельзя было еще сказать, чтобы его взгляды и основанная на них практика подчинили себе международное рабочее движение. Прежде всего романские страны находились еще во власти бакунизма и прудонизма, и как-раз ко времени смерти Маркса особый вид бакунизма охватил также и Австрию.

Еще уже сферы практического влияния марксизма была тогда сфера его *теоретического* влияния. Даже в Германии, где понимание марксовой теории стояло наиболее высоко, влиянием пользовались еще взгляды Дюринга, Родбертуса, Альберта Ланге, не говоря уже о ветеранах 48-го года, как Иоганн Якоби и Риттингаузен.

Когда в 1877 году германская социал-демократия начала издавать научный орган „Zukunft“, то он не только не стал на точку зрения Маркса, но стал проводить прямо-таки антимарксовскую программу, и это не вызывало ни одного голоса протеста. Другая социалистическая газета, появившаяся тогда на немецком языке („Neue Gesellschaft“ в Цюрихе), была, вообще, без программы.

И вдруг, как бы под влиянием одного удара, все это изменилось. Не прошло еще десяти лет, как марксизм подчинил себе почти весь социалистический мир, что ясно показали международные конгрессы, особенно конгресс 1893 года. Овации, устроенные на этом конгрессе Фридриху Энгельсу, относились не только к личности ветерана международного социализма,—оне относились также к тому учению, одним из основателей которого он был.

Марксизм подчинил себе весь славянский социализм; он совершенно вытеснил в романском мире анархизм; в Англии он, в лице нового трэд-юнионизма, снова приобрел влияние на профессиональные союзы.

И не только практический марксизм, но и теоретический, занял такое господствующее положение. Многообразие социалистических теорий исчезло; одна только сохранила значение—теория Карла Маркса. Теоретики, еще имевшие в начале восьмидесятых годов влияние на широкие круги рабочих и социалистической интеллигенции—Прудон, Родбертус, Дюринг, Ланге, Генри Джордж, Шеффле, — потеряли все значение для рабочего движения и для социалистического мышления. Та теория, которая в романской социал-демократии еще сохранялась возле марксизма,—„интегральный“ социализм Малона,—не была

оригинальной, цельной теорией, а лишь пестрой смесью всевозможных систем: прудонизма, марксизма, позитивизма, шеффлеизма и т. д.

Но это широкое распространение марксизма совершалось слишком быстро, шло слишком большими прыжками вперед, и потому не могло быть прочным. Марксизм стал среди социалистического поколения модой, которой каждый должен был следовать, если он не хотел прослыть „отсталым". Но ни одна теория не призвана стать модной философией так мало, как марксизм, который так глубок и в то же время так реалистичен, который не позволяет оставаться на поверхности вещей и в то же время не позволяет отделываться мистическими и мистифицирующими фразами от трудностей более глубокого анализа явлений. Для понимания Маркса необходимо некоторое знание и неутомимое стремление проникать все глубже. Впервые знакомящийся с марксизмом поймет его всегда плоско и вульгарно; необходимо постоянно расширять запас своих знаний и с приобретенными знаниями снова и снова браться за изучение марксовских произведений, ибо только таким путем можно их понять и разрешить противоречия, существующие между поверхностью и сущностью вещей, между их кажущимися поверхностными и их действительными глубокими отношениями.

Марксизм, как и всякую более глубокую философию, надо брать с бою. Для этого у человека моды нет ни времени, ни охоты. Несколько плоских формул, к которым „марксисты по моде" свели марксизм, оказались для них слишком скоро в неразрешимом противоречии с действительностью; неудивительно, что виновником этого они стали считать марксизм. Они не обратились к проверке своих взглядов посредством более глубокого анализа, а просто перешли по вопросу о марксизме к порядку дня. При этом они вовсе не замечали, что то идейное содержание, которое они критиковали и „исправляли", было ничем иным, как их собственным духовным детищем.

Но если бы даже марксово учение было более поверхностным, все же отпадение поклонников моды оказалось бы неизбежным, ибо самая сущность моды состоит, ведь, в постоянной перемене: человек моды хочет бросаться в глаза, хочет отличаться тем, что он-де поклоняется новейшей моде в то время, когда масса держится еще прежней моды, которая уже устарела. Если какая-нибудь мода стала всеобщей, то для человека моды наступило время сменить ее другой. Так, иным молодым людям нравилось быть марксистами до тех пор, пока они выделялись этим среди своих приятелей. Но когда этот марксизм потерял прелесть новизны, они сразу убедились, как сильно он устарел, и в них появилась потребность в его пересмотре.

Так наступил последний кризис марксизма, который теперь в сущности своей уже преодолен. С чувством удовлетворения можем мы теперь, в двадцатилетнюю годовщину Маркса, констатировать, что этот кризис принес марксизму гораздо меньше вреда, чем предыдущие.

Прежде всего, он совсем не затронул главного — практического марксизма, что и понятно. Прежние кризисы марксизма были следствием крупных практических поражений; они гораздо больше влияли на практическое движение, чем на теоретическое. Новейший же кризис, напротив, наступил посреди полнейшего расцвета практического марксизма. У него не было никаких внешних поводов, если не считать таким поводом смерть второго из творцов марксизма.

Могут, пожалуй, указать на Францию и Италию, как на страны, в которых марксизм, мол, падает. Но там отошли от него только те элементы, которые лишь недавно к нему проникнули. А открыто и решительно отказаться от классовой борьбы не посмели даже сторонники солидарности классов в социалистических партиях этих стран. Они не противоставляют решительной тактике классовой борьбы другую тактику, довольствуясь лишь требованием свободы мнений и автономии, подразумевая под этим уничтожение всякой дисциплины. Но, на-ряду с ними, в этих странах существуют отборные отряды марксистского движения, сила и сплоченность которых с 1893 года скорее возрасли, чем упали. А относительному упадку во Франции и в Италии противостоят огромные успехи в других странах. В Голландии анархический кризис, который десят лет тому назад был еще так силен, теперь совершенно преодолен, и практический марксизм там процветает. В Америке образовалась, наконец, настоящая американская социал-демократия, которая может уже похвалиться большими успехами. За этим следует еще Россия, где в 1893 году движение было совсем раздавлено. Мощно выступает там молодой пролетариат и идет при этом, именно, по марксистскому пути. А каждый шаг действительного движения, по известному изречению Маркса, важнее дюжины программ.

Но новейший кризис в марксизме не привел до сих пор также к принципиальному пересмотру нашей программы, за исключением разве Франции, где министерский социализм об'являет в своей программе социалистическое движение продуктом как классовой борьбы, так и „Декларации прав человека“ французской революции,—противоположностью либерализма и в то же время следствием его.

Никакой теории, на которую могла бы опереться эта своеобразная программа, не существует. Новейший кризис в марксизме, вообще, не создал теории, которая могла бы быть противопоставлена марксизму. Несмотря на обилие критик и на всевозможные упреки в тех или иных недостатках, *марксизм* все же *является теперь, как и десять лет тому назад, единственной цельной и законченной теорией социализма.* Все теории, расцветавшие еще ко времени смерти Маркса, теперь окончательно забыты, а новые еще не появились. Даже недавняя попытка Давида не представляет собою новой теории *общества*, а только новую теорию одной из частей общества—*сельского хозяйства*,—которую Давид

механически отрывает от всего общества и противопоставляет ему. Для индустрии Давид признает марксизм, а по отношению к сельскому хозяйству он—нео-прудонист. Впрочем, сам он думает, что держится марксовского метода, который он считает правильным. Об этой попытке мы подробнее поговорим в другом месте.

Ревизионизм не означает ни дальнейшего развития марксизма, ни смены его другим учением; он означает, в сущности, отказ не только от марксовской, но и от *всякой, вообще, общественной теории*; и в этом отношении он так относится к марксизму, как историческая школа политической экономии—к классической школе.

Когда школа Рикардо исчезла, ее сменила не новая, высшая система политической экономии, а историческая школа, которая возвела необходимость в добродетель и об'явила всякое исследование более глубоких экономических отношений пустым умозрением, которое будто бы находило себе оправдание лишь до тех пор, пока не было еще достаточного фактического материала в экононоимческой науке. Теперь же искание общих экономических законов является чем-то устарелым. Экономическая жизнь слишком, мол, богата и разнообразна, чтобы ее можно было подвести под общие законы. Не всеобщее, а единичное составляет предмет новейшей экономической науки, не *исследование* законов, а только *описание* хода развития и его результатов. *Условие* науки является для нее *сущностью* науки.

Конечно, можно и таким путем дать науке много ценного, и историческая школа имеет значительные заслуги, особенно в области истории хозяйства. Не надо, конечно, забывать, что и описательная наука, если она не желает оставаться простым бесцельным накоплением единичных фактов, должна исходить из известных теоретических принципов, руководясь которыми она выбирает встречающиеся ей факты, выделяет типичные и группирует их. Так, например, статистика в последние десятилетия дала нам возможность видеть многие вещи яснее, чем это было доступно Рикардо и Марксу при всей силе их абстрактного мышления. Но первым условием полезной статистики является целесообразная постановка вопросов, а это предполагает более глубокое теоретическое понимание подлежащих рассмотрению вещей.

Историческая школа не была бы никогда в состоянии совершить и того, что она совершила, если бы она, в большинстве случаев бессознательно, не руководилась в своих исследованиях столь презираемым ею абстрактным методом великих экономических теоретиков. С другой стороны, не надо забывать, что если классическая экономия и равным образом Маркс не обладали результатами новейшей статистики, то все же они вполне использовали весь экономический материал своего времени. Это легко теряют из виду оттого, что их метод *изложения* смешивают с их методом *исследования*. Разница эта, правда,

тоже „устарела“. Наши новейшие победители Рикардо и Маркса большею частью спешат сейчас же занести на бумагу всякую запавшую в голову мысль, всякое наблюдение и возвестить свое „открытие“ urbi et orbi, и лишь после этого они начинают думать над тем, что, собственно, означает их великое открытие.

Методы исследования и описания у них совпадают, если, вообще, позволительно говорить здесь о методе. Как ни один современный купец не выставляет всего своего запаса товаров в витрине, так ни один современный экономист не выставляет в своих сочинениях всего фактического материала, которым он располагает. Что на основании огромного фактического материала можно дать абстрактное изложение,—это кажется представителям „новейшей науки“ немыслимым. Абстрактное изложение кажется им высосанным из пальца, самокувырканием в пустом пространстве.

Подобно тому, как историческая школа, хотя она означает в теоретическом отношении шаг назад, могла все-таки обогатить науку единичными ценными исследованиями, так и ревизионизм, несмотря на то, что он означает шаг назад по отношению к Марксу, может все же способствовать дальнейшему развитию общественной мысли,—если она, вообще, имеет право считать себя особым научным направлением, а не только простым восстановлением того вульгарного социализма чувства, который еще в семидесятых годах составлял символ веры каждого среднего социалиста и который боязливо скрылся перед марксизмом, только таким образом избегнув полного уничтожения; и только последний кризис в марксизме дал ему опять смелость показаться на свет и даже выступить в роли победителя марксизма.

Ревизионизм сможет совершить многое в научном отношении, если только он будет ясно сознавать границы того, что он в состоянии выполнить, и, подобно исторической школе, сделает центром тяжести описание хода развития и его результатов. Так, например,—мы назовем здесь только двоих,—*Веббы* своей историей английского тредюнионизма и *Туган-Барановский* своей историей русской фабрики дали, без сомнения, выдающиеся научные труды и способствовали углублению нашего взгляда на общество.

Но там, где ревизионизм отважится вступать в теоретическую область,—в роли критической или же положительной, развивающей теории,—там он будет терпеть постоянные поражения, так как он не представляет собой никакой новой законченной и цельной теории, а лишь отклонение или искажение единственной существующей ныне в социализме теории—марксизма.

Но так как ревизионизм отличается от исторической школы тем, что он хочет стоять не на буржуазной, а на пролетарской точке зрения, то он часто принужден делать опыты и в области теории,—и в этом, именно, одна из самых слабых его сторон.

Развивающийся класс, который не в силах добиться в рамках того общества, в котором он существует, полного равенства и свободного развития, должен, если он обладает известной степенью сознательности, неизбежно придти к той мысли, что на место господствующей общественной формы необходимо поставить другую, отвечающую его интересам,

Но он не может ставить себе этой цели, не развивая в то же время законченной теории общества. Характер этой теории зависит от общего уровня знания данного класса; она может, при известных обстоятельствах, быть очень наивной и все же вполне отвечать своей исторической роли, но она должна всегда согласоваться с общеобязательными научными взглядами и распространяться на всю совокупность общественных явлений. Так и буржуазия, когда она стала сознавать свои интересы и захотела сообразно им перестроить общество, стала нуждаться в широкой общественной теории, которую ей и дала классическая политическая экономия физиократов и Смито-Рикардовской школы. Эта теоретическая потребность исчезла у буржуазии, когда она, достигнув власти, стала стремиться уже не перестроить все общество, а скорее сохранить его, исправив только в частностях. С тех пор историческая школа стала адэкватным выражением ее научной потребности. Появление этой школы не было случайностью.

Но то, что у буржуазии могло существовать продолжительное время, то у пролетариата, при его классовом положении, может быть только случайным явлением, возникшим в особых местных или временных условиях, в которых в течение последних десятилетий жил организованный в профессиональные союзы пролетариат Англии, а от 1896 до 1900 г.—также пролетариат всего капиталистического мира. Пролетариат не может достигнуть в нынешнем обществе той социальной свободы и равенства, которые ему необходимы. Он должен поэтому неизбежно враждебно относиться к существующему обществу, он вынужден думать о преобразовании всего общества,—другими словами, он неизбежно должен быть революционным. Поэтому-то пролетариат требует цельной и законченной теории всего общества, с помощью которой он мог бы обосновать свое стремление к переустройству всего общественного здания.

Пока господствовала классическая политическая экономия, он мог заимствовать у нее свою общественную теорию, применяя ее сообразно своим потребностям, но в настоящее время только научный социализм, то-есть исходящее из пролетарской точки зрения научное исследование общества, в состоянии дать ту теорию, которая необходима пролетариату.

Теоретическая потребность, исчезнувшая в буржуазии с тех пор, как последняя стала консервативной, все более усиливается в пролетариате, как следствие его классового положения. Потому-то он и не

может долго довольствоваться той переделкой на пролетарский лад исторической школы, которую представляет собой ревизионизм; с другой стороны, этот способ мышления исторической школы должен пробуждать в его носителях консервативные наклонности (консервативные в общественном, а не в политическом смысле), страх перед всяким радикальным изменением общества и направление всех стремлений на частные формы и частные явления. Таким образом, ревизионизм, если он хочет последовательно развиваться, т.-е. быть в состоянии практически действовать, приходит в неизбежный конфликт с социализмом. Если же он хочет оставаться верным социализму, то он постоянно вынужден обращаться к крупным вопросам общественной теории, и тут он снова попадает в заколдованный круг марксизма, если только не предпочитает попасть в заколдованный круг либеральной буржуазии. Ибо, как уже было сказано, другой теории научного социализма он не найдет.

Кто считает себя способным дать лучшую теорию, тот пусть это сделает. Но это мог бы совершить лишь выдающийся ум; если бы это удалось, это было бы одним из величайших завоеваний человеческого ума.

Пока же не видно и зародышей этого гиганта мысли. А посредством взглядов исторической школы нельзя ни исправить марксизма, ни дальше развить его, ни вовсе искоренить.

Не так это просто. Поэтому ревизионизм так же мало мог теоретически разрушить марксизм, как оппортунизм мог сделать это практически. Он только уничтожил марксизм моды. Но по этому поводу мы не прольем ни слезинки. Жизненная сила борющегося и исследующего марксизма, напротив, так же возрасла после третьего кризиса, как и после первых двух.

Теперь, двадцать лет спустя после смерти нашего великого учителя, свет, который он пролил на сущность человеческого, и специально-буржуазного, общества, более чем когда-либо служит путеводной звездой, за которой мы следуем, ибо она показывает нам кратчайший и наименее тернистый путь к конечной цели: к освобождению пролетариата и тем самым к освобождению человечества от проклятия капитализма.

## Указатель литературы об историческом материализме на русском и иностранных языках.

**Абрамовский, Эд.** Исторический материализм и принцип социального явления. М. 1900 (пер.).

**Его же.** Психологические основания социологии. М. 1900 (пер.).

**Адлер, А.** История социализма и коммунизма. П. 1907 (пер).

**Адлер, М.** Лассаль и Маркс как выразители идеалистического и материалистического понимания истории. „В. Зн.“, 1905, № 1 (пер.).

**Айзенштадт, А.** Рецензия о книге Штаммлера, „Н. Кн.“, № 14.

**Аксельрод, Л.** (Ортодокс). О „Проблемах идеализма“. Од. 1905.

**Ее же.** Философские очерки. Ответ философским критикам исторического материализма. П. 1906.

**Ее же** Проблемы этики в современном освещении. „Соврем. М.“. 1907 *).

**Алексеев.** Разложение марксизма. „Нов. П.“. 1904.

**Андлер, Ш.** Историческое введение и комментарий к коммунистическому манифесту К. Маркса и Ф. Энгельса. М. 1906 (пер.).

**Андреев, Ник.** Диалектический материализм и философия Иосифа Дицгена. „Совр. М.“, 1907, XI.

**Арнольди,** см. Лавров.

**Базаров, В.** Авторитарная метафизика и автономная личность (в „Очерках реалистического мировоззрения“; см )

**Барт, П.** Понятие истории. „Н. Об.“, 1899, VII (пер.).

**Его же.** Философия истории как социология. П. 1903 (пер.).

**Бебель, А.** О Беренштейне. Од. 1905 (пер.).

*) В трех книжках, главным образом, посвящ. разбору кн. Каутского: „Этика и матер. поним. истории“.

Проф. С. Семковский.

**Бельтов,** см. Плеханов.

**Б. П** К вопросу об исторической необходимости. „Р. Б.“, 1897, IX.

**Его же.** Задачи понимания истории. „Р. Б.“. 1898. X.

**Его же.** К вопросу о понимании истории. „Р. Б.“ 1899, II, III, VI и VII.

**Бердяев. Н.** (см. также Berdjajieff). Борьба за идеализм „М. Б.“, 1901, VI.

**Его же.** Суб'ективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о г. Михайловском. С предисловием П. Струве. П. 1901 *).

**Его же.** Критика исторического материализма. „М. Б.“, 1903, X.

**Его же.** Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906 г.г.). П. 1907.

**Берлин, П.** Рецензия о кн. Eleutheropulos'a (см.) „Ж.“, 1900, V.

**Его же.** К вопросу о значении философии Гегеля для основных положений марксизма. „Ж.“, 1900, VIII.

**Его же.** Массарик против Маркса. „Н. Об.“, 1900. X.

**Его же.** О бернштейнианстве. „Ж.“, 1091, II.

**Его же.** К генезису материалистического понимания истории. „Обр.“ 1904, XI.

**Его же.** Библиографические заметки к изучению марксизма. „Н Кн.“ №№ 5 и 11.

**Берман, Я.** Марксизм или махизм. „Обр.“, 1906, XI **).

**Его же.** Социал-демократическая философия. „В. Ж.“, 1907, I.

**Бернацкий, М.** Ортодоксальный марксизм и ревизионизм, „Обр.“, 1906. VII.

*) См. в „Философских очерках“ Аксельрод статью: „Почему мы не хотим итти назад“.

**) Критика книги Плеханова: „Критика наших критиков“.

**Бернштейн, Эд.** Исторический материализм. П. 1901 (пер.).

**Его же.** Очерки из истории и теории социализма. П. 1902 (пер.).

**Его же.** Возможен ли научный социализм? С ответом Плеханова. Од. 1906 (пер.).

**Богданов, А.** Краткий очерк экономической науки. 9-е изд. 1906 г.

**Его же.** Основные элементы исторического взгляда на природу.

**Его же.** Познание с исторической точки зрения. П. 1901.

**Его же.** Из психологии общества. П. 1904.

**Его же.** Обмен и техника (в „Очерках реалист. мировоззр."; см.).

**Его же.** Отзвуки минувшего („От марксизма к идеализму". Сборник статей С. Булгакова). „Обр." 1904, I.

**Его же.** Эмпириомонизм. Статьи по философии. М. 1904—Кн. 2-ая. М. 1905 —Кн. 3-я. П. 1906.

**Его же.** Революция и философия. П. 1906.

**Булгаков, С.** О закономерности социальных явлений. „В. Ф. и Пс." 1896 V.

**Его же.** Закон причинности и свобода человеческих действий. „Н. Сл", 1896 Май *).

**Его же.** Хозяйство и право (в „Сборнике общих юридических знаний", под редакцией Гамбарова). П 1899.

**Его же.** Основные проблемы теории прогресса (в „Проблемах идеализма"; см.)

**Его же.** От марксизма к идеализму. Сборник статей. П. 1904.

**Бюхнер, Л.** Дарвинизм и социализм, или борьба за существование и современное общество. М. 1907 (пер.).

**Валентин (Ольгин).** О материалистическом понимании истории. Опыт популярного изложения. 1907.

**Вандервельде, Э.** Идеализм в марксизм. Од. 1905 г. (пер.).

**Его же.** Социалистические этюды. Социализм и религия. Социализм и искусство. П, 1906. (пер.).

**В. В.** Очерки современных направлений. Экономический материализм на русской почве. „Н. Сл." 1895, XI и XII.

*) По поводу ст. Струве: „Свобода и историческая необходимость".

**Вейзегрюн, П.** Конец марксизма. П. 1901 (пер.).

**Винокуров, А.** К вопросу об экономическом материализме. Доклад (оттиск из отчета екатеринославского научного общества за 1903 г.).

**Виппер.** Общественные течения.

**Вольтманн, Л.** Исторический материализм. Изложение и критика марксистского миросозерцания. П. 1901 (пер.).

**Его же.** Теория Дарвина и социализм. П. 1906 (пер.).

**Его же.** Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму. П. 1901 (пер.).

**Воронов, Л.** Свергнутый кумир. Теория Карла Маркса, М. 1902.

**Ветринский, Ч.** Модная теория (по поводу полемики об экономическом материализме). „Н. Сл." 1894, XI.

**Гайдаров.** Штаммлер и его теория социального монизма. „Р. Б." 1902. X.

**Гвоздев.** К вопросу о телеологичности историч. процесса. „Н. Об." 1898, VIII.

**Г. Н.** Материализм и диалектическая логика. „Р. Б." 1898, VI и VII.

**Гольцев, В.** Социология на экономической основе. „Р. М." 1893, XI.

**Гоффман, Карл.** Эгоизм и социализм, или „Я" и общество. П. 1906.

**Гредескул, Н.** Марксизм и идеализм. Х. 1905.

**Его же.** Право и экономика. П. 1906.

**Грейлих, Х.** О материалистическом понимании истории. П. 1905 (пер.).

**Гунтер, С.** Исторический материализм и практический идеализм. 1906. (пер.) *)

**Гуревич, А.** Две формы диалектики. „Нов. П.". 1903, V.

**Давыдов, И.** Что же такое экономический материализм? Критико-методологический очерк. Хар. 1900.

**Его же.** Социологические основы исторического материализма. „Обр." 1903, X—XII.

**Его же.** Мораль долга и идея автономной личности. „Нов. П." 1904, XI и XII.

**Его же.** Исторический материализм и критическая философия. П. 1905.

*) Критика книги Штаммлера: „Хозяйство и право и т. д.".

**Дауге, П.** Философия и тактика. Отдельный оттиск предисловия к „Мелким философским статьям“ Иосифа Дицгена. М. 1907.

**Делевский, Ю.** Диалектика и математика. П. 1906.

**Его же.** Исторический материализм в его логической аргументации. П. 1906.

**Его же.** К вопросу о возможности исторического прогноза. П. 1906.

**Его же.** Экономический материализм и история науки. П. 1907.

**Дживелегов. А.** Оговорки материалистич. понимания истории. „М Б.“ 1900, X.

**Дицген, Иосиф.** Сущность головной работы человека. Новая критика чистого и практич. разума. М. 1906 (пер.).

**Его же.** Завоевания (аквизит) философии и письма о логике. Специально демократическо-пролетарская логика. П. 1906 (пер.).

**Его же.** Экскурсия социалиста в область теории познания. М. 1907. (пер.).

**Его же.** Теория познания в свете марксизма. К. 1907 (пер,).

**Его же.** Философия социал-демократии. Сборник мелких философских статей. М. 1907 (пер.).

**Его же.** Религия социал-демократии. П. 1906 (пер.).

**Его же.** Будущее социал демократии. К. 1906 (пер.).

**Дицген, Евгений** (сын). Предисловие к русскому изданию „Аквизита“ (в изд. Дауге).

**Его же.** Макс Штирнер и Иосиф Дицген. Прилож. к русскому изд. „Экскурсии социалиста и т д.“ (в изд. Дауге).

**Его же.** Биографический очерк Иосифа Дицгена. Прил. к „Сущности головной работы и т. д.“.

**Додд, проф., В.** К вопросу о значении личности в истории. „В. Зн.“. 1903, № 11.

**Житловский, Х.** Материализм и диалектическая школа. М. 1907.

**Засулич, В.** Элементы идеализма в социализме. П. 1906.

**Зелигман, Эд.** Экономическое понимание истории. П. 1906.

**Зибер, Н.** Диалектика и ее приложение к науке. „Слово“, 1879, XI.

**Зомбарт, В.** Социализм и социальное движение. П. 1906.

**Его же.** Карл Маркс как теоретик. „В. Зн.“, 1904, № 3.

**Его же.** Фридрих Энгельс. Изд. „Колокола“.

**Искусство в буржуазном обществе.** Сборник статей Вандервельде, Вальтера, Райха, Берга и Марселя. П. 1906 (пер.)

**Исаев, проф, А. А.** Вопросы социологии. изд. „Вестника Знания“.

**Его же.** Еще о личности и среде. „В. Зн.“ 1908, № 4.

**Кареев, Н.** Сущность исторического процесса и роль личности в истории. П. 1890.

**Его же.** Старые и новые этюды об экономическом материализме. П. 1896.

**Его же.** Основные вопросы философии истории. П. 1897.

**Его же.** Задачи социологии и теории истории. „Н. Сл.“ 1897, IV.

**Его же.** К вопросу о понимании истории. „Обр.“ 99. II.

**Его же.** Экономический материализм. Статья в „Энциклопедическом словаре“ Брокгауза и Ефрона.

**Его же.** Теория личности П. Л. Лаврова. П. 1907.

**Катаев, Н.** К вопросу о теории социального развития. М. 1903.

**Каутский, К.** К критике теории и практики марксизма (Анти-Бернштейн). П. 1905 (пер.).

**Его же.** Очередные проблемы международного социализма (Сборник статей). П. 1906 (пер).

**Его же.** Из истории общественных течений („История социализма“). Изд. „Общ. Пользы“ *).

**Его же.** Этика и материалистическое понимание истории. П. 1906. (пер.).

**Его же.** Карл Маркс и его заслуга перед рабочим движением. П. 1906 (пер.).

**Его же.** Наука, жизнь и этика (пер.)

**Его же.** Пр исхождение м рали. (пер).

**Его же.** Статья о кн. Менгера „Новое учение о нравственности“ (Прилож. к изд. Менгера). П. 1906 (пер.).

*) Коллективный труд *Бернштейна, Гуго. Каутского, Лафарга, Меринга, Плеханова* (пер.).

**Его же.** Коммунистический манифест —плагиат. П. 1906 (пер.).

**Каутский, Иоффе и Бауэр.** Этическая проблема в историческом материализме. (Сборник статей) М. 1907 (пер),

**Келлес Крауз, проф., фон К.** Социология к началу XX века. П. 1905 (пер).

**Его же** Музыка и экономика. П. 1905 (пер.).

**Кестенберг, Л.** Карл Маркс и Фридрих Энгельс. „В. Зн.“ 1905 № 5 (пер.)

**Кистяковский, Б.** Категории необходимости и справедливости при исследовании соц. явлений. „Ж.“ 1900, IV и V.

**Его же.** Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-этических проблем (в „Проблемах идеализма“; см.)

**Климентов** Исторический материализм. „М. Б.“ 1903.

**Койген, д р Д.** Мировоззрение социализма (1 выпуск „Задач социалистической культуры“). П. 1907.

**Коллонтай, А.** К вопросу о классовой борьбе. П. 1905.

**Ее же.** Проблемы нравственности с позитивной точки зрения. „Обр.“ 1905. IX и X.

**Ее же.** Этика и социал-демократия. „Обр.“ 1906. I.

**Краузе, Г.** Развитие философско исторических взглядов до Карла Маркса. П. 1906 (пер.)

**Его же.** Рабочий вопрос в свете материалистического понимания истории. П. 1906 (пер).

**Крживицкий Л.** Из психологии общественной жизни. „Ж.“ 1900, VII.

**Его же.** Генезис идей. Распространение идей. Прошед. и настоящ. П. 1905

**Кроче, Б.** Исторический материализм и марксистская экономия П 1902 (пер.).

**Кунов, Г.** Социология, этнология и материалистическое понимание истории. К. 1906 (пер.).

**Его же.** Философия и общественно-экономические факторы. „В. Зн.“, 1904, № 8 (пер.).

**Его же.** Социально-философские заблуждения. К. 1906 *).

*) Переведена только 1-я статья, критикующая *Штаммлера.* Вторая—направлена против *Л. Штейна.*

**Лабриола, Артуро.** К вопросу о материалистическом взгляде на историю. 1898 (пер.).

**Его же.** Исторический материализм и философия (письма к Сорелю). 1900 (пер.).

**Его же.** К кризису марксизма. К. 1906 (пер.).

**Лавров, П. Л.** Исторические письма.

**Его же.** Задачи понимания истории. М. 1898

**Его же.** Задачи позитивизма и их решения. Теоретики сороковых годов в науке о верованиях. П. 1906.

**Ланессан, А.** Борьба за существование в человеческом обществе „В. Зн.“ 1903, № 4.

**Лафарг, П.** Происхождение религии 1906 (пер.).

**Его же.** Происхождение абстрактных идей. П. 1907 (пер.).

**Его же.** Происхождение и развитие собственности (пер.).

**Лежнев, М. Н.** Маркс и Кант. Критико-философская параллель. Николаев. 1900.

**Лозинский, Евг.** Неокантианское течение в марксизме. (К истории современных этических исканий) „Ж.“ 1900, XII.

**Его же.** Современные этические искания. „Обр.“, 1904, VIII и IX.

**Лориа, А.** Социализм и социальный дарвинизм (пер ).

**Луначарский, А.** Этюды критические и полемические М. 1905.

**Его же.** Заметки философа. „Обр.“, 1906, III, V и VI.

**Люксембург, Р.** Карл Маркс. М. 1906.

**Лютгенау, Франц.** Естественная и социальная религия. П. 1907 (пер.).

**Максимов, Н.** К критике марксизма. М. 1906.

**Маркс *), Карл.** Введение к критике гегелевской философии права. П. 1906.

**Его же (и Энгельса)** Святое семейство, или критика критической критики. Отдельными выпусками в изд. „Нов. Голос.“ П. 1906.

*) Полный перечень сочинений Маркса в хронологическом порядке дает Энгельс в своей статье о Марксе в „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“.

**Его же.** Нищета философии. Ответ на философию нищеты Прудона. С предисловием Фр. Энгельса. Пер. В Засулич, под ред. Г. Плеханова. П. 1906.

**Его же** (и Энгельса). Коммунистический манифест.

**Его же.** К критике политической экономии. (Предисловие). П. 1907.

**Его же.** „Капитал". Т.т. I, II, III и IV.

**Его же.** Собрание исторических работ: 1) Борьба классов во Франции 1848—1850 гг. 2) Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. 3) Революция и контр-революция в Германии. Приложения: I. Фридрих Энгельс. Введение к „Борьбе классов во Франции". II. Карл Каутский. Предисловие к „Революции и контр-революции". М. 1906.

**Его же.** О французском материализме XVIII ст. и тезисы о Фейербахе. Приложение к „Л. Фейербаху" Энгельса. П. 1906.

**Его же.** X глава 2-го отдела в „Анти-Дюринге".

**Массарик, Т.** Философские и социологич. основания марксизма. П. 1900.

**Его же.** Критика марксизма. К. 1905.

**Менгер, А.** Новое учение о нравственности, изд. „Общ. Пользы".

**Меринг, Франц.** Легенда о Лессинге. П. 1907.

**Его же.** Об историческом материализме. П. 1906.

**Милюков, П.** Предисловие к „Очеркам по истории русской культуры".

**Мартов,** см. Лавров.

**Михайловский, Н. К.** „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", Н. Бельтова. „Отклики", т. I. П. 1904.

**Его же.** О г. Туган-Барановском и экономическом факторе в истории. „Отклики", т. I. П. 1904.

**Его же.** Еще о г. Туган-Барановском и экономическом факторе в истории. „Отклики", т. I. П. 1904.

**Его же.** Опять г. Туган-Барановский. „Отклики", т. I. П. 1904.

**Его же.** В последний раз о г. Туган-Барановском. „Отклики", т. I. П. 1904.

**Его же.** Литература и жизнь. „Р. В." 1894. П.

**Его же.** О новых словах и „Новом Слове". „Отклики", т. II, гл. VI. П. 1904.

**Его же.** О народничестве, диалектическом материализме, суб'ективизме и пр. „Отклики", т. II, гл. VII. П. 1904.

**Его же.** О книге г. Бердяева, с предисловием г. Струве, и самом себе. „Последние сочинения" Н. К. Михайловского, т. I, гл. XVIII—XX.

**Михаил, архим.*).** Христианство и социал-демократия. Возрождающийся идеализм в миросозерцании русского общества. От марксизма к „Проблемам идеализма" и „Полярной Звезде".

**Морган.** Первобытное общество. 1900 (пер.).

**Нежданов, П.** Что такое диалектический материализм. „Обр.", 1904, II—III.

**Николаев, П.** Активный прогресс и экономический материализм. Социологический этюд. М. 1892.

**Ньювенгуис, Д.** Распад марксизма. П. 1907.

**N. N.** О пролетарской этике (пролетарское творчество с точки зрения реалистической философии). М. 1906.

**Оболенский, Е.** Новый раскол в нашей интеллигенции. „Р. М." 1895, VIII и IX.

**Оболенский, Л.** Изложение и критика идей неомарксизма. П. 1893.

**Оленов, М.** Так называемый „кризис марксизма". П. 1909.

**Ортодокс,** см. Аксельрод, Л.

**Очерки реалистического мировоззрения.** Сборник статей по философии, обществ. науке и жизни. П. 1904.

**Очерки по философии марксизма.** Сборник статей Базарова, Бермана, Луначарского, Юшкевича, Богданова, Гельфанда и Суворова. П. 1908.

**Паннекук, А.** Религия и социализм. П. 1906 (пер.).

**Пенциас, Б.** К вопросу о материалистическом понимании истории. М. 1906 (пер.).

**Плеханов, Г. В.** К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (Ответ Михайловскому, Карееву и комп.) 2-е изд. П. 1905.

*) Изд. „Свобода и христианство" под ред. архим. Михаила.

Его же. За двадцать лет. П. 1905.

Его же. Критика наших критиков. П. 1906.

Его же. Предисловие к „Коммунистическому манифесту“.

Его же. „Иосиф Дицген“. „Совр. М.“. 1907, авг.

— Предисловие и примечание к русскому переводу „Людвига Фейербаха“ Энгельса.

Подарский, В. Наша текущая жизнь, „Р. Б.“ 1903, ноябрь.

Покровский, М. Экономический матетериализм. М. 1906.

„Проблемы идеализма“. П. 1902.

Прокопович, С. К критике Маркса. П. 1901.

Раппопорт. Философия истории в ее главнейших течениях. Изд. Павленкова.

Риккерт, Г. Границы естественно-научного образования понятий. Логическое введение в исторические науки. П. 1904 (пер.).

Рожков, Н. Значение и судьбы новейшего идеализма в России. „В. Ф. и Пс.“, 1903, П.

Роланд-Гольст, Г. Мистицизм в современной литературе. Метерлинк. П. 1906.

Ея же. Этюды о социалистической эстетике. О жизни, красоте и искусстве. М. 1907.

Русанов. Экономический принцип в социологии. „Дело“, 1881, X—XII.

Р-н. Влияние экономических условий на развитие общества. „М. Б.“ 1897. I.

Сеньобос, Ш. Исторический метод в применении к социальным наукам. М. 1902. (пер.).

Скворцов, П. Журнальное обозрение (Кареев: „Экономический материализм и закономерность социальных явлений“. Струве: „Свобода и историческая необходимость“). „Самарский Вестник“ 1897, №№ 59 и 60.

Слонимский, Л. Ст. в „Вестнике Европы“ 1896—98.

Соловьев, Е. Роль личности в истории и теория прогресса. „Ж.“ 1899, VII—IX.

Его же. Об идеалах. „Ж.“ 1900, V.

Струве, Петр. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Вып. I. П. 1894 (гл. II. „Историко-экономический материализм“).

Его же. Марксова теория социального развития. П. 1906.

Его же. Маркс. Статья в „Энцикл. слов.“ Брокгауза и Ефрона.

Его же. Свобода и историческая необходимость. „В. Ф. и Пс.“, янв.—февр. 1897.

Его же. Еще о свободе и необходимости. „Н. Сл.“ 1897, май *)

Его же. К критике некоторых основных проблем и положений политической экономии. „Ж.“ 1900. III и VI.

Его же. Предисловие к книге Бердяева: „Суб'ективизм и об'ективизм и т. д.“ (см.)

Его же. На разные темы. Сборник статей. (1893—1901). П. 1902.

Суворов, С. Основы философии жизни. „Очерки реалист. мировоззр.“.

Тарасов, К. Мировой рост и кризис социализма. М. 1906.

Тарле, Е. К вопросу о границах исторического предвидения. „Р. Б.“ 1902, V.

Его же. Социология и историческое познание. „В. Е.“ 1902, X.

Трубецкой, кн. Е. К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей в истории. „Проблемы идеализма“.

Туган-Барановский, М. Значение экономического фактора в истории. „М. Б.“, 1895, XII.

Его же. Экономический фактор и идеи. „М. Б.“ 1896, IV.

Его же. Что такое общественный класс. „М. Б.“ 1904, I.

Его же. Психологические факторы общественного развития. „М.Б.“ 1904, VIII.

Его же. Борьба классов, как главнейшее содержание истории. „М. Б.“ 1904, IX.

Его же. Очерки из новейшей истории политической экономии.

Его же. Теоретические основы марксизма. П. 1906.

Его же. Современный социализм в своем историческом развитии. П. 1906.

*) Ответ на ст. Булгакова (См. также в „Философских очерках“ Аксельрод статью: „О некоторых философских упражнениях некотор. критиков“).

**Тюменев, А.** Теория исторического материализма. П. 1907.

**Унтерман, Эр.** Антонио Лабриола и Иосиф Дицген. Опыт сравнения исторического и монистического материализма. П. 1907.

**Его же.** Диалектические этюды. Популярные лекции из области пролетарского монизма. П. 1907.

**Его же.** Наука и революция. Исторический очерк развития теории эволюции и влияние классовых интересов на философские и научные теории. Од. 1907.

**Ферри, Энрико.** Коллективизм и позитивная наука. Дарвин--Спенсер--Маркс. П. 1905.

**Его же.** Эволюция экономическая и эволюция социальная. П. 1906.

**Фин-Енотаевский, А.** Класс и партия. „Обр.“ 1906, XII.

**Его же.** Маркс об искусстве. Изд. Малых.

**Форлэндер, К.** Кант и социализм. Обзор новейших теоретических течений в марксизме. М. 1906.

**Его же.** Неокантианское движение в социализме. М. 1907.

**Его же.** Современный социализм и философская этика. М. 1907.

**Фриче, В.** Художественная литература и капитализм. Ч. I. П. 1908.

**Чернов, В.** К теории классовой борьбы. М. 1906.

**Его же.** Монистическая точка зрения в психологии и социологии. М. 1906.

**Его же.** Суб'ективный метод. М. 1906.

**Чичерин.** Немецкие социалисты. П. 1878.

**Шмидт, К.** Результаты полемики о материалистическом понимании истории. „Самарский Вестник“ 1897. № 37.

**Штаммлер, Р.** Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории. П. 1907 (пер.).

**Его же.** Закономерность правового порядка и народного хозяйства. К. 1905 (пер.).

**Штаудингер, проф., Ф.** Этика и политика. „Задачи социалистической культуры“. 2 й вып. П. 1907.

**Штейнберг, С.** Новая книга об историческом материализме. „Ж“. 1899, III.

**Его же.** Социальная дифференцировка и личность. „Ж.“ 1899, XI.

**Его же.** О социальной закономерности. „М. Б.“ 1900, XII.

**Его же.** Исторический материализм. „Обр.“ 1901, V и VI.

**Его же.** Философия Канта и исторический материализм. „Обр.“ 1901 XII.

**Его же.** Роль личности в истории и обществ. наука. „Н. Обозр.“ 1902, V.

**Штейн, Л.** Социальный вопрос с философской точки зрения. Лекции о социальной философии и ее истории (пер.).

**Штерн, Яков.** Исторический материализм. П. 1906.

**Его же.** Влияние общественных условий на все стороны культурной жизни. П. 1905.

**Щепкин Ю.** Экономическое об'яснение истории. П. 1907.

**Эвелинг Эд.** Чарльз Дарвин и Карл Маркс. (Параллель). К. 1906. (пер.).

**Энгельс, Фридрих.** Анти-Дюринг. (Переворот во всех науках, произведенный г. Дюрингом). Философия—Политическая экономия — Социализм. Изд. „Просвещения“.

**Его же.** Развитие социализма от утопий к науке.

**Его же.** Влияние экономич. условий на развитие общества. „М. Б.“ I. 1897,

**Его же.** Происхождение семьи, частной собственности и государства. П. 1908.

**Его же.** Людвиг Фейербах. С приложениями: I—К. Маркс о французском материализме XVIII ст. II.—К. Маркс о Фейербахе. Пер. с предисловием и примечаниями Г. В. Плеханова. П. 1906.

**Его же.** Из истории первоначального христианства. П.

**Его же.** Роль труда в процессе развития обезьяны в человека. Изд. Малых.

**Юшкевич, П.** О материалистическом понимании истории. П. 1907.

**Его же.** Об эмпириомонизме Богданова. „Книга“ № 21.

**Его же.** О философских направлениях в марксизме. „Н. Кн.“, №№ 2, 3, 7 и 10.

**Яроцкий, В.** Односторонняя теория экономического развития. 1897.

**Его же.** Об'ективная необходимость прогресса. „В. Ф. и Пс.“ 1901, IV и V.

Adler, Max. Sombarts „Historische Socialtheorie". N. Z. 1902/03, I, №№ 16--18.

— Kausalität und Teleologie im Streite um die Wissenschaft. „Marx-Studien"; см.

— Immanuel Kant zum Gedächtnis. Wien u. Leipzig. 1904.

— Das Formal psychische im historischen Materialismus. N. Z. 1908.

— Marx und die Dialektik „Der Kampf". 1908, Heft 6.

Alcuni recenti studi (Di) sulla filosophia di Carlo Marx. Rivista italiana di sociologia, Anno IV, fass. 5, 1900.

Andler. Критика книги Лабриолы в „Révue de Metaphysique et de Morale", 1897, сент.

Asturaro, Adolfo. Il materialismo storico e la sociologia generale. Geneva, 1903.

Aveling, Edw. Students Marx introduction to study of K. Marx Capital. London, 1902.

Barbagallo, Corrado. Pel materialismo storico. Roma, 1899.

— Storiografia, sociologia e materialismo storico. Rivista italiana di sociologia, anno V, fasc. I.

Barth, Paul. Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann. Ein kritischer Versuch. Leipzig, 1890.

— Die Marxsche Geschichtsphilosophie und Ethik. „Deutsche Worte" Jahrg. XIII, 1893.

— Nochmals die Marxsche Geschichtsphilosophie und Ethik (Там же).

— Die sogenannte materialistische Geschichtsauffassung. „Jahrb. f Nat-Oekon u Stat" Bd 66, 1896.

Bebel, August. Die Darwinische Theorie und der Socialismus N. Z. 1898—1899, I.

Беер, М. Серия статей в англ. „Social-demokrat" об истор. мат. I) The rise of the Iewish Monotheism"; янв. 1903.

elfort-Bax, E. Outspoken essays on social subjects; New-York. 1897.

— Outlooks from the new Standpoint.

— Der Socialismus als Weltanschauung. „Die Zeit". 1898, май.

— Die Geschichtstheorie und Philosophie des Socialismus. N. Z. 1904—05 I *)

Berdjajeff. N. Friedrich Albert Lange nnd die kritische Philosophie N. Z. 1899—1800, №№ 33—35.

Bernhard, Georg. Marksismus und Klassenkampf. S. M. 1898, № 3.

Bernstein, Eduard. Ein Schüler Darvins als Verteidiger des Socialismus. N. Z. 1890—1891, I.

— Vom Klassenkampf. S. M. 1906. № 7.

Biermann, W. Ed. Die Weltanschauung des Marxismus. An der materialistischen Geschichtsauffassung u. an der Mahrwertslehre erörtert. Leipzig.

Blaschko, dr, A. Natürliche Auslese und Klassenteilung. N. Z. 1894—95, I.

Block, M. Les theoriciens du socialisme en Allemagne. Système de M. Karl Marx éts. Paris, 1872.

Bonnier. Hegel und Marx. N. Z. 1890—91.

— Spinoza et Marx. „Mouvement socialiste", 1904, № 132.

Bourdeau. Статья в „Journal des debâts", 1898, февр.

Brzozowski. St. Der Geschichtsmaterialismus als Kulturphilosophie. Ein philosophisches Programm. N. Z. 1906.

Chiapelli, Alexandro. Le promesse filosofiche del socialismo. Niapoli, 1897.

— Filosofia e socialismo. Nuova Antologia, juglio 1896.

Ciccotti, Ettore. A proposito del materialismo storico e i suoi avversari. Divenire sociale, marzo, 1905.

*) Критич. ст. *Pannekoek*'а: Historischer Materialismus und Religion.

Contento, Aldo. Della base economica della storia. Giornale degli Economisti, febbraio, aprile, giugno, 1897.

Cornelissen, Christian Ueber den Einfluss der Hegelschen Dialektik auf die socialistische Doctrin von Karl Marx. S. M. 1898.

Croce, Benedetto. Статья в „Devenir social“, 1892, ноябрь.

— Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del Marxismo. Memoria letta all'academia pontaniana. Niapoli, 1897. (Есть и во французском переводе).

— Ció che è vivo e cio chelè morto della filosofia di Hegel. Bari. 1907.

Cunow, Heinrich. Darwinismus contra Socialismus. N. Z. 1889.

— Büchner. Darwinismus und Socialismus (рецензия). N. Z. 1894—95, I.

— Philosophie und Wirtschaft. N. Z. 1899—1900, I *).

— Erkenntnisstheoretische Marx kritik. N. Z. 1900—01, II **).

— Politische Anthropologie. N. Z. 1902—03, II.

— Entgegnung an Woltmann (там же). (Ответ на „Anthrop. u. Marxismus“).

— Die Geschichtsauffassung bis auf Karl Marx. „Vorwärts“, 1908. № 63.

Deville, Gabriel. Philosophie du socialisme.

— Le socialisme contemporain. „Devenir social“, 1896, № 2.

Di Carlo, Eugenio. La concezione materialistica della storia di Carlo Marx. Palermo, 1903.

Diehl, Karl. Wirtschaft und Recht. „Conrads Jahrbücher“. 1897.

Diner-Dènes, I. Marxismus und neueste Revolutionen in den Naturwissenschaften. N. Z. 1907, № 52.

Drill, K. Marx und Kant. Patria. 1906.

Dietzgen, Eugen. Der wissenschaftliche Socialismus und I. Dietzgens Erkenntnisstheorie. N. Z. 1902—03. I.

Dürkheim. Статья в „Revue philosophique“. 1897, декабрь.

Du Sart, H. Le socialisme de Karl Marx. 1.—Vie et oeuvres. 2.—Le materialisme historique. 3.—Le capitalisme „Démocr. Chrètienne“, 1903, mars, juin.

Ehrlich, Otto. Bürgerliche Ideologien. N. Z. 1904—05, II.

— Kant und Dietzgen. N. Z. 1904—1905, II *).

Eleutheropulos, dr., Abr. Wirtschaft und Philosophie. B. I. Die Philosophie und die Lebensauffassung des Griechenthums auf Grund der gesellschaftlichen Zustände. Berlin. 1899.

Engels, Friedrich. Marx. Heinrich, Karl. Статья в „Hand wörterbuch der Staatswissenschaften“, VI, 1892.

— 2 письма от 1890 и 1894 гг. „Socialistischer Akademiker“, 1895. окт.

Enss, Ab. Engels Attentat auf den gesunden Menschenverstand oder der wissenschaftliche Bankerott im Marxistischen Socialismus. Ein offener Brief an meine Freunde in Berlin. Berlin. 1877.

Ernst, dr. Paul. Die Gegner der materialistischen Geschichtsaufassung. „Schweizerische Blätter für Wirtschaft und Socialpolitik“, 1898.

— Karl Marx. „Die Zukunft“, 1897.

Fabietti, Ettore. L'idea del materialismo storico. Edizione dell' „Universitá Popolare“. Milano.

Faggi, Alfredo. Materialismo storico Rivista di Sociologia, anno I.

Falkenfeld, Max. Marx und Nietsche. Leipzig, 1899.

Ferraris. Carlo. E Il matérialismo storico e lo Stato. Palermo, 1897.

— Il materialismo storico e lo Stato Nuovi appunti critici Riforma sociale, 1902.

Foa, Roberto Lazzaro. Materialismo e idealismo. Rivista popolare di scienze. sett. 1906.

Fontana, Pietro. I semplicisti del materialismo storico critica sociale, 1903, №№ 4, 5, 6, 7—8.

— I problemi dei materialismo ztorico, 1904.

Fontenay, K. de. Un paradoxe historique de Karl Marx. „Journ. des Econ.“, 1891, mars et juin.

Flüger, Otto. Idealismus und Materialismus der Geschichte. Langensalza, 1898.

*) О книге Eleutheropulos'a.

**) Критика книги Weisegrün „Der Marxismus u. das Wesen der socialen Frage“.

*) В связи с «Marx-Studien».

Gentile, Giovanni. Una critika del materialismo storico. Livorne. 1897.

— La filosofia di Marx. Studi critici. Pisa, 1899.

Gerlach, Otto. Kant und der Socialismus unter besonderen Berücksichtigung der neueren theoretischen Bewegung innerhalb des Marxismus. Zeitschrift für Socialwissenschaft", 1903.

Göhre, P. Materialismus und Religion. S. M. 1901, іюль.

— Christentum und materialistische Geschichtsauffassung. S. M. 1901, авг.

Goldstern, dr. Julius. Die empiristische Geschichtsauffassung David Humes mit Berücksichtigung moderner methodologischer und erkenntnisstheoretischer Problemer Leipzig. 1903.

Groppali, Alecsandro. Il principio della causalita economica secondo il Marx e secondo il Loria Critica Sociale. 1895.

— Evoluzionismo, darvinismo e materialismo storico. Scanzano, 1897.

Grotz, dr. Gustav. Karl Marx. Eine Studie. Leipzig, 1885.

Gunter, Sadi. Socialismus und Ethik. „S. M.", 1901, I *).

Gystrow, E. Evolutionistische Logik S. M. 1898, № 11.

Hall, Thomas C. The Element of Faith in Marxian Socialism. The international Socialist Review, янв. 1908.

Heine, Wolfgang. Paul Barth's Geschichtsphilosophie und seine Einwände gegen den Marxismus. „Deutsche Worte", 1898.

— Wie ist wissenschaftlicher Socialismus möglish? S. M. 1901, II.

Hilferding, Rudolf. Karl Marx, zum Gedächtniss. „Vorwärts", 1908. № 63.

Huber, Johannes. Die Philosophie in der Socialdemocratie. München, 1885.

Hudry-Menos, E. Ein Wort über die socialistische Ethik der Zukunft. S. M. 1898, № 8.

Huygens, Cornelie. Darvin—Marx, Bernstein als Bestrijder van eine natiur-philosophische. Leer. Amsterdam, 1901.

*) По поводу полемики Schmidts-Woltmann.

— Dietsgens Philosophie. N. Z. 1902—03, I, № 7.

Jaurès, Jean. De primis socialismi Germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et Hegel. Tolosae, 1891 **).

Jentsch, Karl. Zur Kritik des Marxismus. „Grenzboten", 1897.

— Das Ende des Marxismus. „Die Zukunft", 1900, № 3.

Kampffmeyer, Paul. Zur Kritik der Marxschen Entwickelungslehre. S. M. 1898, № 8.

Kampffmeyer. Zur Kritik der philosophischer. Grundladen des Marxismus. S. M. 1905, № 3 *).

Kapelusz, Th. Basis und Veberbau. D. M. 1898, № 3.

Karski. Etwas Geschichtsphil. Zur Bernsteinfrag. S. M. 1899.

Kautski, Karl. Entstehung des Christentums. N. Z. 1885.

— Das „Elend der Philosophie" und daz „Kapital". N. Z. 1886.

— Darwinismus und Marxismus. N. Z. 1894—95.

Koigen. dr. David.. Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Socialismus in Deutscheand (Zur Geschichte der Philosophie und Socialphilosophie des Junghegelianismus).

— Kulturanschauung des Socialismus. Ein Beitrag zum Wirklichkeits-Idealismus. Mit einem Vorwort von E. Bernstein. Berlin, 1903.

Krauz-Kelles, K. Materializm ekonomiczny. Ze wstepem L. Krzywickiego, Kraków. 1907.

Labriola, Antonio. Saggi intorno alia concezione materialistica della storia. In memoria del manifesto dei communisti. Roma 1895.

Labriola, Arturo. Zur Krise des Marxismus. N. Z. 1899—900.

Lafargue, Paul. Статьи в „Devenir social", 1896. дек. и в „Jeunesse socialiste", 1895, февр.

Levi, Alecsandro. Determinismo economico e psicologia sociale. Bologna. 1902.

*) Докторская диссертация на латинском языке.

**) По поводу „Marx-Studien".

Lobrandt. Marx und die Philosophie. Beilage zur Allgem. Zeitung. München, 1897, № 248.

Longobardi, Ernesto Cesare. La posizione scientifica del materialismo storico. Critica Sociale, 1900, № 7.

Lorenz, Ottomar. Die materialistische Geschichtsauffassung zum ersten Male systematisch dargestellt und kritisch beleuchtet. Leipzig, 1897.

Loria, A. La theoria economica della constituzione politica. Torino, 1886.

— Les bases economiques de la constitution sociale. Paris, 1902.

Carlo Marx. „Nuova Antologia", 1883 aprile.

— Marx et la sua dottrina. Milano-Palermo, 1901.

Marx als Philosoph. „Grenzboten", 1902, №№ 12—13.

„Marx, Karl. II. Z. 1902—03, № 23.

„Marx-Studien Blätter" zur Theorie uud Politik des wissenschaftliche Socialismus. Herausgegeben von dr. Max Adler und dr. Rudolf Hilferding. I Band. Wien, 1904.

Massaryk, Th. G. Die wissenschaftliche und die philosophische Krise innerhalb des gegenwärtigen Marxismus Wien. 1898.

— Dis Krise innerhalb der Marxismus, „Die Zeit", 1898, № 213.

Mayer, Adolf. Karl Marx, der Theoretiker des modernen Socialismus. „Deutsche Worte", 1898 № 10.

Menza, Gius. Evoluzioni del socialismo. Carlo Marx et le sue dottrine. Palermo, 1874.

Mehring, Franz. Статья о книге Verländer'a: „Kant und der Socialismus". N. Z. 1899—1900, II.

— Neo marxismus. N Z. 1901—1902, I *).

— Le Manifeste. Communiste „Mouvement socialiste", 1901, № 78.

— Ludwig Feuerbach. N. Z. 1903-1904, II.

— John, Loske N. Z. 1904—05, I.

— Marx und die Junghegelianer. „Vorwärts", 1908, № 63.

Morris, W. and Bax, E. Belfort Socialism, its growth and outcome. London, 1893.

Mühlberger, Arth. Karl Marx und Ludwig Feuerbach. Eine Parallele. „Deutsche Worte", 1893.

— Zur Kenntniss der Marxismus. Stuttgart, 1894.

Müller, Mor. Zur Aufklärung über Socialistisches, Socialdemocratisches und Materialistisches. Stuttgart. 1881.

Natorp, P. Socialpädagogig. Theorie der Willenserziehung auf Grund der Gemeinschaft. Sluttgart. 1899.

Nedow, Alexis. Plechanow versus Ding an sich. S. M. 1899.

Oppenheimer, F. Wissenshaftliche Grundlagen des Marxismus und Revisionismus. Ihrb. der internat Vereinigung f. vergleichende Rechtswissenschaft, 1907.

Pannekoek, Anton. Historischer Materialismus und Religion. N. Z. 1903—04, II. *)

— Klassenwissenschaft und Philosophie. N. Z. 1904—05, I **).

— Marxismus und Teleologie. N. Z. 1904—05, II ***).

— Energie und Wirtschaft. N. Z. 1905—06, I ****).

Penzias, Die Metaphysique der materialistischen Geschichtsanffassung. N. Z. 1905 - 06 (рецензия).

— Marx und Darwin. „Vorwärts", 1908, № 63.

Pasmanik. D. Zur Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung. „Die Zeit", 1897, № 140.

— Die materialistische Geschichtstheorie im Lichte der Thatsachen. „Die Zeit", 1897, № 143.

P. E. Die Marxsche Dialektik und ihr Einfluss auf die Socialdemocratie. „Socialdemocrat", 1894, № 16.

Pearson, prof. Karl. Socialismus und Darwinismus. N. Z. 1897—98, I.

Penna. F. Mortina. Alcune recenti critiche del Marxismo. Leggendo ed annotando Firenze 1904.

*) По поводу книги Koigen'a, „Zur Vorgeschichte" и т. д. См. также в „Философских очерках" Аксельрод статью: „Еще один критик Маркса".

*) По поводу двух статей Göhre; см.

**) Ответ на ст. *Belfort-Bax'a*: Die Geschichtstheorie u. Philosophie des Socialismus.

***) По поводу „Marx-Studien".

****) По поводу „Натур-философии" Освальд-

Penzias dr., A. Die Metaphysik der materialistichen Geschichtsauffassung. Wien. 1905.

Pherson, I. C. Mc. Economis. Determinism and Maptyrdom. The international Socialist Rewiew, янв. 1908.

Plechanow, G. Beiträge zur Geschichte des Materialismus (Holbach—Helvetius—Marx). Stuttgart. 1896.

Poggi, pr. Alfredo. La questione morale vel socialismo (Kant ed il socialismo). Palermo, 1904.

Quessel, L. Der Affe als Erzieber. N. Z. 1906 № 5.

Rappoport, Ch. La philosophie de l'histoire comme science de l'evolution. Paris.

— Le matérialisme de Marx et l'idealisme de Kant.

Revelin. Статья в „Devenir social", 1895 июль.

Richard. Karl Marx et la philosophie de l'histoire. Le materialisme économique et la sociologie comparée. „Revue politique et littéraire, Revue bleue", 1896 oct.

Rocca, V. Recenti interpretationi del marxismo. „Rivista italiana di sociologia", 1899, fasc. 4.

Rümelin, G. von. Die Marxische Dialektik uud ihr Einfluss auf die Taktik der Socialdemokratie. „Zeitschrift f. Staatswissenschaft". Bd. 50. 1894.

Sakazow. Ursprung. Wezen und Grenzen der Theorie. N. Z. 1904—1905. II.

Salvioli Giuseppe. La teoria storika di Marx. Rivista di sociologia, marzo 1895

Schasler, M. Der Materialismus als socialist. Prinzip. „Die Gegenwart" 1882

Schmidt, Conrad. Ein ueues Buch über die materialistische Geschichtsauffassung. „Socialistischer Akademiker", 1896, июль и авг. *)

— Einige Bemerkungen über Plechanows letzten Artihel in der „Neue Zeit" N. Z. 1898—99 № 11 **).

*) Критика книги *Плеханова*: „Beträge zur Geschichte des Materialismus".
**) Ответ на ст. *Плеханова*: „Конрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха Энгельса". См. „Критика наших контиков".

— Was ist Materialismus? N. Z. 1898—99, № 22 (заметка) *).

— Socialismus und Ethik. S. M. 1899.

— Nochmals die Moral. S. M. 1899 **).

— Ueber die geschichtsphilosophischen Ansichten Kants. S. M. 1903, II.

— Bemerkungen über Ethik und materialistische Geschichtsauffassung. S. M. 1906, № 3.

Schytlowzky, Chajim. Beiträge zur Geschichte und Kritik des Marxismus. „Deutsche Worte". 1895 u. 1896.

— Die sogenannte Krise innerhalb des Marxismus. S. M. 1899.

— Die Polemik Plechanows contra Stern und Conrad Schmidt. S. M. 1899.

Scota, Nino-Bixio. Considerazion. sul materialismo storico. Bologna. 1903.

Seignobos. Статья в „Revue critique" 1898, янв.

Simkhowitsch. Die Krisis der Socialdemocratie. „Conrads Jahrbücher", 1899.

Sombart, Werner, Friedrich Engels und der Marxismus. „Zukunft", 1895, № 2.

— Karl Marx und die sociale Wissenschaft. Zum 25 Todestage. Archiv f. Socialwissenschaft u. Socialpolitik, März-Heft, 1908.

Sorel, George. Was uns Vico lehrt. S. M. 1898 № 6.

— Die Ethik des Socialismus. S. M. 1904, № 5.

— Le crisi del socialismo scientifico. „Critica sociale", 1898, № 9.

— Marxismo e scienza sociale. „Rivista italiana di sociologia", 1899, fasc. 1.

— Les polemiques sur l'interpretation du marxisme: Bernstein et Kautsky. „Revue internat. De sociologie", 1900.

— Saggi di critica del marxismo, publicato per cura e con prefazione di Vill. Raca Milano-Palermo, 1903.

— La decomposition du Marxisme. Paris. Bibliotèque du Mouvement Socialiste.

*) Ответ на ст. *Плеханова*: „Материализм или кантіанство". См. „Критика наших критиков".
**) Ответ на ст. *Woltmann*'a: Die Begründung der Moral.

Stammler, R. Materialistische Geschichtsauffassung. Статья в „Handwörterbuch der Staatswissenschaften".

Standinger prof., Franz. Kant und der Socialismus. S. M. 1904, № 2.

— Ein Streit um Erkenntniss. S. M. 1905 *).

Stern, Jacob. Substanz-und Causalitätsidee. S. M. 1904, № 10 **).

— Geschitchsmaterialismus und Philosophie. S. M. 1905, № 2.

Struve, Peter von. Die Marxsche Theorie der socialen Entwickelung. Ein Kritischer Versuch. „Braun's Archiv für sociale Gesetzgebung und sociale Statistik". Berlin, 1899.

Surski. Die kriminal-sociologische Schule als Kämpferin für Interessen der herrschenden Klassen. N. Z. 1903—04, II.

Tischler, d-r. Materialistische Geschichtsauffassung und Mathematik. N. Z. 1905—06, I.

Tönnies, F. Neuere Philosophie der Geschichte: Hegel, Marx Comte. „Archiv f. Geschichte der Philosophie", 1894, № 4.

Tscherkesoff, W. Pages d'histoire socialiste. Doctrines et actes de la Social-Democratie. 1896.

Vorländer, Karl. Zur Kritik der marxistischen Weltanschauung. „Ethische Kultur". 1899, № 50.

— Marx und Kant. Wien, 1904.

— Zur philosophischen Bewegung im Marxismus. „Deutsche Worte". 1904. 10 Heft.

— Die Stellung des modernen Socialismus zur philosophischen Ethik. Eine historisch literarische Skizze. Archiv für Socialwissenschaft u. Socialpolitik. 1906*).

Vandervelde, E. L'dealisme Marxiste. Discours. „Revue socialiste". 1904, fevrier.

Weisegrün, Paul. Das Ende des Marxismus. Leipzig. 1899.

— Der Marxismus und das Wesen der socialen Frage. Leipzig. 1900.

Walter Franz. Die Stellung das Marxismus zur Kunst der Gegenwart. „Sociale Revue." 1901.

Weber, Marianne. Fichtes socialismus nnd sein Verhältniss zur Marxschen Doctrin. Tübingen. 1900.

Weiss, d-r., Z. Josef Dietzgens socialdemocratische Religionsphilosophie. Leipzig. 1906.

Wenkstern. A. Die Karl Marx eigenthümliche materialistische Geschichtsauffassung und Deutschland am Ende des XIX Jahrhunderts. „Ihrb. f. Gesetzgeb, Vervalt, u. Volkswirt". 1898.

— Marx. Leipzig. 1896.

Weryho, Ladislaus. Marx als Philosoph. Bern. 1895.

Woltmann, d-r., Ludwig. Die Darwinische Theorie und der Socialismus. N. Z. 1898—99, I.

— Die Begründung der Moral. S. M. 1899 **).

— Die wirtschaftlichen und politischen Grundlagen des Klassen kampfes S. M. 1900, I (в трех номерах).

— Anthropologie und Marxismus N. Z. 1902—03, II ***).

Zetterbaum, Max. Die Marx Studien. N. Z. 1904—05, I.

*) По поводу дискуссии *Pannekoek—Belfort-Bax*.

**) О теории Маха.

*) Nachtrag: Kautsky und Kant.

**) По поводу статьи *Schmidt'*a: Socialismus und Ethik.

***) Ответ на ст. *Cunow'*a: Politische Anthropologie.

## Дополнение ко II изданию.

**Адлер, Г.** Из истории общественных учений. Пер. под ред. проф. Сперанского, изд. Мартынова. П. 1913.

**Алексеев, Н.** Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов. Очерки по истории и методологии. Ч. I. Механическая теория общества. Исторический материализм. М. 1912.

**Берлин, П.** Карл Маркс и его время, II изд. „Книги". П. 1918.

**Берман.** Диалектика.

**Богданов, А** Философия живого опыта. Популярные очерки.—Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм, наука будущего. П. 1912. изд. Семенова.

**Его же.** Культурные задачи нашего времени. М. 1911.

**Булгаков, С.** Философия хозяйства. Ч. I. Мир как хозяйство изд. „Путь". М. 1912 г.

**Валентинов, Н.** Философские построения марксизма.

**Делевский, Ю.** Социальные антагонизмы и классовая борьба в истории, изд. „Общ. Пользы". П. 1910.

**Ильин, В.** За 12 лет. П. 1908.

**Его же.** Материализм и эмпириокритицизм, изд. „Звено". М. 1909 г.

**Кареев, Н.** Собрание сочинений, т. I. История с философской точки зрения. Изд. „Прометей". П. 1912.

**Его же.** Теория исторического знания. П. 1913.

**Каутский, К.** Размножение и развитие в природе и обществе. Пер. под ред. Н. Рязанова, изд. „Труд". Киев.

**Его же.** Карл Маркс и его историческое значение. Пер. с рукописи под ред. Н. Рязанова, II изд. Петр. Совета Р. и Кр. Деп. П. 1918.

**Ленин,** см. Ильин.

**Лойко, Л.** К пониманию исторического процесса. Под ред. Л. Шишко, М. 1910.

**Луначарский, А.** Религия и социализм. Христианство. Религ. философия. Утопический и научный социализм. П. 1911. Изд. „Шиповник" (см. также ниже „Очерки").

**Малецкий, А. Г.** Туган-Барановский и его „этическое" уничтожение марксизма в журн. „Просвещение", 1912, II кн.

**Мартынов, А.** Главнейшие моменты в истории русского марксизма. В сборнике „Обществ. движение в России в начале XX века", П. 1909.

**Нежданов, П.** Религия и социализм (О Луначарском и Горьком). Новый журнал для всех 1911 г.

**Новгородцев, П. и Покровский, И.** О праве на существование, Социально-философские этюды. Изд. Вольфа, П. 1911.

**Орловский, П.** Карл Маркс, II изд. „Прибой" 1917 (краткая биография Маркса).

**Очерки** по философии марксизма. Философский сборник. Изд. „Зерно". П. 1908, статьи Базарова, Бермана, Луначарского, Юшкевича, Богданова, Гельфанда, Суворова.

**Очерки** философии коллективизма. Сборник статей Вернера, Богданова, Базарова, Луначарского, Горького.

**Памяти Карла Маркса.** Сборник статей (к 25-ти летию годовщины) Невзорова, Рожкова, Базарова, Стеклова, Финна, Румянцева, Ильина (Ленина), Зиновьева, Каменева, Орловского, Таганского, Реннера, Меринга, Р. Люксембург. II изд. к столетнему юбилею с опущением некот. статей, 1918, изд. Петр. Совета Р. и Кр. Деп.

**Плеханов, Г.** Основные вопросы марксизма. Изд. „Наша Жизнь". П.1908.

**Ратнер, М.** Материалистические и идеалистические элементы в системе Карла Маркса. „Русское Богатство" 1912, кн. V и VI.

**Рах-ов.** Марксизм и естествозн. Рига.

**Рязанов, Н.** Ряд статей по марксоведению в „Соврем. Мире" и др. журналах (см. в иностр. указателе).

**Рейснер, М.** Теория Л. Петражицкого, марксизм и социальная идеология. Изд. „Общ. Польза". П. 1908.

**Риккерт, Г.** Философия истор. П. 1908.

**Его же.** Наука о природе и культуре, изд. „Образ.", П. 1911.

**Херасков, И.** Что такое исторический материализм. „Борьба" 1914, кн. VI.

**Чернов, В.** Философские и социологические этюды, изд. „Сотрудник", М. 1909.

**Шишко, Л.** По вопр. истории и социологии. изд. „Сотр.", М. 1909.

**Юшкевич, П.** Материализм и критический идеализм.

**Его же.** Столпы философской ортодоксии. П. 1910.

**Его же.** Идеология и политика. (К вопросу о философии марксизма). „Новая Жизнь"; 1911 г.

---

Adler F., Der „Machismus" und die materialistische Geschichtsauffassung, „N. Z." 1909—10, I (ответная критика Меринга в том же томе „N. Z.").

Adler Max, Marx als Denker. Berlin, ausg. „Vorwärts" (монография к 25-тилетию; рецензия Меринга „N. Z." 1908—09 I).

Belfort-Bax E., Essays in socialism. New u. old, London 1907.

Biermann W—Ed. Die Weltanschauung des Marxismus, Leipzig 1908.

Boudin L. B., Das theoretische System von Karl Marx, пер. с англ. с предисл. Каутского, Stuttg., Dietz 1909.

Dietzgen Ioseph, Erkenntniss und Wahrheit (сб. статей), Stuttg. ,Dietz.

Goldscheid Rudolf, Entwickelungstheorie, Entwickelungsökonomie, Menschenökonomie, Leipzig, Klinknardt, 1908.

Gorter Hermann, Der historische Materialismus (популяр. изложение для рабочих, пер. с голландского с предисл. Каутского). Dietz 1909.

Hahn Friedrich, Das Gesetz der Wirtschaftlichen Konzentration in seiner Beziehnng zum allgemeinen Weltgesetz, „S. M.", 1908 I.

Hammacher Emil, Das philosóphisch-ökonomische System des Marxismus, Leipzig 1909 (730 страниц).

Harpunder Heinrich, Individualismus und Sozialismus, „S. M." 1908 II.

Headley F. W., Darwinism und madern socialism, Lond., 1909.

Hildebrand Gerhard, Sozialismus sitteiches Bewusstsein und Religion. „S. M." 1911 II.

Kampffmeyer Paul, Neue Entwickelungstendenzen seit Marx, „S. M." 1909 I.

— Marx und die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus (там же).

— Produktionsverhältnisse und Produktiokräfte (там же).

— Oëkonomische und technologische Geschichtsauffassung (там же).

— Zur wissenschaftlichen Begründung des Socialismus (там же).

Kautsky K., Friedrich Engels, sein Leben, sein Wirken, seine Schriften.

— Einige Feststellungen über Marx und Engels, „N. Z." 1908—09 I.

Klonowicz St., Karl Marks (1818—1918). Warszawa 1918.

Koigen David, Ideen zur Philosophie der Kultur, München 1909.

Labriola Antonio. Zum Gedächtniss des Kommunistischen Manifestes, перев. с итальянского с предисл. Меринга, Leipzig 1909.

Lafargue Paul, Le determinisme économique de Karl Marx. Recherches sur l'origine et l'evolution des idees de justice, du bien. de l'âme et de dieu. Paris.

Leone Enrico, La revisione del Marxismo, Roma, „Divinire sociale" 1990.

Maurenbrecher Max, Religionsgeschichte und materialistische Geschichtsauffassung, „S. M." 1909 I.

— Zurück auf Marx, „S. M.“ 1910 III.
Mehring Fr., Karl Marx zum Gedächtniss, „N. Z.“ 1907—08 I.
— Karl Marx (монография к столетнему юбилею) 1918.
— Kant, Dietzgen, Mach und der historische Materialismus, „N. Z.“ 1909—10 I.
— Zur Ergänzung des historischen Materialismus (там же).
Müller Hans, Das religiose Moment in der sozialistischen Bewegung. „S. M.“ 1910 III.
Muckle. Die Geschichte der sozialistischen Ideen im 19 Iahrhundert (изд. „Aus Natur und Geisteswelt“, Teubner, Leipzig. 1909).
Nötzel Karl, Zur ethischen Begründung des Sozialismus „S. M.“ 1910 III.
Pannekoek A., Marxismus und Darwinismus, Leipzig.
— Dietzgens Werk, „N. Z.“ 1913 II.
Plenge Johann, Barx und Hegel, Tübingen, 1910.
Ragaz L., Iesus Christus und der moderne Arbeiter. Zürich.
Rickert Heinrich Ge, schichtsphil zophie (ст. в сборнике Виндельбанда. Die Phil sophie im Beginn des 20. Iahrhunderts, Heidelberg, 1910).
Rjasanow N., ряд статей по Марксоведению в „N. Z.“.
Roland Holst Henriette. Iosef Dietzgens Philosophie, gemeinoerständlich erläutert in ihrer Bedeutung für das Proletariat. 1909.
Schmidt Conrad. Zitate zum Revisionismusstreit, „S. M.“ 1903, III.
Schulze-Gävernitz. Marx oder Kant (Freiburg. B. 1908).
Sombart Werner. Das Lebenswerk von Karl Marx. Iena, Fischer 1909.
Sorel George. La decomposition du marxisme (библ. „Mouvement socialiste“) 1907 (критическая рецензія A. Pannekoek, N. Z. 1908—09 I).
Spargo Iohann. Karl Marx. Leipzig 1912.
Staudinger Franz. Das Erkenutnissproblem. „S. M.“ 1911 III.
— Zur Lözung des Erkenutnissproblems (там же).
— Zur Kritik der Weltanschauung
Talheimer. Zur Ergänzung des historischen Materialismus „N. Z.“ 1909—1910 I.
Untermann Ernst. Die logischen Mängel des engeren Marxismus (против Плеханова и других критиков Дицгена).
Warschauer Otto. Zur Entwickelungsgeschichte des Sozialismus. Berlin 1909.
Zetkin Klara. Karl Marks und sein Lebenswerk, Elberfeld 1913.

## СОКРАЩЕНИЯ.

П.—С.-Петербург.
М.—Москва.
К.—Кіев.
Од.—Одесса.
Хар.—Харьков.
Совр. М.—Современный Мир
Нов. П.—Новый Путь.
Н. Об.—Научное Обозрение.
Р. Б.—Русское Богатство.
М. Б.—Мир Божий.
Ж.—Жизнь.
Обр.—Образование.
В. Ж.—Вестник Жизни.
В. Ф. и Пс.—Вопросы Философии и Психологии.
N. S.—Die Neue Zeit.
S. M.—Socialistische Monatshefte.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.